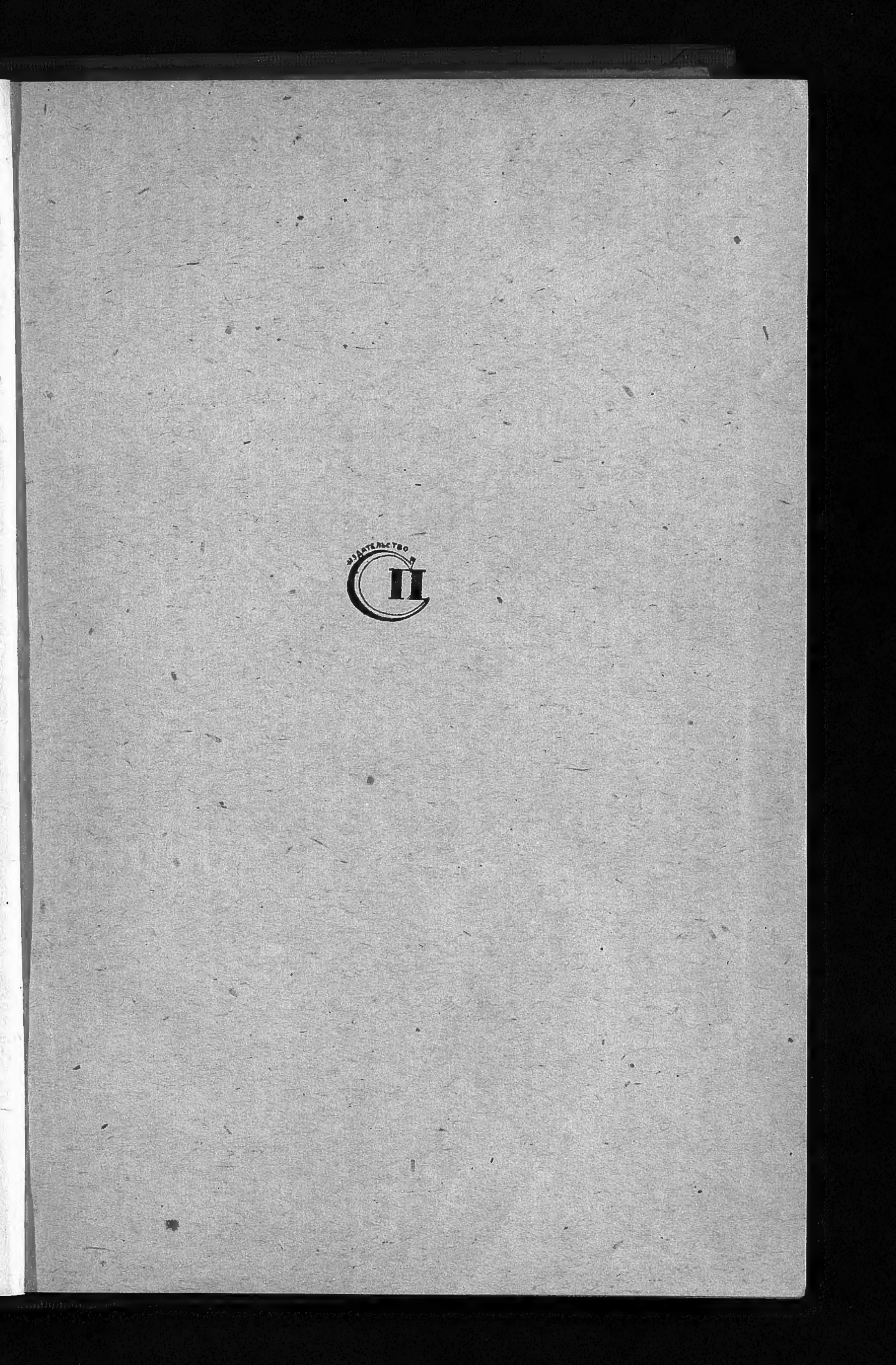
Мих. Слонимский

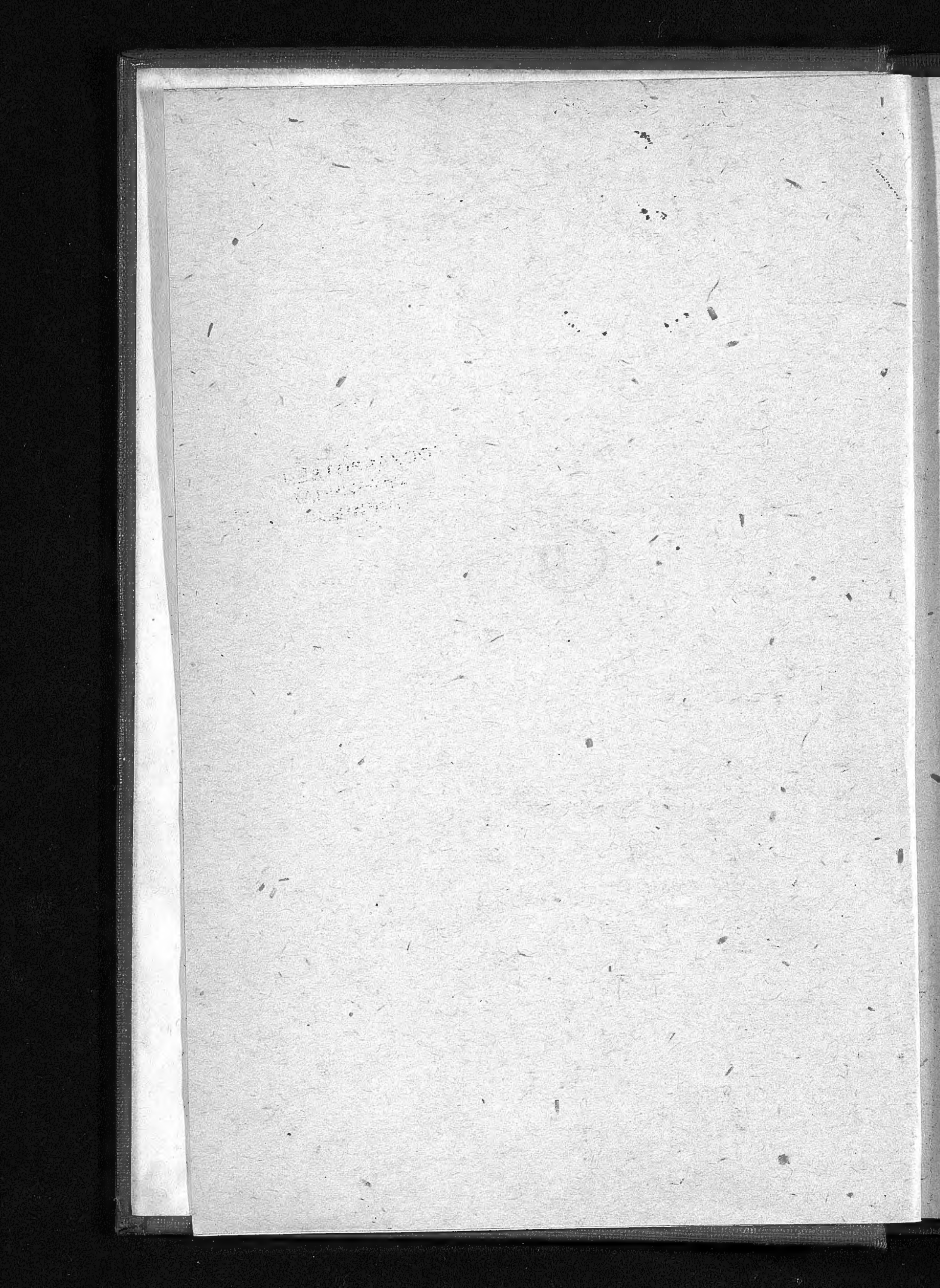
повести
и
рассказы

Советский писатель

Мих. Слонимский




ИЗДАТЕЛЬСТВО
П



МИХАИЛ СЛОНИМСКИЙ

повести и рассказы

1937

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ГИБЕЛЬ

I

Цеппелин повис над Красносельцами. Его желтизна была так же ярка, как синева неба. Три аэроплана летали над местечком, и с земли ясно видны были черные кресты на их крыльях. Зенитные орудия ловили врага: шрапнель рвалась вокруг, пуская в воздух дым и пули. Опустев и потеряв силу, шрапнельные стаканы падали наземь. Они стукались о крыши домов, врезывались в пыльную мостовую, хлопались в реку, залетали и за реку, на фольварк, туда, где пили коньяк штабс-капитан Ротченко, поручик Никонов и прапорщик Лосинский.

Офицеры сидели в саду вокруг большого выкрашенного в зеленую краску стола. Тут же примостилась на табурете Тереза, девятнадцатилетняя хозяйка фольварка. Ротченке стулом служил ящик: в этом ящике офицеры привезли вино. Ящик был уже пуст: бутылки — на столе.

Ротченко не слушал звона шрапнельных стаканов. Он, близко придвинув к Терезе темное, хотя и чисто выбритое лицо, говорил:

— Не понимаю. Решительно не понимаю, как могли вы рискнуть остаться тут из-за фольварка.

Тереза — совсем маленького роста, но это (когда она стоит) не слишком заметно: на ногах ее — туфли с высокими каблуками. Она — рыжевата. Лицо и руки у нее — полные, розовые. Она, как всегда, ничего не отвечала офицеру. Зачем отвечать? Все равно офицеры вместе со всей армией рано или поздно оставят Польшу, и тогда Петрик женится на Терезе. А сейчас Петрик — в австрийской армии, в Кракове, врачом.

Впрочем, сейчас она даже не слушала штабс-капитана: она вздрагивала при каждом новом разрыве шрапнели.

Офицер заметил это и досадливо отодвинулся.

— Неужели вы боитесь? Это же такая ерунда!

И он залпом осушил стакан коньяку.

У него на груди — офицерский Георгий, на эфесе шашки анненская лента. Он дважды был ранен: под Гумбиненом и под Прасnышем, и твердо знал, что из всей этой затеянной на земле чепухи добра не выйдет. Он снова потянулся к Терезе:

— Послушайте, дорогая...

Поручик Никонов громко захохотал.

Ротченко обернулся к нему. Он опустил левую руку на эфес шашки, правой поправил несуществующий аксельбант (раньше он был полковым адъютантом) и подтянулся весь.

— Вы — что, поручик?

Поручик гоготал, как лошадь. Он оборвал хохот, чтобы проговорить:

— Если цеппелин начнет бросать бомбы, то через полчаса тут чисто будет.

И снова он радостно загоготал. Он радовался всему, что только ни есть на свете: войне, коньяку, цеппелину, Терезе. Череп у него — узкий, и в нем нехватало места для тоски. Поручик подмигнул Ротченке (слушайте, сейчас острить буду!) и обратился к прапорщику:

— Чем это вам не обстрел, господин прапорщик? Настоящий обстрел. И тебе палят, и тебе цеппелин, и тебе руку отчикают, если что. Хо-хо-хо!

И слова полезли из него одно за другим, словно сговорившись совершенно освободить узкий череп от лишнего груза мыслей:

— Он, капитан, обижается — хо-хо! — что с черным темляком ходит. В бою ни разу не был, ноги-руки на месте, ничего не отхлюпано, — и черный темляк. О-хо-хо! Спросят: что на войне делал? А у него даже Анны нет. У-ху-ху!

И поручик пришел в совершенный восторг. Он застучал кулаком по столу и, не помня себя от радости, кричал:

— Что, спросят, на войне делал? А он — черный темляк! Ха-ха-ха! Вы только представьте себе это положение!

Никакого, никакого, — ну никакого анненского темляка! Нет, вы...

Ротченко перебил сухо:

— Вы пьяны, поручик. На войну идут не для награды. Чему вы тут радуетесь?

Поручик затих. Лицо у него застыло на миг: рот раскрыт, глаза выпучены, брови ушли на лоб. Потом брови опустились, глаза замигали: Никонов не умел оскорбляться. Он заговорил:

— Нет, я про прапорщика ничего плохого не могу сказать. Большой храбрости прапорщик. А что в бою не был — так это ничего. Я тоже до войны в бою не был. Он — мой полуротный. Да я вот вам его покажу. Вот, например...

И он обернулся к прапорщику:

— Принеси сюда для дамы два фунта шоколада. Это не потому, что для моей левой ноги и каприз, а потому, чтоб все увидели храбрость и что тебе на бомбы начхать. Вот. И без денег. Ты жида в лавке по шее стукни — и без денег. Ха-ха!

Он был уже в восторге оттого, что прапорщик стукнет жида по шее, и торопил:

— Ты скорей иди. Скорей!

Ему так захотелось побить жида, что он даже сам двинулся было вместе с прапорщиком. Но раздумал и остался. Если военную форму заменить на прапорщике гимназической, то ему можно было бы дать лет шестнадцать, не больше: не мальчишка, но и не взрослый человек. Бороды и усов на лице его не было, но по щекам и подбородку шел пух, в иных местах густой и жесткий уже, как волос. И все на нем было новенькое: гимнастерка, погоны, фуражка. У пояса — аккуратно — наган. Эфес шашки и офицерская кокарда не потускнели еще.

Ротченко скосил на него глаз и спросил мягко:

— Вы — добровольцем?

Прапорщик взял под козырек и отрапортовал:

— Так точно, господин капитан.

Ротченко только сейчас заметил, что стакан перед прапорщиком так и остался наполненным до краев: прапорщик не притронулся к коньяку. Значит, он сидел тут и уважал боевых офицеров, и вся эта дрянь представляется

ему необыкновенно важной и значительной: и война, и георгиевский крест, и цеппелин.

Штабс-капитан проговорил вяло:

— Оставьте, поручик. Зачем напрасно подвергать опасности?

Прапорщик воскликнул пылко:

— Разрешите, господин капитан, исполнить приказание господина поручика.

Ротченко пожал плечами, и прапорщик ушел. В конце концов, все равно: добывать ли шоколад, брать ли Прасныш — одна чепуха.

Прапорщик вышел из-за прикрытия деревьев как раз в тот момент, когда германский аэроплан скинул первую бомбу. Земля треснула, воздух зазвенел, черный дым заклубился кверху на месте разрыва. Прапорщик вздрогнул и, кашлянув для храбрости, пустился дальше. Он еще не дошел до реки, когда вторая бомба разорвалась совсем близко от него. Прапорщик лег наземь, прежде чем успел подумать что-либо: тело его действовало уже самостоятельно, без помощи рассудка. Когда звон осколков стих, прапорщик вскочил и побежал к мосту. Тело помнило только одно: назад без шоколада ворочаться нельзя. И тело, не управляемое рассудком, напоролось на крест. Крест торчал у самой дороги. Прапорщик обхватил его обеими руками, как живого человека, и отдышался. Крест был неширок, но все-таки мог защитить от осколков новой бомбы. Прапорщик, чтобы успокоиться, прочел надпись на кресте. На кресте нацарапаны были штыком четыре строки:

О, путник! Стой и погляди,
Что здесь написано стихами:
Вчера он был такой, как ты,
Сегодня — бездна между вами.

Прапорщик оторвался от креста и стремглав понесся к мосту. Ночные страхи (а такие случались с прапорщиком в детстве) — ничто в сравнении с тем, что творилось сейчас. Ночные страхи не грозили телу. А тут тело было в опасности: пустой случай мог изувечить его на всю жизнь.

Прапорщик перебежал мост и, задыхаясь, остановился у стены ближайшего дома. Огромный солдат стоял недалеко и, поглядывая на офицера, усмехнулся.

— Здорово напугался, ваше благородие?

Прапорщик хотел оборвать его по-офицерски, но было ясно, что солдат оказался храбрей его и, главное, видел, как он бежал от бомб.

Солдат был без шапки и без пояса: должно быть, нестроевой команды, обозный. Волосы у него были черные и курчавые, как у негра. Брови были густые и тоже черные. Глаза — синие.

— Кто ты такой? — спросил прапорщик.

— Из Пинска, ваше благородие, — отвечал солдат.

Третья бомба упала в самое местечко, на площадь. Солдат не шелохнулся. Прапорщик, чтобы не показать страха, продолжал разговор:

— Должность твоя какая?

— Столяр, — отвечал солдат, пропустив на этот раз «ваше благородие». — Столяром был.

И прибавил недоуменно:

— И за что это народ мучают — никак не пойму. От меня, ваше благородие, как от столяра, пользы значительно побольше, как от солдата. Я и на зверя охотиться не любил, а тут в человека стрелить. Я так думаю: напрасно это выдумали.

Прапорщик не знал, что отвечать. Он не имел права слушать такие речи от солдата. И увидел: по мосту идет вразвалку поручик Никонов.

Прапорщик крикнул тонким тенором:

— Молчать! Ты не смеешь!

И пошел к лавкам. Солдат глядел ему вслед, усмехаясь.

— Молодой еще.

Никонов нашел прапорщика у лавок. В руке прапорщик держал плитки шоколада «Фукс-Нукс».

— Ну что, — спросил поручик, — побил жида?

— Побил, — отвечал прапорщик.

— Ну, молодец. Идем назад.

Прапорщику стыдно было признаться: он не только не побил жида, но даже не в силах был даром взять в лавке шоколад. Лавка была пуста (торговец спрятался от бомб в подвал) — и прапорщик оставил на прилавке деньги. Поручик сказал:

— Медленней пойдем. Там уж, наверное, капитан с де-

вочкой делом занялись; я для того и ушел. А капитан на девочек — хо-хо-хо!

И поручик радостно захохотал.

Пранорщик глядел на него с уважением: как спокойно говорил поручик о том, о чем прапорщику и думать стыдно было! И, главное, поручик, видимо, и не думал даже о бомбах и шрапнельных стаканах — так спокойно он шел и смеялся. Страх не находил места в его узком черепе, заполненном бессмысленной радостью. А Ротченко с Терезой ничем, кроме разговора, не занимались. Даже разговор стих. Ротченко глядел на Терезу так, что та отвернулась.

Заботы Терезы о фольварке были непонятны Ротченке. Какой тут фольварк, если все гибнет? И Ротченко усомнился: может быть, его непонимание оттого, что тело его избито и изломано войной? Ведь до войны он думал иначе.

И штабс-капитан еле удержался, чтоб не кинуться на девушку: были ведь, может быть, последние дни затишья.

II

Было темно: не оттого, что солнце зашло уже, а оттого, что дым застлал небо и землю. Дым в лесу был желтый и едкий, как удушливый газ. Желтые космы его висели на соснах и плотной завесой ползли поверху, подымаясь к небу. Лес был огромный, и сосны в нем дрожали от корней до верхушек. Земля тоже дрожала: тысячи снарядов рвали ее уже десятый час под ряд. Направо и налево от дороги трещали и ломались деревья. А по дороге шел поручик Никонов.

Поручик искал штаб батальона. Но решительно ничего не было в лесу: ни штаба, ни батальона, ни офицеров, ни солдат. Были только дым и грохот. Но поручик знал точно: штаб должен быть. Штаб найдется, потому что у него, поручика Никонова, имеется важное для штаба сообщение.

— Кто идет?

— Командир пятой роты.

Голос Ротченки спросил удивленно:

— Какой бог пронес вас сквозь эту дрянь?

— Не могу знать, господин капитан, — отвечал Никонов, беря под козырек. — Честь имею доложить: рота моя выбита неприятелем до одного. Оставшиеся сдались. Прапорщик Каверин убит. Прапорщик Лосинский, посланный для связи в четвертую роту, не вернулся.

— Благодарю вас, — отвечал Ротченко. — Значит, все обстоит благополучно?

— Так точно, господин капитан, — согласился Никонов.

Ротченко сказал:

— Остатки полка собираются у Красносельц. Мы сейчас отступаем туда. Из батальона осталось — полюбуйтесь — двадцать один солдат и два офицера, то есть вы да я. Идемте.

И они пошли.

Это был одиннадцатый час утра. Еще ночью снялись и ушли в тыл на новые позиции русские батареи, потому что на всю артиллерийскую бригаду было только девять снарядов, да и те старого образца.

Ротченко шел позади солдат, рядом с Никоновым. Они не вышли еще из области огня.

Никонов пошатнулся, схватился за живот и упал. Ротченко нагнулся и повернул тело поручика лицом кверху.

Лицо у поручика сморщилось, как у ребенка, которого купают. Глаза зажмурились крепко, открылись, и поручик заорал.

Ротченко сказал:

— Что вы? Молчите!

Но поручик продолжал орать огромным голосом. Вся радость ушла из его тела, и ее заменил страх. Одновременно два чувства не умещались в узком черепе поручика.

Ротченко отшатнулся и крикнул:

— Молчи! Молчи, сволочь!

Солдаты остановились. Ротченко знал: еще секунда такого рева — и заревут все двадцать один человек.

— Сволочь! — заорал он. — Молчать!

И поручик замолк. Теперь страх ушел из тела поручика.

Ротченко следил, усмехаясь, за превращениями поручика Никонова. Он знал, как умирают люди, и не ужасался. Лицо поручика покрылось потом. Глаза в упор глядели на штабс-капитана. Тот усмехнулся.

— Успокойся. Сейчас все пройдет. Помрешь — Георгия дадим в приказе, и больше ничего. Поручения есть?
— Ведь это мука, — отвечал Никонов. — Ведь это мука, — повторил он. — Ничего не понимаю.

И умер.

Солдаты побежали, бросая на ходу винтовки.

Ротченко пожал плечами и пустился вслед за ними: в конце концов сейчас, действительно, не было нужды отступать медленно.

Впереди — окрик:
— Стой! Стой!

Ротченко тоже крикнул:
— Стой!

Впереди, в кучке солдат, стоял прапорщик Лосинский. Он размахивал шашкой и кричал:
— Стой! К немцам прете!

Солдаты остановились и сбились в кучу.

Ротченко спросил прапорщика:
— В чем дело? Это направление дал штаб полка.

Прапорщик, отвечая ему, продолжал кричать во все горло и размахивать шашкой:
— Немцы отрезали! Я привел пулемет и пять солдат! Мы вырвались! Господин капитан!
— Вложите шашку в ножны и молчите целую минуту под ряд, — приказал Ротченко.

Прапорщик опешил, вложил шашку в ножны и замолк.
— Так, — сказал Ротченко.

Солдаты глядели на него. Было ясно, что они ждут от него спасения, а он не знал, куда их вести.
— За мной — шагом марш! — скомандовал он и повел солдат вправо от дороги.

Он шел, сохраняя принятое только что направление. Снаряды ложились вокруг, но слух и зрение людей до того притупились, что никто не замечал дыма и грохота.

Но вот за спиной Ротченки раздались крики, и солдаты, толкая его, пронеслись вперед.
— Немцы! — кричали они. — Немцы!

Страшней всего были им в этот момент немцы. Немцы представлялись им совсем не людьми, а ужасными чудовищами.

Ротченко заорал:

— Стой! Никаких немцев! Это наши! Стой!

рапорщик стоял у пулемета. Он топал ногами и тоже орал:

— Стой!

Он ничего не понимал и решил повторять все слова и движения батальонного командира.

— Из пулемета их, — сказал Ротченко. — Валяй!

Прапорщик навел пулемет и опустил руки.

— Не могу, — сказал он, побледнев, и вдруг понял, что его сейчас убьют: он выпал из войны. Он все увидел со стороны: лес, беспомощную кучку солдат, Ротченку и себя, совершенно непричастного к этому непонятному делу. Это было так страшно, и так ясно было, что все равно он умрет, — что, когда пулемет затрещал, направленный рукой Ротченки, прапорщик бросился за солдатами под пули и первый упал лицом в сухие сучья. Он не видел уже, как остановились испуганные солдаты, и как Ротченко повел их дальше, не взглянув на труп прапорщика Лосинского.

К ночи командир первого батальона штабс-капитан Ротченко и четырнадцать солдат подошли к фольварку. Тут собрались остатки дивизии.

Фольварк был цел: ни один снаряд не тронул его. Ротченко быстро вошел в дом. Дом был пуст: остатки дивизии переправлялись через Оржиц. Там, за рекой, новые позиции. Ротченко сам не знал, зачем ищет Терезу: спасти или убить. Но Терезы не было нигде.

Штабс-капитан вышел в сад, к солдатам, и приказал поджечь фольварк.

Он думал: все это, что было с ним и со всеми, сделали люди. Создали чепуху и дрянь — и сами же ужасаются. Они никого не имеют права обвинять: ни бога, ни чорта. Они сами виноваты.

Прапорщик Лосинский, убитый в бою 30 июня у деревни Единорожец, награжден был Анной 4-й степени за храбрость. Поручику Никонову, убитому в том же бою, дали в приказе георгиевское оружие.

1924

ВАРШАВА

I

Такой уж бзик у кандидата на классную должность Кроля: жениться на Марише.

— Раз, два! — и как деньги будут — женюсь.

А денег нет иной раз даже и на то, чтобы пойти в цукерню, поглядеть на Маришу, как она бегает меж столиков, разнося господам офицерам шоколад.

Цукерня — вся белая, будто вылита целиком из молока, с белыми занавесками, стуликами и столиками. От беленьких прислужниц пахнет сливками. Речь у них сдобная и приветливая, и глаза, как изюм в булке, чернеют.

— Шоколаду пану?

И уже горячим паром дышит шоколад на столике, а рядом вафля, которую как в рот возьмешь, так и жить больше не хочется: сколько ни живи, лучше никогда не будет. Бегает Мариша и не знает того, что сидит у столика будущий ее супруг. И никто не знает, кроме кандидата Кроля.

Когда совсем нет денег, кандидат Кроль останавливается у окон цукерни, глядит туда, где шум и веселье, и идет дальше, чтобы у себя в комнатушке развалиться, задрав ноги на спинку кровати и руки засунув в карманы.

Лицо у него острое, как топор, и весь он в острых стремительных углах. Когда же он заберется на ночь под одеяло, то можно даже испугаться его чрезвычайной длины: на подушке торчит маленькая острая головка, и вдруг на другом конце кровати, там, где никак нельзя ожидать — задвигаются ступни, оттопыривая одеяло, и кажется тогда, что голова у него — отдельно, и ноги — отдельно.

Деньги кандидат Кроль занимает у Егорца, солдата из военной гостиницы. Егорец дает рубль и указывает:

— Если сапогом да одеяло пачкать — так от этого денег не будет. Работайте.

Кандидат обижается.

— Кроль не работает? У Кроля в госпитале кипяченая работа. Раз, два! — ни раны, ни солдата: одна постель. Кандидат Кроль устал. Кандидат Кроль...

А у Егорца лысина прошла от лба к темени, и колыхается он на табурете, как круглое облако зеленого дыма. И вот-вот загремит гром, засверкает молния: озлится Егорец.

— Иная вам работа нужна, господин кандидат. С такой работой никогда у вас денег не будет.

А кандидат Кроль с рублем в кармане идет в цукерню, чтобы поднести Марише цветок, посидеть с ней за столиком, разговаривать с ней тонкими намеками и убеждать одноглазую мать Мариши, что деньги у него будут.

II

Война вот что сделала с корнетом Есаульченко: всадила в окоп, надышала в лицо копотью, залила глаза синим пламенем и сокрушила слух так, что казалось ему: вогнали ему от уха к уху железный кол и бьют по тому колу молотом. А потом вытащила из грохота, дыма и пламени и пустила гулять по варшавским улицам.

Чуть приехал в Варшаву, — с вокзала к коменданту, оттуда в военную гостиницу и в «Римские бани». В «Римских банях» есть комнаты жарче Африки. Пройти из такой комнаты в соседнюю — все равно, что шагнуть одним шагом тысячу верст к северу. Выпарив засиженное в окопах тело, завернуться в простыню, забыться в теплой комнатке на диванчике и, очнувшись, отдыхать. Обставиться бутылками и пить, чтобы забылась война.

А войны не забыть. Везде — на севере, на западе, на юге, в пятидесяти верстах от Варшавы — война. И в командировке ясно сказано: «сроком на одну неделю». Как ни торопился отдохнуть корнет Есаульченко, но в одну неделю не успел заглушить и затмить войну варшавским весельем.

У него, в номере военной гостиницы, на круглом столике — лимонадные бутылки с вином. У столика раскрытый чемодан, из которого торчит неплотно втиснутое мятое белье.

Завтра конец отпуска. Завтра корнет Есаульченко полетит по полю на коне сквозь дым и грохот или, оставив коня в обозе с денщиком, спрячется в окопе.

Вот что сделала война с корнетом Есаульченко, тем самым, который в «Римских банях» гулял голый, но при шпорах и сабле.

III

Егорец влетел в комнату рано утром, когда кандидат Кроль еще спал; заторопил, затормошил, задергал, и напрасно кандидат Кроль отгораживался подушкой и одеялом, приседал на корточки, упрятывая под длинную рубашку поросшие рыжими волосами ноги: Егорец не отцеплялся.

— Идемте! Идемте!

А по комнате от его дыхания пошел спиртной дух.

У кандидата Кроля зубы стучали от злости.

— Я тебя, нижнего чина, — раз, два! — и под арест. Ты — нижний чин, а я... Кандидат Кроль — не офицер? Нет? А если солдаты в госпитале Кролю честь отдают? А если господа офицеры с Кролем за руку знакомы?

— Я, господин кандидат, для вашего же удовольствия. Дело есть к вам, господин кандидат.

— А вот я — раз, два! — и чихнул на твое дело.

— Деньгу зашибете, господин кандидат!

И дымное лицо Егорца сразу стало серьезным.

— Без дела я, господин кандидат, вовек бы вас не обеспокоил. Офицер в вас нуждается, господин кандидат.

— А в чем дело? Какой это офицер? — спросил Кроль.

— А хороший офицер, — отвечал Егорец. — Усы, господин кандидат, такие усы, что белье на них сушить можно. Дли-инные! А говорит, господин кандидат, — что ни слово, то пуля в лоб. Прямо как винтовка разговаривает: пять патронов выпустит, и молчок — заряжается. А денег у него, господин кандидат, не иначе как миллион: всякого цвета деньги, мне гривенник-целковый дал.

Кандидат Кроль медленно одевался.

— Деньгу зашибете, господин кандидат!

— А он меня — позволь, позволь! — он меня звал?

— Звал, господин кандидат. Приведи, говорит, мне такого человека, который бы лучше всякого доктора бумагу мне написал. Как же не звал? Звал! Мало, что звал! Водкой, говорит, с ног до головы опою! Мне тоже коньяку вынес. А я в коньяке толк знаю. Я человек военный и сам на батарее пальца лишился. Как же не звал? Звал! Приведи мне, говорит, такого человека, которому скажу: весели господина корнета — и чтобы сразу девочки кругом. А я, говорит, час подожду, а как час пройдет, стрелять буду. Прямо, говорит, как винтовка стрелять буду. Как же не звал? Звал!

И чем больше говорил дымный солдат, тем стремительнее одевался кандидат Кроль.

— А — позволь! — какую бумагу ему?

— А на бланке: контужен, мол, человек, извините, пожалуйста, и подпись — кандидат Кроль. Деньгу зашибете, господин кандидат, а офицер в Варшаве останется — вам для наживы.

Кандидат Кроль накинул на плечи серую шинель.

— Все сделаю. Господин офицер чистоганом из воды выйдет. У кандидата Кроля кипяченая работа.

И подумал:

«Деньги будут, женился, дети пошли и собственный автомобиль».

IV

Корнет Есаульченко спрятал бумаги в карман и стал перед круглым столиком, растопырив кривые ноги. Ворот тугого кителя был уже расстегнут.

— Садись. Не торчи! Пей!

Медленно, как с крутой горы спускаясь, опустился кандидат Кроль на стул. Осторожно влил в горло полрюмки — теплый зуд прошел по телу. Еще выпил, и еще. И уже закачалась комната, и стало перед Кролем лицо офицера, как собственный его затылок.

— Я господину корнету не только бумаги... Кроль такой человек, что если сказал, так у него — раз, два! — и господину корнету весело.

А на руке у кандидата кольцо, заранее купленное, змеей обвивалось вокруг пальца. И сам он змеей извивается на стуле.

— Я такие места знаю, что господин корнет закричит от восторга и побежит по улице. Будет господин корнет бежать и кричать в голос. А девочки...

Тут кандидат Кроль довел голос до шопота и, пригнувшись к офицеру, помотал черной головой.

— Я скажу господину корнету: девочки такие, каких и на том свете не сыщешь! Господин корнет один приехал или, может быть, господин корнет с господами офицерами развлекается?

— Один.

— А у господина корнета есть деньги, чтобы веселиться?

И длинная фигура кандидата прыгала на стуле, и пальцы на столе сплетались и расплетались.

— Есть.

— У господина корнета есть деньги, чтобы веселиться! И он пьет в этой комнате, когда вся Варшава для него построена? Архитекторы сидели-сидели, думали-думали: как лучше построить, чтобы был доволен господин корнет? И выстроили такое... Я вам скажу: я не кандидат Кроль, а последняя сука, которая лает, задрав хвост, у ворот, если Варшава не для господина корнета построена. А девочки...

И опять кандидат Кроль задышал корнету в ухо. А у того от быстрых и увертливых слов замелькало в глазах так, будто приставили ему к переносице Анну 2-й степени с мечами и бантом.

V

На Уяздовской аллее белым сверкающим камнем облиты дома; густо пущенная зелень дышит за оградами садов и парков; медленные ландо несут на мягких рессорах закупоренных в мундир офицеров; тонкие кучера в синих цилиндрах помахивают высокими бичами и ни разу не обернутся к седоку для мирной беседы. И нет на Уяздовской аллее стука копыт и скрипа колес: выложена мостовая торцом.

Если покажется на Уяздовской аллее грязный лапсердак, то сгинет сей же час. Всякий брезгливо откинет

носком ярко начищенного сапога спрятанную в лапсердак человеческую вонь, потому что создана она не для тонкого нюха отпускного офицера. Для офицера создано только то, что, напитав зрение, слух и желудок, рождает человеческую веселость.

А к вечеру желтым светом запылает Уяздовская аллея; веселый говор встанет перед занавешенными окнами цукерен; воздух колыхнется и запоет от множества невидимых оркестров. Тогда ордена и эфесы сольются в один сверкающий зигзаг и рассыпятся с громом, гоняясь за женщинами. А те стремительно скользят вдоль домов, наклонив набок голову и щедро одаряя носы прохожих непюханными в России духами.

Белая панель, свиваясь в гудящую электрическую дугу, убегала из-под спотыкающихся ног корнета и кандидата. И уже задыхался Кроль, и стало ему трудно передвигать ноги, будто идет он по колено в воде. А корнет неутомимо гремел саблей впереди.

— Скоро ли придем? — спросил корнет Есаульченко.

— Куда, господин корнет, придем? Кандидат Кроль всюду готов, куда господин корнет хочет.

— Ты, чорт тебя, не знаешь, куда итти? Ты что говорил? Ты — обманывать офицера?

Корнет остановился, приступая к кандидату. В страхе кандидат Кроль вжимался в стену. Вот-вот вольется весь в дрожащий камень, оставив на стене только зеленый контур длинной и узкой фигуры.

— Но — позвольте, господин корнет... Зачем же? Знаю! Я такое место знаю...

А вся Варшава для Кроля — одна цукерня. Больше ничего нет в Варшаве.

— Веди, а не то...

И в трепете повел Кроль офицера туда, где люди утопали в молочных ароматах и шоколадном пару.

— Тут, господин корнет... Сейчас, господин корнет...

И уже Мариша встала перед офицером.

— Шоколаду пану?

VI

Корнет Есаульченко целовал ручку Мариши, и та ласково улыбалась ему, а на Кроля даже не взглянула.

Офицер сунул кандидату сторублевку. Сторублёвка упала на пол.
— Поднимай! Бери!
— Господин корнет...
— Чего тебе еще надо? Отстань!
— Господин корнет... Это такое недоразумение...
— Отстанешь ты или нет?
И рука корнета уже полетела к эфесу. Дрожащим голосом Кроль произнес:
— Это невеста моя, господин корнет...
— Что?
Корнет Есаульченко, обернувшись, заглушил шпорами и саблей все вокруг. Ступил шаг вперед. Кандидат Кроль сделал шаг назад. Еще шаг вперед — еще шаг назад.
— Ты что, чорт тебя?
Кандидат Кроль замахал руками.
— Это — позвольте, господин корнет — действительно... Но зачем же, господин корнет, саблей в ухо? Я — раз, два! — деньги в кармане и женился, господин корнет. Тут смеяться нужно, а не...
Корнет Есаульченко стоял, растопырив кривые ноги, перед Кролем, и лицо его медленно, от шеи начиная, наливалось кровью. Вот уже и в лоб краска ударила.
— Пошел вон!
— Вам вредно волноваться, господин корнет. Зачем же? Господин корнет другую найдет. Прямо — раз, два!
И кандидат Кроль отскочил от корнета, потому что кривая сабля засвистела в воздухе.
— Прочь!
И не дай бог попасть головой в сверкающий круг: покатится голова по полу, не допив шоколада.
Кандидата трясло, как-будто налили его всего ртутью, а она пошла дергать тело в разные стороны. Тогда Мариша подбежала к офицеру.
— И женщину пан ударит?
Корнет Есаульченко размахнулся, да так и остался изогнувшись, как пересаженный на картину: высокий, горбоносый, в красных гусарских чакчирах и коричневом кителе. Потом вложил саблю в ножны и поцеловал ручку.
— Прошу извинения. Я контужен, и иногда такое найдет, что...

Кандидат придвинулся к офицеру и заговорил, оглядываясь, будто кто-то хватал его сзади за узкие вздрагивающие плечи.

— Господин корнет... Мариша...

Мариша сразу стала как ведьма: волосы еще чернее и лицо еще белее.

— Если ты еще одного слова раздашь... Вон! Сей же час вон!

И присела к офицеру за столик. Кандидат Кроль поднял с пола сторублевку и вышел из кафе.

VII

У выхода, когда Есаульченко вел Маришу под руку в ландо, к нему подкатился толстый и важный, как ландо, капитан, а за его спиной, то с правого, то с левого плеча, показывалось красное лицо кандидата Кроля.

— Корнет, вы ведете себя недостойно офицерского звания. Я вас арестую.

— Господин капитан, я контужен и не могу отвечать за свои действия.

— Как же вас такого на улицу выпускают? Вы из госпиталя?

— Никак нет, господин капитан. С позиций в недельный отпуск приехал — отдыхаю. А отпуск по контузии продлен. Есть бумага, господин капитан, от врача, что бывают припадки, за последствия которых я не ответствен.

И корнет Есаульченко вытянул свидетельство, написанное кандидатом Кролем. Капитан даже губы оттопырил, прочитывая бумагу.

— Хорошая бумага.

Еще раз прочел, и веселые волны всколыхнули толстый живот, и все, что было спрятано под стареньким пехотным мундиром, заходило ходуном.

— Ах, черти! Ах, штука!

Утер лицо синим платком.

— Отдыхайте с богом. Только, когда отдыхать будете, человека невзначай не зарубите. Ах, черти! Ах, штука!

И пехотный офицер покатился дальше, пофыркивая. А обширное ландо приняло корнета Есаульченко и Маришу. Кандидат Кроль глядел на широкий зад медленного

ландо. Вот плывет оно по улице, вот бич встал над вспаренной спиной лошади, визгнул ей под брюхо. И нет ландо. И нет Мариши. Дома встали на пути, чтобы не видел кандидат Кроль, и там, за домами, Мариша прижималась к корнету Есаульченко.

— Такая множества офицеров в Варшаве развелась, а других офицеров, чем ты, мне не нужно. Лишь только тогда разлюблю, как умру. Сподобает мне пан офицер за то, что никому не боится. Схитрюсь я на разную манеру — обману мать.

Одноглазая женщина, высунувшись из цукерни, дернула кандидата Кроля за рукав.

— Ушла, пся кревь? С кем ушла?

Кандидат Кроль погрозил кулаком:

— Я господину корнету — раз, два! — и нет головы.

VIII

Война догнала корнета Есаульченко: обозным грохотом застучала в уши, по ночам прожектором била в лицо, закрыла цукерню, потащила к коменданту и, наконец, рыжим конем встала у дома, где скрылся корнет с Маришей.

Конь бьет копытом о землю, зовет офицера ржаньем, но все нет корнета Есаульченки.

Офицер за белыми стенами дома стоит перед женщиной.

— Итти нужно. Итти. Пора.

И невозможно уйти. Не двигаются ноги.

Услышал офицер призывное ржанье коня. Кровью налились глаза.

— Нужно! Нужно!..

Радостно заржал конь, когда, наконец, вышел корнет Есаульченко. Корнет тяжелым взглядом обвел все кругом, ничего не видят глаза, — махнул рукой:

— К чорту все! Война!

И поскакал по опустевшим улицам. А женщина из дома не вышла...

Направляет коня не корнет Есаульченко, а Егорец.

И всем, что совершается в последние дни в городе, управляет Егорец, штабной писарь.

То есть не Егорец, а комендант города. Но Егорец рассылает пакеты с назначениями, ставит вместо «весьма

срочно» три креста на конвертах, обозначая аллюр, и знает, где какая часть, и знает, куда едет корнет Есаульченко, и даже сам просил адъютанта назначить корнета Есаульченко в самый арьергард, в команду конных разведчиков.

— Это такой храбрый офицер, что взглядом убивать может. Взглянет — и от человека мокренько, как будто пушка выстрелила. А я в пушках толк знаю, сам на батарее пальца лишился.

IX

Кандидат Кроль явился к Егорцу в час дня и ждал в его комнате целых пять часов, до шести. Егорец, кончив все занятия, оставил дежурного писаря у телефона и, вдоволь наглядевшись в зеркальный шкаф на свою физиономию, вытянул из шкафа бутылку водки, вылил из горлышка в горло, сплюнул, обтерся рукавом и вышел с бутылкой в руке к кандидату. Поглядел на него презрительно.

Не чета вы их благородию корнету Есаульченко. Завтра вам эвакуация с госпиталем вышла, а их благородию, может быть, еще три дня сидеть, последним отойти. Денег не нужно?

— Зачем деньги? Не нужно денег.

Егорец потянул из бутылки, забулькало в горле.

— Корнет-то наш не хочет Варшавы отдавать. Не отдам, говорит, Варшавы полякам на разграбление! Вот как!

Помолчали. Кандидат Кроль задвигался весь. Задергался, встал.

— А женщина-то, с которой господин корнет? Женщина где?

— А что женщина?

— Провожала она его только или с ним уехала?

Егорец еще потянул из бутылки — и небывалые события всколыхнулись в его голове.

— Провожала, — проплакал он. — Еще как провожала — я все видел. И что за женщина? Конь лучше у их благородия: рыжий конь и в три креста аллюром бегает. Хороший конь. Лучше женщины.

— А где женщина?
— А не знаю я, где женщина. Чего пристал?
Егорец качнулся вперед, назад, устоял на ногах, и слеза покатилась по коричневой щеке.
— Женщина! Женщине-то офицер-то наш: как умирать начнете, телеграфуйте, говорит, мелким почерком, сей же час явлюсь и самое смерть шпорой проткну. Человек у меня есть, говорит, Егорец, говорит, добрый, говорит, парень, душа, говорит, человек. Для меня, говорит, все сделает. Так ты ему в пакетик, говорит, в три креста, говорит... Такой, говорит, парень хороший...
И Егорец потерял равновесие. Напрасно кандидат Кроль торкал его сапогом. Егорец как растянулся на полу, так и остался, чтобы храпом сгустить и без того спертый воздух чуланчика. И поверил Кроль всему, что наговорил Егорец. А корнет Есаульченко лежал на берегу Вислы и глядел в польское небо, откуда падали июльские звезды. Рыжий конь косил на офицера торжествующий глаз.
Спросит бог корнета Есаульченко:
— Что сделал?
И покажет корнет богу бумагу, написанную кандидатом Кролем.
— Ранен, контужен и за действия свои не отвечаю.

X

Поглядеть сверху — с моста, прыгнувшего высоко над рельсами, — на платформах копошатся сплющенные, как клопы, люди. Пройти через мост, спуститься — и уже нельзя итти спокойно: нужно бежать, задыхаясь и распяливая ноги; грубо расталкивать обезумевших людей, хрипло крича в ненавистные затылки и ненужные лица, пока не отяжелеют ноги, не покроется тело обессиливающим потом, и сердце, заколотившись бешено, не остановится вдруг на миг, не больше: но в этот миг кажется человеку, что он умирает и схватил его за горло предсмертный кошмар.
Мужчины, женщины, дети — все в одном стремлении: сквозь шум, сквозь тесноту плеч и рук, по ногам — к вагонам. В напряжении замолкая, схватиться за поручни,

отдышаться — и дальше, туда, где притиснулись друг к другу — лицом в спину, спиной в лицо, по-всякому — стоймя поставленные тела людей. Утвердившись на площадке, врасти в занятое место и злобно бросить, оглянувшись через плечо, туда, откуда прет человеческая потная тяжесть:

— Нету мест!

А в вагонах, внутри, там, где торчит в окно крепкая подметка солдатского сапога или крепкая, как подметка, солдатская рожа, — там, в вагонах, духота, человеческий пот и визг гармоники. Там — рай.

Мечутся по платформе, сталкиваясь и отталкиваясь, быстрые фигуры людей, перебегают от вагона к вагону, от площадки к площадке, от окна к окну, тыкают в сопротивляющиеся зады и спины руками, чемоданами, мешками, ногами.

И отходит поезд. И плывут по пересекающимся путям локомотивы, похожие на черных лебедей. И другой поезд вытягивается вдоль платформы, и летят в окна ошалевшие головы, протаскивая за собой плечи, руки, туловища и чемоданы.

И опять отходит поезд. И встает на его место следующий. И уже пустеют платформы.

Команда военно-санитарного поезда выстраивается перед зауряд-чиновником, который с листом в руках выкликает фамилии людей.

— Кандидат на классную должность Кроль!

Еще раз выкликнул зауряд-чиновник ту же фамилию, и еще, но никто не откликнулся. И зауряд-чиновник сделал пометку на полях: «пропал без вести».

И отошел военно-санитарный поезд. Поезд за поездом, доверху нагруженные орудиями, товарами, отпускными солдатами, беженцами, оставляют Варшаву.

И вот последний штабной поезд встал у платформы, и мерещатся за окнами единственного вагона затуманенные стеклом немногочисленные профили, затылки и неподвижно важные лица. Серая струйка со свистом вылетела из трубы локомотива, и последний поезд отошел от вокзала.

В единственном вагоне повествует Егорец товарищам-писарям:

— Упрашивала меня одноглазая: «Положи, говорит, писульку в конверт три креста, пошли их благородию,

а я тебе, говорит, вот — пятьдесят целковых». А я: «не хочу, говорю, твоей сотни! Убери, говорю, свою сотню в юбку назад!» — «А я, говорит, ежели моих двухсотенных билетов не примешь, колдовством, говорит, возьму. Плюну, говорит, дуну, и как, говорит, пакет их благородию отправлять будешь, так, говорит, там и моя писулька будет. А денег, пятисот целковых, вижу, говорит, взять не хочешь. Вижу, говорит, что честный человек, а только колдовством и честность человеческую одолею». Вот какая колдунья! А глаз у нее, ежели бы вы видели, прямо не глаз, а тарелка. Огромный глаз!

XI

По мосту, волной над волнами, с берега на берег, переливались солдаты. И бранное слово вставало над согнутыми спинами, подгоняя и остораживая.

А на этом, уже чужом, берегу притихли конные разведчики, охраняя саперов. К утру мост через Вислу будет взорван.

Корнет Есаульченко даже не взглянул на бумажку из штаба: передал адъютанту. А сам уже в третий раз читает одну и ту же строчку: «Явись, пан!» И адрес. И мертвая рука подписала письмо: «Мариша».

Корнет Есаульченко отошел от берега подальше, зацепил рукой повод оседланного коня.

Еще раз прочел письмо, подписанное той женщиной, которую он убил. Или, может быть, он ее не убил? Может быть, показалось это только ему, что он убил Маришу? Рыжий конь заржал, оскалив зубы.

— Не смейся, — сказал корнет и ударил его по носу. — Нельзя смеяться.

А конь захохотал еще радостнее.

Опустил голову офицер, подумал, оглянулся — тихо кругом. Повел коня в поводу, задумавшись. И когда снова поднял голову, уже не слышал и не видел товарищей. Поднес к глазам браслет с часами, — метнулись перед глазами светящиеся стрелки.

— Поспею, — решил корнет Есаульченко.

Вскочил в седло и поскакал в те места Варшавы, где улиц нет, где наворочены только одни переулки. Переулки

эти достаточно широки для того, чтобы протянуть на веревке от дома к дому грязную юбку и сушить ее на солнце. Солнце только по получасу в день светит тут меж нагроможденных в беспорядке домов, и высокие крыши изрезали здешнее небо на узенькие и длинные полоски. И нехорошо подымать тут голову к небу: витает и льется в воздухе всякая дрянь и чернит лицо, шею и руки.

Корнет Есаульченко осадил рыжего коня, соскочил на землю, поднес к глазам письмо, оглядел дом и гулко стукнул стэком о стену. Из невидимой двери вылезла старуха. Один глаз у нее был прищурен и видел все. Другой оттопыривался, как стеклянный пузырь на бракованной посуде, и не видел ничего. Старуха мотнула рукой, зовя офицера за собой.

XII

Комната, в которой старуха оставила офицера, была, как гроб, длинная и узкая. Темно было, и офицер, держа руку у эфеса, ждал мертвую женщину, ловя слухом звуки, которые человек слышит только тогда, когда ничего не слышно. И в тот момент, когда с ясностью встали перед невидящими глазами офицера черты убитой им женщины, он ощутил в углу белую фигуру, скользнувшую в комнату сквозь темную, чуть скрипнувшую стену, и узнал Маришу.

Но когда корнет Есаульченко бросился к Марише, та упала на пол, и корнет увидел перед собою длинную фигуру кандидата Кроля со свечой в руке. Сзади подталкивала кандидата мать Мариши:

— Иди, трус, пся кревь!

— Господин корнет явился. Кроль не скажет дурного слова господину корнету. Кроль просит: отдайте Маришу! Кроль хочет знать: где Мариша? Мать Мариши плачет: где Мариша? Господин корнет, — где?

— Тут, — отвечал корнет Есаульченко. — Разве ты не видишь? Вот она дрожит на полу.

И он указал саблей на белую фигуру, которая струилась по полу, убегая от желтой свечи в темноту.

— Кроль не понимает. Кроль не видит. Кроль не хочет шутить. Кроль не воевать хочет, а — раз, два! — женился,

и мир кругом. Это я написал письмо. Я подписал — «Мариша».

— Врешь! Разве ты не видишь Мариши?

— Нет, — отвечал Кроль и оглянулся кругом.

Свеча дрожала в его руке.

— Нет. Господин корнет выдумывает. Господин корнет не хочет сказать правду. Тогда — раз, два! — господин корнет хотел Кролю саблей в ухо, а пулю в лоб господин корнет не хочет?

Кандидат Кроль отскочил в сторону, и от двери отделилась старуха, мать Мариши. И одноглазый револьвер взглянул в лицо офицеру.

Корнет Есаульченко кинулся к дрогнувшей Марише как раз во-время для того, чтобы пуля пропела над его головой и, не встретив на пути человеческого тела, шмякнулась в стену.

— Вот Мариша, — сказал корнет Есаульченко.

Офицерская фуражка валялась на полу, глаза глядели неподвижно, волосы встали горой на голове, как шерсть у испуганной собаки.

— Вот она. Ты разве не видишь?

И медленно тянулся рукой к тому, что он видел, как пьяный, который ловит надоедливую муху.

Схватил. И свеча выпала из руки кандидата. И в темноте тяжко застонал Кроль.

А Мариша уже просвечивала в щель двери. Корнет загремел к ней саблей. На пути встала старуха.

— Прочь!

Кулаком в грудь отбросил старуху, вскочил на коня и поскакал к Висле. Поспеет ли? Мост взорван будет.

А на пороге дома лежала старуха, оттопырив стеклянное око, навсегда отразившее луну, и не отвечала на тяжкие стоны кандидата Кроля.

XIII

Поляки в щели ставней с испугом глядели на коня, налитого рыжей бронзой, который летел, распластав ноги и еле задевая землю копытами.

От быстрого скока коня далеко назад отлетали дома, сады и парки. И врос в седло офицер без шапки, и сабля,

отлетая назад, еле поспевала за быстрым поясом. И казалось, правой рукой он удерживает кого-то, сидящего в седле перед ним.

Уже влажные пары Вислы ударили в рыжие ноздри коня. Уже близко Висла. Но кроваво-черные полосатые вихри встали на пути. Железо, камень и дерево взлетели к небу, чтобы больно бьющими осколками осыпать землю и застлать землю дымом.

Рыжий конь, не изменив аллюра и даже не переменив ноги, радостно несся туда, где еще не рассеялся дым и еще не затих грохот.

Корнет Есаульченко, еле удержавшись в седле, что было сил, под огненным дождем, хлестнул стэком коня. Конь засмеялся, скаля зубы.

И вот офицер уже на берегу Вислы. Густо пахло копотью, и чернели сваи взорванного моста.

Оглянулся корнет. Позади чужой город. Впереди — проклятая польская река. Только теперь заметил он, как широка Висла.

Усмехнулся корнет.

— Господи, — сказал он, — ранен, контужен и за действия свои не отвечаю.

И рыжий конь унес его в тяжелые воды. А светлые клеточки и шарики, танцуя по воде, уже кончали бал.

Тогда Мариша взяла за руку корнета Есаульченко.

— Сподобает мне пан офицер за то, что никому не боится. Погубил пана рыжий конь — война. Слазь с коня, станьцуем в это бялое утро бялый мазур. И тьфу — кандидату Кролю.

— Идем, — отвечал корнет Есаульченко, сворачивая калачиком руку. — Только ведь у вас тут нужно по девяти раз сменять воротнички и манжеты.

И они пошли отплясывать белую мазурку туда, откуда не видно небо.

А рыжий конь, выплыв на русский берег, один, без всадника, понесся, блестя рыжей водой, на восток.

1921

ЧЕРТОВО КОЛЕСО

В низине, влажной и пахучей, присели избушки. Это — деревушка Вышки. И от Вышек, сквозь леса и болота, бревенчатый путь, наскоро кинутый саперами. По этому пути пришли и осели в Вышках на зимний отдых солдаты и офицеры — остатки некогда славного полка. По этому же пути уйдут они, когда придет приказ воевать. Но приказа нет, потому что зимой наступать трудно. Солдаты зарылись в землянках, в поле, а офицеры расселились в деревне. Путь же и зимой ремонтируется.

Из соснового леса, болтая локтями и сбиваясь к луке желтого английского седла, трясся на белой кобыле поляк из строительного отряда.

У офицерского собрания потянул, распяливая локти, поводья, задрал морду кобыле: «Т-пру!» — как хороший кучер. Грудью лег на толстую шею кобылы, путаясь в стременах, высоко задрал правую ногу и сполз наземь. И, когда сполз, казалось, будто все еще сидит он в седле, нисколько не снизился, — такой строитель длинный.

Солдаты строителю чести не отдали и не подскочили, чтобы отвести кобылу куда нужно. Строитель оглядывался сердито. Остренькое лицо — строго, а глаза бегают. Хочется прикрикнуть на солдата, да опасно: а вдруг облает в ответ? Что тогда? Погоны-то у строителя, правда, со звездочкой, да не офицерские — узкие и с черным кантом. Видно, что не офицер.

Пока строитель, мигая глазами, боялся кликнуть зевающего у входа в собрание вестового, вышел на уличку офицер — подышать вечерней сыростью.

— А, приехал? Ну, иди-иди — вино есть.

И вестовому:

— Бери кобылу.

Строитель козырнул важно и, поглядывая гордо на вестового (офицер под руку взял), вошел в собрание.

В собрании воздух жаркий, густой и от табачного дыма лохматый. И лампа — как седина в лохмах.

Офицеров в собрании — битком. Кто курит, кто рассказывает похабный анекдот, а подполковник Прилуцкий, командир полка, с прапорщиком Пенчо и еще несколькими склонились над круглым столиком. На столике — на круглой желтой папке — скачки. Картонные жокеи перескакивают на картонных конях с линии на линию к финишу. Кинет офицер кости — сколько очков? — и хватает жокея своего за шею, двигает ближе к финишу. Азарт.

Пенчо поднял голову.

— А, пся кревь, пришел? Иди — пришивайся...

Строитель осторожно подходит к столу, глядит будто в сторону, а рука уже зацепила бутылку.

Стакан. Еще стакан. И строитель распрямляет плечи и даже крутит желтые усы. И если бы он сейчас завидел вестового, сказал бы ему обязательно «ты» и, не боясь, выругал бы его даже по-матерному.

Так всегда: когда винная влага подкрепит тело и душу, строитель даже и на офицеров поглядывает гордо. А к ночи, похаживая, говорит:

— А мне чего-то хочется. А мне чего-то хочется.

И, выкидывая важно ноги, выстукивает каблуками высоких и гладких сапог к выходу.

— Адье, господа офицеры.

И знает он: господам офицерам того же хочется, что и ему. А вот не свободны господа офицеры: без приказа из Вышек не уйдут. А он, не офицер, строитель жалкий, — всех офицеров выше. Захотелось ему — на коня, и — фьють!

— Адье, господа офицеры!

И уже ловчее вскакивает он в седло и вскачь несется по полю в лес. Льдинки бьются под быстрыми копытами, дышит лес холодным ветром, солдаты шарахаются и отдают честь.

Хорошо пьяному человеку проскакать на свободе сквозь холод и тьму к теплу, к...

— А мне чего-то хочется, — присвистывает строитель и шпорит кобылу. — А мне чего-то хочется.

И сосны белыми лапами укрывают его фигуру.

А господам офицерам — сидеть в офицерском собрании и пить. И как уедет строитель, так будто безнадежнее смыкается круг: утром и днем — ученье, вечером — вино и азарт.

Прапорщик Пенчо боится пить. Как выпьет, так заснет. И после того трое суток голова ноет, и мучает тошнота. Прапорщик Пенчо и без вина пьян. И без вина не может усидеть на месте: вечно вертится, черный, увертливый, маленький, — и швыряет словами, не договаривая.

— Пришивальщик, чорт его... — сказал прапорщик Пенчо, когда уехал строитель, и лег на скамью, лицом в застланный дымом потолок — и сквозь дым, сквозь пьяный шум глядел в Польшу, в то лето, с которого все пошло: днем — пески, ночью — звезды. И ночью темная громада людей, коней, орудий и обозов медленно, как огромная черепаха, движется на восток. А на востоке, на западе, на севере, на юге, — везде, куда ни оборотить засыпающий взор, — полыхает пламя, жадно облизывая черное небо. И все — пески, звезды и движущаяся сквозь тьму громада — все заколдовано в огненный круг зажженных деревень. И вырывается темная громада из круга.

Давно разомкнут круг, давно вырвался полк, — а вот осело навеки в памяти и мучает и толкает. Куда — неизвестно.

— Скоро в наступление пойдем, — успокаивает подполковник Прилуцкий.

А у самого — рожа красная, шея — жирная, и не цыгарка — толстейшая цыгарища торчит из черного рогового мундштука.

— Дело ясное. Россия не может никак погибнуть. Россия, братец ты мой, весь мир победит. Как же иначе?

И тут подполковник Прилуцкий пустил из-под жирных усов столько черного дыма, что кажется, будто в пасти у него взорвался шестнадцатидюймовый снаряд. И вся изба на миг колыхнулась в дыму, а прапорщик Пенчо, чихнув, вертит головой.

— Не верю.

— Н-но!

Тут подполковничья грудь ширится под коричневым свитером. Прилуцкий затягивается цыгарищей и, выбросив в лицо прапорщику черный клуб дыма, продолжает:

— Но! Дис-цип-лина, брат! Ты с командиром так рассуждать не смей! Я тебя — под арест!

Но прапорщик Пенчо не может усидеть на месте. Немедленно, вот тут, не откладывая, нужно что-то сделать. Чтобы не было больше огненного круга перед глазами. А что сделать — неизвестно.

Есть в Вышках пруд, за избами сразу. Зима покрыла пруд ледяным кругом. И вот в центре вбил прапорщик Пенчо самолично кол. Призвал потом двух солдат, из плотников, и целых три дня удивлялись офицеры: что это прапорщик на пруду мастерит? А через три дня, когда сошлись у пруда, оказалось: хитрая игра. Азартней «шмоньки» и даже скачек. На колу, как на оси, чуть-чуть выше пруда, вращается колесо, от колеса — к берегу, к самому краю пруда — бревно, к бревну прикреплены сани. Двинуть колесо — скрипнет бревно, и полетят сани по кругу скорее скорого. Азарт.

Обновил сани сам прапорщик Пенчо. Солдат медленно кружил в центре колесо, а сани, чуть ото льда не отрываясь, взвизгнули по кругу, по краю пруда — вот-вот взлетят сразбегу на воздух.

На втором круге стали сани. Пенчо вскочил на ноги, совсем не суетливый — и глаза спокойные.

— Хорошая штука!

И подполковнику Прилуцкому:

— Пожалуйте, полковник. Испробуйте.

— Я не авиатор, — отвечал подполковник. — Я — пехотный офицер. Мне летать доктор воспретил.

Но стыдно подполковнику: будто перед всем офицерством струсил. Пустил в последний раз дым из-под усов, сдал мундштук соседу и взгромоздился на сани.

— Валяй!

А сойти с саней сам не смог: помогли офицеры.

— Чортово колесо, — сказал подполковник, отдышавшись, — будто в атаку прешь, а тебе в рожу из пулемета насквозь. А ну-ка — поглядим: есть ли еще воинский дух у русского офицера? Ложись следующий, поочереди!

Визжали сани по кругу. Крепко, грудью, жались офицеры к саням, чтобы не сорваться с круга. И никто не сорвался. Все выдержали испытание.

— Ладно, — сказал подполковник. — Выпьем сегодня.

В офицерском собрании пили. Пьяные опять пошли к пруду. И оказалось: если пьяного офицера привязать к саням, на втором круге хмель из головы выскочит. Иди и пей дальше. Хорошая игра!

Прапорщик Пенчо тоже пить стал. Теперь, чтобы не заснуть от вина, мог он кружиться на санях. Уже по четыре круга делать мог.

Когда строитель снова замотался по офицерскому собранию, подполковник Прилуцкий подманил его к себе, поставил бутылку коньяку:

— Дуй из горлышка!

Строитель жадно обнял худыми пальцами бутылку, запрокинул голову и полбутылки отхватил разом. Хотел отнять бутылку от горла, да задрожали руки, и вместе с табуретом опрокинулся строитель затылком об пол. И бутылка, выпустив коньяк на лицо, на коричневый с серебряными пуговицами китель, осколками звякнула попολу.

Подполковник Прилуцкий гоготал тяжко, как мортирная батарея:

— Го-го-го! Го-го-го!

А строитель ползал по полу, собирая ноги. Ног у него стало много, не сосчитать: уже до сотни доходят.

— Эй! Пен-чо! — сказал подполковник. — На сани его!

И строитель повис, как мокрое полотенце, на крепкой руке подполковника. Прилуцкий — впереди, за ним — Пенчо, за Пенчо — все офицеры: к пруду.

У пруда подполковник стряхнул строителя с руки.

— Привязывай!

— Господин полковник, не убивайте! Я — бедный строитель... Не нужно... Для вас же на пути работаю...

— Это ты на что намекаешь? — нахмурился подполковник. — Это ты на что намекаешь, что нам еще дальше отступать нужно? А? А впрочем, — прибавил он, — пшел к чорту. Катись на кобылке!

Согнувшись, слабый от испуга и трезвый, шагом отъезжал от Вышек на дебелой кобыле строитель. И страшен был ему белый огромный лес, и белое огромное небо, и безглазая бессмысленная луна.

И пуще всего грустно ему было потому, что не пить ему больше в Вышках с офицерами.

А в Вышках со дня на день пуще пили, а напившись — к пруду: кружиться на санях навстречу морозному ветру.

Однажды хозяин собрания сказал:

— Господа офицеры! Вино кончается. На две недели еще хватит, а дальше — крышка. Сегодня строителя встретил. Он берется купить, ежели поручат. Заявится сюда — условиться.

Подполковник Прилуцкий гаркнул:

— К чорту! А вот что: в сутки все вино кончим. Азарт. В скачки пойдем: кто кого перепьет? А кто всех перепьет — тому отпуск устрою. Идет?

С вечера началось. На пруду, у чортова колеса, поставили дневального. И при собрании полувзвод дежурил. Свалится офицер, и волокут его за ноги к пруду, там покрутят на санях — и хмель из головы долой. Встанет офицер:

— Спасибо, братцы.

А солдаты:

— Рады стараться, ваш-всокродь.

А офицер опять в собрание пить, но уже не уехать ему в отпуск: вышел из строя. Пьет офицер, пока опять не поволокут его на сани, чтобы выкрутить из тела вино. И опять:

— Рады стараться, ваш-всокродь!

Сначала по чинам шло: валились прапорщики, за прапорщиками — подпоручики, за теми — поручики. А дальше — без чина: кто капитан, а кто прапорщик — не разобрать: все одинаково пьяны. И оказалось — крепче всех подполковник Прилуцкий и прапорщик Пенчо. К утру второго дня все еще сидели они друг против друга, будто трезвые, и стакан за стаканом гоняли в желудок вино.

Так застал их строитель, робко застрявший в дверях.

— А! Пся кревь, иди — пей.

Строитель молча опрокинул два стакана, закусил и провел, распрямившись, пальцем по желтым усам. Выпил еще и заговорил негромко:

— Все ясно. Все правильно. Все хорошо. Если только людей не обижать. Вот я, например... Я на пути работаю. Для вас же, господ офицеров, работаю, и сам я, может быть, тоже офицер.

И так как прислушивались к нему офицеры, он встал, глазки у него блеснули, и продолжал:

— Все вы тут хорошие люди. А меня вы обижаете. Зачем? Я — прекрасный человек. Я — замечательный человек. Я, например, стихи пишу и посылаю в газеты. И какой я поляк? Я русский человек. Душа у меня русская, откровенная, а вы говорите — пся кревь. С вином ко мне...

Но тут прапорщик Пенчо ткнул его легонько в грудь, и строитель опрокинулся на табурет.

— Молчи!

И когда встал прапорщик Пенчо, не шатался, но по лицу, по слишком четким движениям поняли все: пьян человек, и так пьян, что никогда больше не отрезвеет, хоть десять кругов на санях открути.

— Господа офицеры! — сказал прапорщик Пенчо. — Спасите меня. Я погибаю. Тело мое жаждет покоя, а душа — счастья.

И, покачнувшись, прапорщик Пенчо вырыгнул на стол вино.

Подполковник Прилуцкий загоготал радостно:

— Крышка тебе! Не выдержал. Раз такое делаешь, не выдержал: пьян. Я всех перепил! Я! Я в отпуск поеду! Я! Я всех перепил!

Поставил стакан и рукавом опрокинул бутылку. Из горлышка полилось красное вино.

Хозяин собрания подскочил:

— Последняя бутылка, господин полковник.

— Все равно. Я всех перепил. Я уеду в отпуск. А в отпуске, в столицах-то...

И, оглядев всех, подполковник продолжал, откинувшись на спинку стула и усмехаясь:

— А лучше так. Очередь моя по правилам — первая. Так не уеду я в отпуск. Всех перепил — могу, значит, а не уеду, и вас, братцы, не выпущу. Так-то! Война! Айда, братцы, к пруду!

Пенчо схватил за шиворот строителя.

— И этого! И этого! Пусть покружится, пришивальщик!

Единственное, что видел прапорщик Пенчо, — это черный кол посредине пруда. Бесстрашно вступил в неверный круг, подошел к колу.

Офицеры с гиканьем и смехом валили на сани строителя.

— Я сам! — кричал тот. — Я храбрый человек! Я сам!

Он уже лежал на санях, а подполковник Прилуцкий, стоя на пруду, закидывал его снежками.

— Покружишься, пся кревь!

И вдруг подполковник Прилуцкий шлепнулся затылком о лед. Что-то тяжко подбило ему ноги. Не понимая, он привстал, опираясь ладонью правой руки об лед, а левой зажимая рану на темени. И тут снова по всему боку — от поясницы до шеи — тяжко хлестнуло бревно и, подкинув, швырнуло тело офицера о лед, под новый удар все быстрее заворачивающего по кругу бревна.

Плясало по льду, подскакивая и мотаясь, тело подполковника Прилуцкого. А прапорщик Пенчо стоял посредине пруда и крутил колесо.

— Крутись, чортово колесо! Круши черепа! Мели кости! Рви мясо! Полосами сдирай кожу! К чорту!

Строитель летал по кругу без дыхания, без мысли, костенеющими пальцами уцепившись за сани, прильнув к саням, но на четвертом кругу не выдержал: сорвался с саней, взлетел, кувыркаясь, на воздух и только раз успел взвизгнуть. Визг этот далеко слышен был по деревне и в солдатских землянках. И, взвизгнув, строитель шлепнулся сразмаху лбом о дерево и прошиб лоб до затылка.

1922

ШЕСТОЙ СТРЕЛКОВЫЙ

I

У полковника Будаковича на эфесе георгиевская лента и на левую щеку лег черно-желтый, как георгиевская лента, шрам. Шрам на щеке — от первой раны. Вторично ранен был полковник Будакович на Нареве. Он видел, как у ноги его вырастала горка песку, выбрасываемого врывшимся в землю снарядом. Потом земля крутой горой встала перед ним, небо опрокинулось, и песок с травой заскрипел между зубами.

Полковника сволокли на перевязочный пункт. Он дрожал на земле, а курица, взмахнув короткими крыльями, вскочила на живот и медленно ступала к лицу.

Полковник заплакал от обиды и жалости и потерял сознание.

Очнувшись в госпитале, сказал:

— Русская армия гибнет. Снарядов нет. Воинский дух падает. Война курицей обернулась. А и то, не уехать ли в тыл? Я и право на то имею: дважды ранен.

И, не долечив раны, возвратился в полк.

Это было давно. Тогда шестой стрелковый полк бежал из Польши. Синее пламя, очертив круг по горизонту, клонилось над халупами. Раскалившиеся патроны, забытые в халупах, посылали пули, которые пели и жалили, как пчелы. Из горящих ульев вылетали пчелы, которые пели и жалили, как пули.

Желтый дым карабкался над копнами уже собранной ржи. Белым огнем горели оскаленные зубы коней, выносящих из темноты стремительного разведчика или тяжелого артиллериста. Луч прожектора ложился на песчаные поля. Ночами звезды падали с неба.

Это было давно. А теперь отведен шестой стрелковый полк на отдых в полесскую деревушку Емелистье.

Вокруг Емелистья — ни пушек, ни пулеметов. Только топь, и на топи малорослые березы присели, как карлики, на корточки. Ползет к деревне клочковатый туман, а над туманом ползет медленное небо.

Люди в Емелистье — длинные, худые, с мягкими светло-желтыми волосами.

Стрелок Федосей спросил полесского человека:

— Куда девок убрали?

Мужик не ответил ничего и покорно глядел, как веселый стрелок свернул голову куре и погубил штыком свинью. Адъютант, поручик Таульберг, проходя мимо, остановился.

— Нельзя свинью резать.

— Заведующий собранием, ваше благородие, приказал для офицерского довольствия.

Поручик Таульберг отправил стрелка на гаупвахту, но стрелок не унялся.

— Мне заведующий собранием приказал. Не моя воля.

Отбыв наказание, стрелок сказал в роте:

— Дознался. Мужики-то девок своих в топь убрали. К ночи, глядите, пойду.

И ушел стрелок Федосей. Ушел и не вернулся.

А дома у каждого стрелка есть своя жена, невеста, и дети у иных есть. Но далек дом. Зажаты стрелки поротно, и офицеры гуляют по линии, не пускают домой: война.

Падалью свалится стрелок на землю и даже в смерти своей не услышит женской речи.

Вспоминая Федосея, стрелки смеялись:

— Ловчило! Один со всеми бабами в топи живет. Как турок.

И долго говорили о Федосеевой хорошей жизни и о своей плохой.

— Нет в нас ничего, как будто мы чужеземцы. Жены наши обижены и заброшены на произвол судьбы, а дети наши голодные сидят. На девять копеек в сутки только опилок и купите. Пойти за Федосеем!

В штабе полка про Федосея отметили: «пропал без вести», и полковник Будакович сказал:

— Дезертирство начинается. Царь и бог от русской армии отступились. Что будет?

Лучше всех в шестом стрелковом полку знает о том, что будет, заведующий оружием и хозяин офицерского собрания Гулида. Тыкает в обрывок газеты, который вечно торчит у него из грудного кармана гимнастерки:

— Вот! Бельгийский посланник! Аплодисменты! Милюков речь сказал: «победим Германию! Только темные силы...» Темные силы уничтожить нужно.

И держит Гулида голову набок, потому что на шее у него вечный фурункул.

А поручик Таульберг о будущем не загадывает. Он — адъютант, и у него времени и для сегодняшнего дела нехватает. Зато он лучше полковника знает все, что делается в полку. И даже то знает, что Гулида передергивает в карты.

Чуть вечер, у Гулиды в руках уже трещит колода. В банке сперва скромно — рубль. Рубль на рубль — и уже потеют дрожащие руки, багровеют лица. Проигрывают офицеры друг другу в «шмоньку» последнее. И переходит это последнее из кошелька в кошелек, пока не попадет к Гулиде. Гулида скопил уже шесть с половиной тысяч и отложил их в банк в Петрограде, чтобы купить по окончании войны дом.

Из офицерского собрания Гулида прибежал к полковнику Будаковичу, без шапки, красный, и сказал:

— В полку у нас темные силы действуют. У нас, головой ручаюсь, есть германский шпион. Пуля его не берет, а сам он — кровный немец. Солдат мучает, а свинью жалеет. Всякое слово подслушивает и даже в карты подсматривает. Чуть удача русскому человеку, так он сразу: неправильно.

Маленький и юркий, набок держа короткую голову, он убежал, чтобы наутро засветло уехать на станцию за вином и сардинками.

Поручик Таульберг, вернувшись из собрания в штаб, шагал по избе и говорил полковнику:

— Заведующий собранием — карточный шулер и вор. Он учит солдат грабить жителей. Он неправильно играет в карты. Нужно таких из армии вышвыривать.

Полковник Будакович отвечал:

— Не время теперь ссориться. Друг за друга теперь крепко держаться нужно. Падает дисциплина в армии.

II

Две двуколки притряслись к штабу полка. С передней спрыгнул Гулида, споткнулся на пороге, охнул, дернув головой, и вскочил в избу.

— Гости из Петрограда приехали. Подарки привезли. Тыл о нас помнит. И вот газетку достал. Дама стишками пишет. Кальсоны, пишет, пришлю. Шарфики и носовые платочки тоже. И подписалась полностью: Катя Труфанова. И адрес — Таврическая, 7. Красивая, должно быть, бабочка!

Тучные ноги своротили с печи тяжелое тело подпоручика Ловли, начальника связи. Золотой Георгий блеснул на груди, над Георгием — крепкая голова, поросшая золотым волосом. Полковник Будакович надел сверх свитера мундир, нацеплял георгиевское оружие. Гулида крутился по избе, подскакивая то к одному, то к другому офицеру. А от поручика Таульберга отворачивался, будто нет в избе адъютанта. Кинулся к двери.

— Вот они тут, со мной приехали, ждут.

Гости уже выкарабкались из двуколки. Один — высокий, в серебряном пальто, водил рукой по сукну, стряхивая сено. У другого на низких плечах оттопырились дугами повитые серебром узкие погоны гражданского генерала. В избе он, как осел на стул, так и остался, не сдвигая испуганного неподвижного взгляда с того места, которое подставилось глазам. Вздрогнул, когда хлопнула дверь, выпустив Таульберга из избы: много наврал гостям в дороге Гулида про войну и снаряды.

Грохотом ударило в уши короткому генералу, когда адъютант снова шагнул в избу.

— Господин полковник, приказание ваше исполнено. Стрелки ждут.

Высокий дернулся с табурета, тронув животом стол. Блестел эфесом шашки, пуговицами и пряжками, и казался перед ним полковник Будакович грязным солдатом.

— Я готов.

Медленно и тяжко поднялся короткий генерал и согнулся так, будто и не вставал: так же низко висит над

полом серое лицо. Губы двинулись сказать что-то, но голоса нехватило, и ноги повели дрожащее тело туда, где прибились плечо к плечу стрелки, выстроив ряд серых, обрезанных по прямым углам фигур.

Полковник Будакович встал перед строем.

— Здорово, люди!

А люди все, как один человек, — одного от другого не отличить. Зажаты плечо к плечу в неумолимые прямоугольники, и кричат все зараз, и молчат все зараз.

Полковник Будакович глянул небрежным глазом на гостей.

— Скажете что-нибудь?

Короткий генерал попятился, зарываясь каблуками в землю. В теле — пусто и холодно. Непонимающими глазами он уставился на высокого. А тот уже вытянулся перед стрелками так, будто желал отделиться от земли или растянуться, сузившись, до неба.

«Скорей бы кончил» — думал короткий, поглядывая на ближний лес: Гулида говорил ему дорогой, что в лесу — немцы.

Вот уже рука взлетела кверху. Вот, наконец, «ура!» И Ловля двинул локтем в бок Таульбергу:

— Здорово говорит, а?

Таульберг отодвинулся.

Гость утирал гладкое лицо платком.

— Мне с солдатами говорить не впервой!

И вот уже можно уходить отсюда.

Чем ближе штаб, тем выше становился генерал. Вот он уже чуть ли не по плечо высокому. А в избе размяк, задергал короткими руками, как курица крыльями.

— Я думал... я совсем другое... ведь немцы... Теперь навсегда... Никогда не забуду...

Топорщился в слишком широкой шинели. И вот-вот взлетит, как курица, на плечо полковнику Будаковичу. Полковник брезгливо вздрогнул.

Пока высокий самодовольно докуривал трубку, Гулида толковал с фельдфебелем Троегубовым.

— Вот по этому адресу пиши: все пришлют, — Катя Труфанова.

Махнул рукой, сбивая подымающуюся к рваному козырьку костлявую руку фельдфебеля.

— Тыл о нас помнит. Все, что ни попросишь, пришлют Все, что на душе, пиши. А подарки у меня: раздам.

III

Ушел стрелок Федосей к девкам в топь и не вернулся. Хорошо жить Федосею: он один, а девок у него много. Но Катя Труфанова одна лучше всех Федосеевских. Если бы не так, то не писали бы стрелки Кате Труфановой любовные изъяснения в стихах и прозе.

Фельдфебель Троегубов сгреб огромными, как лопата, ладонями солдатские письма — и в штаб, к поручику Таульбергу.

Тяжелая голова адъютанта нависла над бумагами.

— Только табак получили?

— Только табак, ваше благородие, так точно.

И выгребает фельдфебель на стол узенькие конверты, а на конвертах — адрес один: Петроград, Таврическая, 7. Госпоже Кате Труфановой.

Когда ушел фельдфебель, поручик Таульберг сказал полковнику Будаковичу:

— Я не могу больше. Гулида научил дезертира Федосея грабить крестьян. Гулида неправильно играет в карты. Теперь украл он солдатские подарки.

Полковник Будакович нахмурился.

— Он не украл. Он офицерам, значит, роздал.

Адъютант зашагал по избе.

— Это неправильно. Нужно у офицеров подарки отобрать. Они присланы для солдат.

У полковника Будаковича лицо потемнело в один цвет со шрамом.

— Отобрать поздно. Уважение упадет. И так дисциплина в армии падает. Нижним чинам и табаку достаточно. Вы, поручик, честный офицер, но в вас немецкая кровь, извините, говорит.

Поручик Таульберг вытянулся, взял под козырек:

— Господин полковник, прошу вас уволить меня от обязанностей адъютанта в роту. Разрешите сегодня же сдать должность поручику Ловле.

Полковник Будакович говорил Ловле вечером в офицерском собрании:

— Упрямый немец! Хочет, чтобы все гладко было. Не уговорить.

Ловля отставил стакан с вином, взглянул на полковника.

— А ведь Гулида-то что говорит: поручик Таульберг, говорит, — германский шпион. А?

К ночи полкового капельмейстера посетило вдохновение, и он написал лучшую свою вещь — вальс «Весенние цветы», написал прямо — от руки. Тут же сыграл его на трубе и заплакал от восторга. Не спал до утра и думал о том, что он — великий музыкант, и не в полку ему быть, а дирижировать симфониями в Лондоне. И посвятил вальс «Весенние цветы» Кате Труфановой.

С утра гудела музыкантская команда за деревней, разучивая вальс «Весенние цветы», сочинение Николая Дудышкина.

Ловля, встретив поручика Таульберга, сказал:

— Поручик, идемте на концерт.

На зеленую спину поручика Таульберга лег кожаный крест. С плеч прямыми желтыми линейками падают ремни к широкому поясу. У пояса — наган. Сегодня поручик Таульберг — дежурный офицер. Сам себя до сдачи должности вне очереди назначил.

Лицо у него похудело и такое черное, будто борода выросла у него на этот раз не наружу, как у всех, а внутрь, и оттуда просвечивает сквозь кожу.

Поручик Таульберг не пошел на концерт.

К вечеру толстый капельмейстер выпустил на борт офицерской шинели георгиевскую ленту. Под шинелью — солдатская медаль. Под медалью — взволнованное сердце.

Стукнул палочкой по пюпитру, распростер руки, и трехмерная мелодия вальса затмила офицерские глаза слезой. Замолкла музыка.

— Здорово, — заговорил Гулида. — Прямо-таки скажу: здорово! Вы в Мариинский театр пошлите, в Петрограде — там Чайковский какой-нибудь продирижирует. Всемирная слава! Лавровый венок! На концертах-митингах исполнять будут!! Так и напишите: посвящаю Кате Труфановой. Ее-то в Петрограде всякая собака знает.

Композитор отирал бледное лицо присланным в подарок носовым платком. И чуть ли не десять раз должен

был он исполнить вальс «Весенние цветы». Его на руках пронесли офицеры в собрание: чествовать.

Крепкими бревнами обшит сарай, отведенный под офицерское собрание; на бревнах рыжий мох. Широкая печь надышала в сарай жарким воздухом. Грубо обрубленные столы вытянулись вдоль стен, отодвинувшись к середине, чтобы дать место длинным и узким скамьям. К потолку, посредине сарая, железной проволокой притянута большая керосиновая лампа.

Лампа пылает желтым цветом. Огонь отскакивает от темных бутылок, вставших на столы; только мелкие осколки сверкают в горлышках. Бьет огонь в лица офицеров и желтыми звездами горит на погонах и пуговицах. Уже говор и звон встают меж стен. Дрожат, наклоняясь, бутылки, винной влагой наливая стаканы, бокалы и рюмки. И подымаются бокалы, стаканы и рюмки во здравие Кати Труфановой и композитора Дудышкина. Не все офицеры могли подняться с мест, когда дежурный по полку, поручик Таульберг, явился с докладом. Таульберг приложил руку к козырьку и отрапортовал:

— Во время дежурства в шестом стрелковом полку никаких происшествий не случилось, кроме того, что заведующий оружием Гулида присланные солдатам подарки среди офицеров распределил.

Гулида рванулся через стол к поручику.

— Шпион! Германский шпион!

Ловля ухватил его за плечи, и в рыжих руках юлил Гулида, как бесенок, залетевший с топи. В шуме и грохоте молоденький прапорщик плакал в углу, громко, навзрыд.

— Я сюда добровольцем пошел... а тут... так...

Ловля, сдав Гулиду офицерам, утешал прапорщика. Тот плакал. Ловля махнул рукой.

— Восемь атак выдержал, а разговора с этим прапором выдержать не могу.

И вдруг яростно треснуло каменное лицо:

— Во фронт! Я старше вас чином! Приказываю вам смеяться!

И еще громче крикнул полковник Будакович:

— Смирно! Господа офицеры!

И когда застыл гул на последнем, в углу, стуке табурета, командир полка обратился к Таульбергу:

— Поручик, приказываю вам отдать шашку. Я вас арестую за неприличную клевету на господ офицеров.

А у входа в собрание стоял с винтовкой на-караул дневальный, глядел на пьяных офицеров, и в спину ему дышала сыростью и туманом топь. И светловолосый мужик выглядывал из-за плеча солдата.

IV

Окно в избе, где гауптвахта, разбито. Под окном — караульщик с простреленной головой. Убежал поручик Таульберг, а куда — об этом знает в Емелистье только тот мужик, который уперся, как длинная жердь, в угол избы и поглядывает, почесывая заросшую грязным волосом грудь, на собравшихся в штаб офицеров. Молчит мужик.

К широкой печи приплюснулось золотым Георгием вниз широкое тело подпоручика Ловли. Возле печи — стол. На столе — германская каска. В дыру, сквозь которую достигла острая сталь человеческой головы, вставлена свеча. Перед свечой — полковник Будакович. Гулида, растопырив руки, выгибался — вперед, к полковнику, а голова набок.

— Я говорил! Германский шпион! Теперь увидите: немцы тут окажутся. Господ офицеров оклеветал, солдат раззадорил — и к немцам. Вы послушайте, что солдаты говорят! Офицеры, говорят, подарки попроели! А вот газетку пожалуйте. В Петрограде-то! А?

И все ближе к черно-желтому шраму пригибался Гулида.

— Дисциплина-то, какая дисциплина, когда офицера перед солдатом поносят? Не верили? Вот вам — пожалуйте.

Полковник неподвижен, как идол. Лицо, как из дерева выкроено — грубое, и на левой щеке широкий знак: война. Дрожит свеча, воскуривает фимиам идолу.

Гулида вскочил, вытянул большие часы на тоненькой серебряной цепочке.

— На станцию завтра утром... Пойти заказать двуколку. Счастливо оставаться, господин полковник.

Выбежал из избы, свернул к солдатским землянкам и, услышав голос, притих, пригнувшись к земле.

Огромная лапа фельдфебеля Троегубова гуляла над сгрудившимися во тьме стрелками.

— Посылает нам лиса нехитрая всякой таковины. Смеется из нас. Подарки только дают и сулят малым детям. Не нужны нам ни подарки, ни ласковые слова, а нам только нужна жизнь и своя родная семейства. Какой в нас будет воинский дух, если мы обижены навсегда и лишены всей жизни!

Фельдфебель Троегубов грозит огромным кулаком.

Не разгибаясь, уполз Гулида от стрелков. Пошел к гауптвахте.

Куда немец проклятый удрал?

У себя в избе разложил полевую карту, водил пальцем.

Но деревушки Качки в полевой карте не найти. Двинется человек в деревушку — и завязнет в дороге: велика и глубока топь, а узенькая гать известна только полесским жителям. Качки стали с войны дезертировым поселком.

Длинный мужик, хозяин штабной избы, увел поручика Таульберга в Качки. Навстречу вышел стрелок Федосей и сказал:

— Здравия желаем! Нашего полку прибыло. Не кончилась война? Тут пути в мир заказаны. В миру словят нас и человеческим судом расстреляют.

И даже честь отдал. И лучшую предоставил избушку.

— Живите, ваше благородие. Тут жизнь правильная. До скончания века живите. Правильные мужики в Емелистье — нас жалеют, да и девкам женихов нужно.

Постоял у двери, пока оглядывал поручик Таульберг новое свое жилище, и всплакнул:

— Немного тут нас, бедных. Забыты мы на чужедальней стороне. Отсюда одна нам только свобода, что иди служить, кровопивцев охранять, и вся наша прямая обязанность. Эх, дойдет наша горячая молитва и чисто-светлая слеза, раздерем мы их проклятую кожу и отберем невинную назад свою кровь. Эх, ваше благородие!

И пошел.

В избе с поручиком Таульбергом девка. Поручику казалось: не девка это — зверь лесной. Слова выговаривает для офицерского слуха непонятные. От шеи до колен накручено на нее грязного тряпья, какого поручик Таульберг в жизнь свою не видывал. И торчат из юбки ноги толщины и крепости необыкновенной.

Мужик перекрестил свою дочь и поручика, пробубнил что-то свое и ушел.

И остался поручик Таульберг жить в лесу.

Ночь заложила глаза. В голове туман. Поручик Таульберг растянулся на печи. Утром открыл глаза: рядом лежит лесная девка и глядит на него, не мигая; глаза у нее непонятные, зеленые, как вода, покрытая плесенью. И вся она в зеленой плесени, будто сейчас родилась из лопнувшего на трясине пузыря.

Поручик Таульберг испугался. Вскочил с печи. Замахнулся:

— Чертовка!

Девка ласково тянулась к офицеру. Поручик выбежал из избы.

Стрелок Федосей сидел недалеко на пне и глядел в топь. Не встал, увидев Таульберга. Поглядел сумрачно и сказал:

— Что офицером ходишь? Тут с погонам ходить строго воспрещается. Неча дурака валять!

Ясно поручику Таульбергу: правильные люди не должны в изгнании жить. Всех изобличить нужно. Он, поручик Таульберг, изобличит.

К ночи поручик нацепил к поясу шашку и наган, в карман сунул электрический фонарь. Обернулся к женщине:

— Сейчас вернусь.

Высунулся из двери: никого. Тихо. Огоньки в избах мигают. Покружил по поляне: кругом топь, и только узенькая гать в мир ведет. И обсели поляну, как серые карлики, березки, дышат сыростью и туманом.

Уже нога поручика ступила на гать, и сучья жестко хрустнули под ногой. Но тяжелое дыхание ударило сзади в шею, рука уцепилась за плечо.

— Ты что — шпионить сюда пришел?

Поручик Таульберг обернулся. Стрелок Федосей тяжело дышал ему в лицо, и все крепче сжимали сильные пальцы плечо.

Таульберг ухватил цепкие пальцы, отстраняя стрелка.

— Ты не имеешь права меня удерживать.

Не отстают пальцы.

— У нас жизнь правильная. А ты сюда от офицеров пришел.

И с силой сорвал стрелок с плеча поручика офицерский погон. Поручик выпрямился, вздрогнув; выхватил наган, свалил пулей стрелка Федосея, и гать захрустела под его ногой.

Федосей поднялся, шатаясь. На плече взмокло красное пятно.

— Я тебе...

Но поручик Таульберг уже ничего не слышал. Зашел далеко по гати, остановился. Никого кругом — только неподвижные, на корточках, карлики. Щелкнул электрическим фонариком; свет поборолся с туманом и устал: свернулся желтым пятном в руке — сам в себя светит.

Поручик закричал в испуге — никто не откликнулся. И опять карлики убирают из-под ног сучья, ведут в трясину, кидают к слепнущим глазам больно бьющие и царапающие сучья.

Тяжело итти ночью по топи.

Скрепился офицер. Глаза не видят ничего, но слух насторожился, и нога не теряет гати. Ничего не могут сделать карлики с человеком.

К утру выбрался поручик Таульберг из болота. Сквозь туман торчат углы емелистьевских изб.

Обрадовался офицер и побежал к деревне. Приплывают знакомые избы — одна, другая...

Поручик остановился — как он в полк теперь явится? Повернул назад. Слышит: догоняет кто-то. Оглянулся. Фельдфебель Троегубов, раскидывая руками, отмахивал по полю огромные скачки.

— Стой!

А за фельдфебелем подпрыгивает круглый стрелок и тоже попискивает тонко с каждым прыжком:

— Уй-уй! Уй-уй! Братцы вы мои!

Не убежать поручику. Остановился, глянул на сорванный погон и, чуть подбежал фельдфебель — не дал ему слова сказать: полоснул Троегубова пониже шеи шашкой.

Круглый стрелок, допрыгнув, вскинул руки, да так и остался на месте, как в землю вкопанный. Из-за изб выбежал дневальный, поглядел и понесся в штаб.

А поручик Таульберг зарылся среди карликов. Жизнь — дремучая, как лес, и страшная, как топь. Не знают люди,

как жить нужно. Все неправильно. И он, поручик Таульберг, — неправильный человек. Не стоит сорванный погон человеческой жизни.

V

Полковой капельмейстер валялся на кровати.

«Хороший вальс «Весенние цветы», — думал капельмейстер, — замечательный вальс. Что в Петрограде скажут?»

Поднялся с кровати, застегнул грязную рубаху, закрыв жирное, в складках, как у женщины, тело, натянул мундир и вышел на улицу.

Мимо проскакал на гнедой лошади полковник Будакович.

— Здравия желаем, господин полковник!

Но полковник даже не оглянулся. Промелькнули мимо глаз синие рейтузы, слившиеся с желтым седлом; отмахали тяжелые гнедые бока, туго стянутые подпругой; отщелкали звонкие копыта коня.

— Куда это он?

И двинулся капельмейстер по улице. А навстречу — подпоручик Ловля. Толкнул плечом капельмейстера и не извинился.

— Господин поручик!

— Ах, это вы?

Лицо адъютанта густо поросло рыжим волосом. Пониже подбородка, вокруг шеи, толстым слоем легла грязь. Ловля говорил капельмейстеру:

— Сегодня — вы понимаете?.. Секретная бумага из штаба дивизии... Полковник на коня и — «поручик, вечером вернусь, ставьте полк на военное положение»... Вы понимаете? Отдых — и военное положение!.. А тут еще сторожевые доносят: люди вокруг деревни ходят. Солдат убит — Троегубов, фельдфебель, с поля принесли. И со всех сторон доносят: поручик Таульберг... Вы понимаете?.. Полковник ускакал — и поручик Таульберг...

И Ловля оставил недоумевающего капельмейстера. Тот ускорил шаги. Лучше всех обо всем знает Гулида. А Гулида, наверное, в околотке.

Но у самого почти околотка, откуда-то сбоку, вывернулся круглый стрелок. Стрелок всем телом налетел на капельмейстера, чуть не сшиб с ног, откачнулся, взглянул дико и понесся вдоль изб. А в руке — винтовка.

Дрожь прошла по телу капельмейстера. Подпрыгивая, пустился он к околотку. Там Гулида, только что сорвав банк, упрятывал в кошель выигранные рубли.

Капельмейстер проговорил, задыхаясь:

— В деревне... что-то...

Врач Ширмак протянул тонкую и потную руку.

— Эге! Да вы взволнованы... Уж не сочинили ли чего-нибудь новенького?

— Да нет... Полковник ускакал — и поручик Таульберг...

В этот момент невдалеке раздался выстрел. Гулида вздрогнул и выронил кошель. Серебряные рубли рассыпались по полу. Гулида ползал, дрожащими руками подбирая рубли.

Вскочил. Круглый стрелок шагнул в избу, протянул правую руку врачу. Указательный палец на руке отстрелен.

— Немец ранил, — сказал стрелок, улыбаясь глупо.

Гулида выскочил из избы; забежал во двор; вспрыгнул на обозную кобылу; крепко сжал дрожащими икрами облезлые гнедые, в яблоках, бока; руками охватил дряблую шею кобылы и, болтая локтями, пятками и головой, подкидывая тощим задом, пронесся по деревне с криком:

— Братцы! Германский шпион предал нас! Немцев с гати навел!

Из-за изб выскакивали стрелки. Рты разинуты, в глазах туман, дула винтовок торчат в воздух, посылают пули.

Офицеры сбились в избе. Немногие выскочили на улицу. Подпоручик Ловля влез на плетень, охватив рукой дерево; набрал воздух в легкие, чтобы крикнуть: «Смирно!» И крикнул:

— Ряды вздвой!

Схватился за голову, шлепнулся наземь и уперся широкой спиной о ломающийся плетень. А мимо проскакивали стрелки.

— Отрезали! Окружили!

Стрелки на бегу спотыкались, падали, думая, что уже они убиты, вставали и снова падали, и вновь воскресали из мертвых.

Как во время великого боя набивались стрелки в полковой околоток.

Колючая фигура врача ласково изгибалась среди раненых и контуженых.

— Ты, братец, ничего не слышишь?

— Так точно, ваше благородие, ничего не слышу.

— Ах, ты...

И колючие костяшки уже бьют по лицу.

Капельмейстер дергал врача за локоть.

— Господин врач... Меня убить могут. Я не хочу.

— Оставьте!

И врач уже разглядывал коричневый нагар на пальцевом суставе стрелка.

— Самострел!

Краска просквозила на тонкой коже докторского лица. Глаза прокалывают стрелка.

Капельмейстер прижался к стене. Никто не поймет: не тела толстого жалко. А в теле — талант, дар божий. Залетит пуля в тело, убьет талант.

Врач толкнул капельмейстера:

— Не мешайте! Прошу вас убедительнейше — уходите отсюда или...

Капельмейстер отодрал тело от стены и, подталкиваемый в бок, в спину, в живот, пробрался к двери, прыгнул с крыльца и завяз ногой в канаве.

И показалось тут капельмейстеру, что он — деревенская девка, сдуру залезшая в болото.

— Ой, тошнехонько! — завопил капельмейстер тонким голоском. — Ой, девушки! Тоню!

А уже на другом конце деревни увидели гнедого коня командира полка. Полковник Будакович вскакал в деревню, опрокинул не успевших увернуться стрелков, остановил коня возле подпоручика Ловли.

Ловля подбежал, тяжело шевеля ногами, приложил руку к козырьку — что сказать? — и отрапортовал:

— Во время дежурства в шестом стрелковом полку никаких происшествий не случилось.

И сделал ударение на «не».

VI

Все смешалось, сплелось, перепуталось в деревне Емелистье. Нет Гулиды, чтобы разъяснить. А полковник Будакович молчит. Никого не наказал. Приказал только военными кордонами окружить деревню, никого не выпускать, никого не впускать. Одному Ловле полковник рассказал все.

Рыжая фигура подпоручика вытянулась перед ним в штабе полка. Полковник Будакович постукивал по столу пальцами, а на столе — германская каска, и в дыру, сквозь которую достигла острая сталь человеческой головы, вставлена свеча.

— Вот какое дело, — говорил полковник. — Пришло грозное время. Все зависит от плана дальнейших действий, который я составлю. Я сейчас выработаю план дальнейших действий. Нижние чины довольны?

— Так точно, господин полковник, совершенно довольны.

— А офицеры? Да отвечайте же, поручик! Что вы стоите да молчите все? Я — командир полка, а вы...

— Так точно, господин полковник, — сказал Ловля.

Рука его дрожала у козырька коричневой фуражки.

— Что «так точно»? А? что это значит — «так точно»?

Рука задрожала сильнее.

— Никак нет, господин полковник.

Командир полка вплотную придвинулся к адъютанту, Ловля вздрогнул.

— Исполните все, — сказал Будакович. — Ничего не забыть. Слышите? Ничего не забыть. Через час в собрании быть всем господам офицерам. Я доложу о плане дальнейших действий.

Выйдя из штаба, Ловля вздохнул тяжело, снял фуражку, отер пот со лба.

В собрании офицеры разговаривали негромко. Замолкли, когда вошел Ловля. Поглядели на него в ожидании. Молодой прапорщик, выступив вперед, начал, задыхаясь слегка:

— Господин поручик... Я хотел...

Сквозь рыжий волос на лице подпоручика проступила краска.

— Что вы хотели? Если вы хотели, то вы так и говорите! Вы сегодня дежурный офицер?
— Так точно, господин поручик.
Ловля произнес важно:
— Командир полка полковник Будакович приказал господам офицерам собраться здесь через час. Командир полка полковник Будакович доложит господам офицерам план дальнейших действий. Исполнить все. Слышите? Ничего не забыть. Через час.
— Слушаю-с, господин поручик... Но...
Ловля угрожающе шагнул к прапорщику.
— Но?
— Но... господин поручик... что случилось?
— Прапорщик! будет занесено в приказ. Непослушание. Я сказал: план дальнейших действий. Через час. Вы слышите? Ничего не забыть.
И вышел. Двинулся к солдатским землянкам. Смолк говор среди стрелков. Встали медленно, отдали честь. Ловля глядел в бородатые и безбородые лица.
— Здорово, люди! Эй, ты! Баба! Честь не умеешь отдавать! Какой роты?
Круглый стрелок улыбался.
— Ты чего улыбаешься? Под винтовку! Дисциплины не знаешь!
Когда Ловля подходил к штабу полка, его догнал дежурный офицер.
— Господин поручик, сторожевые доносят: по дороге от штаба дивизии движутся войска.
— Войска? Чтобы сейчас же все офицеры были в собрании! Или нет... Или да... Да. Я сейчас...
И побежал к полковнику Будаковичу.
Лучше всех обо всем знает Гулида. А Гулиды нет. Гулида ждал полковника Будаковича в штабе дивизии. Ведь ясно сказал полковник:
— Оповещу, офицеров выберем — и назад.
На коня — и мелькнул за поворот.
Гулида, сняв погоны, похаживал возле двуколки. К генералу заявиться неудобно — у генерала дел много. В Емелистье? Но бог его знает, что сейчас там, в Емелистье!
Стрелки, проходя мимо, не отдавали чести. Гулида

оглядывался вокруг нетерпеливо, хмурился, будто ждал кого-то по делу. А полковника Будаковича все нет.

Из-за поворота показалась фигура, черная, как топь. Гулида радостно взмахнул руками:

— Господин поручик! Вы?! Вы живы! Вы, конечно, знаете? Вот! Приказ! Временное правительство! Темные силы... Темные силы все будут уничтожены! Вот!

Голова, свороченная набок, трясется. Руки гуляют вокруг поручика Таульберга, не прикасаясь: на шинели, на лице, на руках поручика — черная мокрая грязь. Сапоги — как пни — толстые, короткие. Не раз падал поручик, пробираясь сквозь топь.

— Господин поручик! Да вы же первый в полку революционер! Теперь вы командир полка! Обязательно командир полка! — И Гулида замахал руками: — И не отказывайтесь! Как же не командир! Командир! Да что тут откладывать? Идемте к генералу! Обязательно идемте!

— Да что — оставьте! — случилось? Я не...

Но Гулида уже тащил поручика Таульберга в штаб дивизии.

— Теперь все старое кончено. Новая жизнь! Вот! Прокламация, — пожалуйте! И генерал тоже... Уж если генерал — и прокламация... Идемте! А солдаты — совершенно спокойно. То есть, я вам скажу, только честь не отдают. А честь — что? Офицеру не честь нужна, а боеспособность армии. Идемте! А полковнику, как приедет, скажем: сдавайте, мол, свои обязанности более энергичному и...

И Гулида утащил поручика Таульберга в штаб дивизии.

— Важное дело! Экстренное! Из шестого стрелкового!

И думал, подталкивая Таульберга:

«Убьют стрелки шпиона немецкого! Как пить дать, убьют!»

Поручик Таульберг послан был в Емелистье с ротой и уже приближался к деревне.

А в собрании уже наклонялись офицерские головы, подставляя ухо ко рту и рот к уху соседа. Ухо ко рту, рот к уху — и уже громче говорят офицеры. Качаются

ордена, стучат шашки, где-то в углу даже звякнули шпоры. И все смолкло, когда появился полковник Будакович.

Ловля крикнул:

— Смирно! Господа офицеры!

Полковник Будакович оглядел всех внимательно, прошел к скамье, уселся, вытащил из кармана бумагу. Шум затих.

— Господа офицеры, план дальнейших действий...

Тут полковник Будакович, вздрогнув сильно, сунул бумагу назад в карман, встал и вышел из собрания.

Перед собранием — стрелки. Вылезли из-за изб на улицу. Тяжело, будто из-под земли, глядели на полковника, сливались в одно дыхание, тяжелое, подземное. И дыхание все тяжелее и дружнее — вот-вот опрокинут землю и вырвутся.

Полковник Будакович взмахнул рукой:

— Господа стрелки!

Стихло дыхание.

— Господа солдаты!

Стрелки слушали. Полковник Будакович оглядел толпу молча и спросил негромко:

— Кто сказал: курица?

И прибавил:

— Курица — не птица. Прапорщик — не офицер.

Повернул круто и пошел по улице. Стрелки расступались перед ним, сливаясь за его спиной в одно дыхание, и двинулись вслед. А за спинами стрелков, с другого конца деревни, вливались солдаты из штаба дивизии. С правого фланга шагал поручик Таульберг.

Полковник, выйдя за избы, остановился. Поглядел. В лицо сыростью и туманом дышала топь. Тяжелая фигура стрелка Федосея приближалась к деревне.

Полковник обернулся, вынул шашку.

— Господа солдаты! — сказал он. — Ваша очередь спасать Россию! Господа солдаты!

Все лицо полковника подернулось тут назад, к ушам. Складки прошли от глаз и ото рта. Рот расширился, сверкнули белые острые зубы. Шашка, со свистом резнув воздух, ушла далеко в тело стоявшего впереди стрелка.

VII

Все, что шумит и гудит сейчас по деревне, — все это будет тут, на желтой нотной бумаге, которая дрожит в руках у капельмейстера. Гнилые зубы обкусывают карандаш. Китель расстегнут, ворот рубашки тоже.

Только бы не помешали. Только бы на полчаса оставили одного в избе. И будет готов русский революционный гимн. Быстрые шаги застучали к двери. Капельмейстер с досадой бросил карандаш. Подпоручик Ловля вбежал в избу. Лицо у него прыгало, и дрожащие губы мешали правильно выговаривать слова. Ловля говорил:

— Ся... сяда... ядут... Ба... Бадакович... —

И полез под кровать.

Гимн будет лучше, гораздо лучше, чем вальс «Весенние цветы». И не дают капельмейстеру сочинить гимн.

Дверь с грохотом сорвалась с петель. За дверью — штык, за штыком — дуло, приклад и серая шинель солдата. За стрелками — еще стрелки.

Штык мелькнул мимо капельмейстера.

— Где адъютант?

— Там, — отвечал капельмейстер шопотом, прижимая к широкой груди нотную бумагу. — Там.

И указал под кровать. Ловля выскочил, закрыл голову руками, выставив вперед локти, и ринулся к двери. Прорвался на крыльцо, соскочил — и в сарай.

Таульберг без погон, черный, стоял на дворе. Не остановить людей. Никто не поймет его. Все неправильно.

Солдаты, топоча сапожищами, пролетели мимо Таульберга в сарай, куда забился адъютант Ловля. Таульберг услышал визг, как будто в сарае резали поросенка. Все глуше визг, и вот — поросенок зарезан. Стрелки вылезли из сарая. Таульберг, шатаясь, пошел со двора. У выхода, на гнедом коне полковника, — стрелок Федосей. Стрелки гоняются за офицерами. Один крикнул Федосею:

— Капельдудку в сарае зарезали.

— Обязательно, — отвечал Федосей.

И дернулся с лошади к Таульбергу.

— Шпион офицерский!

Таульберг вздрогнул, завидев Федосея, забежал во двор, вытягивая из тугой кобуры наган. Вытянул, оглянулся

дико, приложил дуло к виску и дернул торопливо курок.

А через дрожащее еще тело, опрокидывая все на пути, вырвалась на улицу жирная масса капельмейстера. Китель клочьями болтался на плечах. Голова всклокочена. К груди капельмейстер прижимал нотную бумагу.

Остановился, взмахнул перед багровым лицом нотной бумагой.

— Господа! Не убивайте! Не о себе прошу! Погодите! Завтра убейте, через час убейте! Гимн! Русский революционный гимн! Не нужно!

Штыки окружили капельмейстера, и в истыканном остриями круге кричал капельмейстер, помахивая нотной бумагой над всклокоченной головой:

— Братцы! Не нужно. Ей-богу, не нужно! Кого убиваете? Гимн!

И разомкнулся круг.

VIII

За деревней — камень. На камне — стрелок Федосей. Туман подползает к деревне Емелистье, а над туманом ползет медленное небо.

Стрелки подбирают на улице, в избах, по дворам, везде трупы офицеров шестого стрелкового полка и складывают тут, перед стрелком Федосеем.

Убрана деревня. Лежат перед стрелком Федосеем, выставив вперед подошвы, полковник Будакович, поручик Таульберг, подпоручик Ловля и еще многие. Но Гулиды нет. Гулида не лежит перед стрелком Федосеем.

Он явился в Емелистье к вечеру, когда утихли стрелки, — заюлил, закружился:

— Ура! Новая жизнь! Я вам всем теперь такого вина достану!.. Праздник! Обязательно праздник! Капельмейстер гимн сочинит! И в Петроград пошлем: «шестой стрелковый присоединяется». Долой, мол, офицеров! Долой немцев! Да здравствуют народные вожди!

И теперь он стоит за широкой спиной стрелка Федосея.

Устали стрелки. Вышли с лопатами за деревню — рыть могилу. Но тяжко копать после дневной работы вязкую землю.

Стрелок Федосей поднялся с камня:
— В колодец их всех!
Стрелки обрадовались:
— Правильно!
И дружно приступили к работе. Один — за ноги, другой — за голову, колодец недалеко, — бух! И нет офицера. Очищается земля перед стрелком Федосеем.
Круглый стрелок указал на полковника Будаковича:
— И этого в колодец?
— В колодец, — отвечал стрелок Федосей.
И ногами вверх бултыхнулся в колодец полковник Будакович вслед за другими.

1922

КОМИССАР ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

I

С марта не с кем разговаривать генералу Чечугину. Никто не поймет. Поймут генерала только те, что в марте кинуты стрелками в колодец за деревней Емелистье.

В темной и сырой глубине погибла, истлела воинская честь, слава и блеск. От колодца пошла такая вонь, что комитет распорядился засыпать его. И вот над вязкой землей остался сруб в полчеловеческого роста, а если прыгнуть внутрь, ногами в песок, — голова останется торчать над срубом.

Засыпали колодец, прихлопнули крышкой и забыли. Только генерал Чечугин помнит о том, что похоронено на дне.

С марта командует генерал Чечугин шестым стрелковым полком: дивизию отняли. В полку все офицеры чужие. Только один свой: поручик Риман. Еще до марта потерял поручик левую руку, а теперь приехал из глубокого тыла и принял в командование одиннадцатую роту. С ним одним иногда говорил генерал Чечугин о прежнем. Но и поручик Риман не понимал. Скалил большие, как у лошади, зубы и, пригнувшись к самому уху генерала, шептал тяжко:

— Я этим хамам покажу. Не все еще у нас потеряно. Придет наше время.

И желтое лицо становилось, как череп: злобное. Уходил, чтобы улыбаться ласково комитетчикам и стрелкам. И левый рукав приколот был большой французской булавкой к френчу.

К лету, прямо с гимназической скамьи, явился на фронт, в отцовский полк, сын генерала Чечугина —

Сергей. Генерал позвал поручика Римана и попросил его:
— Возьмите сына к себе в роту. Не жалейте. Учите, чтобы был хороший солдат.

Так попал Сергей в роту поручика Римана.

Генерал спрашивал поручика:
— Как Сергей? Хороший будет солдат?
— Не знаю. Не думаю: от ученья отлынивает.
— Вы его цукайте, как прежде бывало, — говорил генерал. — Скоро ударный батальон прислан будет. Тогда на позиции выйдем. Сергея туда определю.

Костяк у генерала Чечугина широкий, и привалено к костяку тяжелое, нежирное мясо. К ночи телесная тяжесть одолевает генерала. Лицо темнеет; жила вздухает на лбу; грузная, как пудовая гиря, шея ворочается, раскаляясь и раздирая твердый ворот мундира.

Ввалившись в кресло у окна штабной избы, пьет генерал стакан за стаканом черный кофе, глядит в окно, — туда, где понизу — тьма, а поверху — звезды, и ждет: вот-вот сдвинется и распадется тишь, и оттуда, из-за болот, придут тысячи, готовые для битв.

И тогда опрокинет генерал врага и двинется по пятам, преследуя и убивая. И тогда не нужны будут ни сырая полесская ночь, ни кофе, ни кресло, потому что настанет война.

Но нет войны. Разбегаются стрелки, а расстреливать дезертиров нельзя. Нет власти у генерала: комитет следит. А во главе комитета — Гулида. Заведывал раньше Гулида оружием в шестом стрелковом полку и был хозяином офицерского собрания.

У поручика Римана со дня на день лицо желтело все больше. Сухая кожа обтягивала узкий череп.

Однажды, налитый весь желтой злобой, он скомандовал на ученье в роте:
— На выпаде останься! — коли!

Штыки полетели вперед, далеко опередив левые ноги. Лица и животы напряглись: тяжело держать винтовки навесу. Поручик Риман ласково улыбался, глядя в напряженные лица стрелков, и увидел: Сергей упал лицом вперед, выронив винтовку.

Улыбка слетела с лица поручика Римана, и опять: не лицо, а злобный череп. Нельзя трогать стрелков: донесут.

А Сергея можно: все стрелки знают, что Сергей — сын генерала Чечугина. Поручик ткнул Сергея тяжелым сапогом в бок.

— Вставай, сволочь!

И прибавил, обращаясь к стрелкам:

— Генеральский сынок.

С той поры все, что угодно, мог делать с Сергеем поручик Риман. А генерал на все жалобы сына отвечал хмуро:

— Ты солдат, а не барин. Значит, ты заслужил, если поручик так поступает.

II

Стелется по полю низкая Машка, в казацком седле — вестовой Федько. Федько везет генералу Чечугину известие о том, что прибыл ударный батальон, а с ним комиссар армии. У штаба полка соскочил наземь, поцеловал в ноздри кобылу. Машка — длинная и низкая ростом, как огромная рыжая такса. А Федько — коротенький, голова чуть-чуть выше седла, губы вровень с ноздрями Машки.

Скоро уже все знали о приезде комиссара и ударного батальона. Все, кроме Сергея. Сергей раскинул коричневой пирамидой палатку; разделся догола, чтобы все тело отдохнуло; разостлал шинель, лег и заснул.

Поручик Риман позвал стрелков.

— Я ему покажу, как в юнкерском цукают.

Вмиг собрали стрелки палатку и вместе с голым вольнопером кинули на двуколку.

Еле выкарабкался Сергей. Стыдясь перед одетыми людьми бурого своего тела и волосатых ног, вырывал из-под тяжелых полотен и палок сапоги, подштанники, гимнастерку. А сзади — гогот и насмешки стрелков. Так только во сне до тех пор бывало.

Одного сапога Сергей не доискался. Обернулся к поручику Риману и, напяливая штаны, сказал:

— Вы не имеете права! Это раньше так можно было, а теперь...

— Вот как генеральский сын заговорил?! А еще солдат.

И поручик Риман ткнул Сергея кулаком в грудь. Сергей, покачнувшись, стал на ногу, обутую в гряз-

ный носок, споткнулся и упал. Стрелки, расходясь, смеялись.

В штабной избе генерал Чечугин ждал комиссара. Вестовой Федько стоял у двери и говорил:

— Пристали ко мне: ты, говорят, старого режима, тебе нужно штыком бок пропороть. А какого же я старого режима, если палец у меня, приблизительно, отстрелен, и господ офицеров я очень уважаю?

Еле увернулся Федько — так стремительно влетел в избу Сергей. В правой руке — пыльный сапог.

— Послушай... Он издевается! Я же не могу так... Я убью его, наконец!

И Сергей замахнулся сапогом. Генерал Чечугин, выслушав сына, сказал:

— Ты плохой солдат. Нас еще не так учили. А теперь офицеров оскорбляют еще хуже. Терпи. Комиссар приехал. Это дело сейчас подымать опасно.

Сергей, хромая, бегал по избе.

— Тогда я комиссару скажу. Я не могу больше. Он ни с кем не обращается так, как со мной. И стрелки издеваются.

— Это я его просил, — сказал генерал. — Я хотел, чтобы ты был хороший солдат.

— Тогда я на тебя пожалуюсь комиссару.

— Что?

Сергей не успел отскочить: генерал Чечугин сразмаху хлопнул его по щеке. Генерал стоял, расставив толстые слоновьи ноги. Красные глаза, не мигая, глядели вперед. Правый рукав задрался до локтя, обнажив красную мясистую руку, поросшую бурым волосом. Короткие пальцы растопырены. Из груди сквозь сдавленное спазмой горло перло отрывисто:

— Вон! Вон! Негодяй!

III

Генерал напрасно ждал комиссара. Гулида перехватил его, и в комитетской избе уже давно сидел комиссар армии Петр Иванович Лысак. Пучил и так уже выпученные глаза, и из круглого рта выкатывались гладко отполированные шарики-слова:

— Боеспособность армии, нож в спину революции, революционная власть...

Комиссар и комитет выслушали Сергея очень внимательно. Комиссар Лысак формулировал:

— Итак, ротный командир поручик Риман ударил вас. Сегодня вечером будет митинг, я произнесу речь и упомяну об этом.

Гулида, председатель комитета, тронул Сергея за локоть.

— Вас куда поручик ударил-то? В грудь ударил?

— В грудь.

— А почему у вас кровоподтек на щеке оказался?

У Сергея правая щека покраснела под цвет левой — битой.

— Это... Это...

Гулида обернулся к врачу Ширмаку.

— Господин доктор, медицинское свидетельство: кто щеку бил? Вы должны знать: вы доктор. А вас, товарищ, может быть еще куда-нибудь ударили? Скроете — умереть можете. Кто по щеке бил?

Врач Ширмак разглядывал багровую щеку Сергея. Определил:

— Это сильный человек хлопнул. Кровоподтек и даже царапина под глазом.

— А куда вас еще били? — беспокоился Гулида. — Тут люди свои — не стесняйтесь. Дам нету.

Комиссар Лысак сказал:

— Именем революции приказываю вам сказать, кто вам дал оплеуху.

Сергей отвечал:

— Генерал Чечугин. Мой отец. Но это мое личное дело.

— За что?

— Я ему рассказал про поручика Римана.

Гулида вскочил.

— Ага! Я вам говорил. Я все знаю. Я на три аршина в землю вижу. Арестуем папашу вашего. Обязательно арестуем. А скрывать — контрреволюция и подстрекательство. Нужно все на чистую воду. Все.

Комиссар Лысак оглядел всех торжественно.

— В восемь часов вечера, сегодня, у старого колодца — митинг. Я произнесу речь. Именем революции генерал Чечугин и поручик Риман будут преданы революционному суду. Но нужно осторожно: чтобы большевики не воспользовались.

Гулида кивал головой.

— Обязательно. Обязательно. Митинг.

Подошел к Сергею.

— Вы на щечку компрессик бы положили. Я понимаю: папаша хлопнул. А все-таки обидно. У меня фурункул на шее был — так я только компрессом и вылечился. Большой фурункул. А папашу мы арестуем — и в каталажку. Ай, как щека-то у вас — прямо фиолетовая!

Сергей с ненавистью поглядел на Гулиду.

— Я с отцом сам разделаюсь.

Комиссар Лысак говорил ему вслед:

— Сегодня, в восемь часов вечера, у старого колодца. Будьте обязательно — я речь произнесу.

А за дверью стоял, прислушиваясь, Федько. Отскочил, сказал Машке:

— Слышала? Живей беги. Международное, приблизительно, дело!

Можно бы вестовому и пешком пройти с одного конца деревни к другому, но Федько без Машки жить не может.

IV

Комиссар Лысак шагал по избе, жестикулируя, и повторял речь, которую он скажет стрелкам. Блестящая речь: против генерала и против большевиков одновременно. После этой речи все станет ясно, и стрелки пойдут за комиссаром. Прославится он на весь мир и запишет свое имя — Петр Иванович Лысак — на скрижалях истории.

Полк вспомнит: был уже комиссар тут — с подарками от Кати Труфановой приезжал.

Комиссар волновался, зная, что сегодняшний день — день исторический.

Гулида вошел в избу, оглядел комиссара: коричневый френч, галифе, желтые краги.

— Ждут уже, — сказал Гулида.

— Сейчас.

Комиссар вынул изо рта трубку, сунул в карман, сам за дверь — и на коня. Усы у комиссара, как всегда, сбриты, баки — тоже, бородка подстрижена эспаньолкой, подбородок энергично выдвинут вперед.

Гулида трясся рядом на облезлой кобыле.
— Вы прямо как...
Тут Гулида не в такт быстрой рыси осел на седло и чуть не откусил язык. Замолчал. Потом повел носом:
— Стой! Паленым пахнет!
— Я ничего не боюсь, — отвечал комиссар. — Вперед!
Но остановил коня.
Гулида удивлялся:
— Что бы это такое? Будто не то вы, не то я горим. Ай, поглядите — штанишки-то ваши новенькие...
Комиссар схватился за правое бедро. Бедро дымилось.
Гулида удовлетворенно чмокнул мокрыми губами.
— Я же говорил. Я все вижу.
Комиссар Лысак выдернул непотушенную трубку из тлеющего кармана и усмехнулся:
— От великого до смешного один шаг. Вперед!
Великое совершалось у старого колодца.
Гулида остался в стороне, а комиссар прошел к срубу, подтянулся — и не смог вскочить на крышку: помогли стрелки.
Перед тысячной толпой на пьедестале стоял комиссар. Так мечталось давно. И пока гордо оглядывал он толпу, мелькнула в голове гениальная мысль: новая революционная Россия стоит, попирая ногами старую, сгнившую в колодце.
Будет, будет поставлен памятник Петру Ивановичу Лысаку! И эти ярко начищенные сапоги — исторические сапоги. Будут сапоги выставлены в музее.
Когда затихнет шум, нужно начать речь. Но шум все громче.
— Тише!
Сам не услышал Лысак своего окрика: не дошло до ушей. Шумит толпа. И вестовой Федько тоже:
— Правильно! Да здравствуют эсеры, большевики и все господа офицеры! Я, приблизительно, сам революционер.
А стрелки свое:
— Мир! Мир!
И вот увидел комиссар с изумлением: два стрелка подняли над толпой Сергея. Сергей махал руками.
— Молчать! Я всех вас переору!
Замечательная глотка оказалась у генеральского сына — громче трубы. Все замолкли, и тогда комиссар сказал Сергею:

— Что же вы, право? Это я буду говорить речь.

Сергей отмахнулся.

— Пшел вон! Это мое дело!

Комиссар всплеснул белыми, чисто вымытыми руками.

— Это дело всероссийское! Я! Я должен говорить!

И вдруг пропал. Только что стоял над толпой — и нет его: скувырнулся наземь. Крышка отхлопнута, и над срубом, как отрубленная, торчит страшная, неожиданная голова — голова генерала Чечугина. Вот уж по пояс вылез генерал, вскочил на сруб, захлопнул крышку и встал. Стрелки шарахнулись.

В яркий китель, как в зеленое пламя, одет генерал. Налит весь сухой и широкой силой и, одетый в огонь, выжигает все кругом.

Матерной бранью начал генерал свою речь. Ничего другого не говорил — только матерился.

Сергей, крепко надвинув на брови фуражку, выбрался из толпы.

Гулида подскочил:

— Нагоняй теперь будет. Выручите уж, скажите папаше, что...

Сергей глядел мимо дрожащего серого лица Гулиды. Повернулся спиной и пошел прочь. Гулида затрусил за ним. И еще пошли стрелки за Сергеем.

Вестовой Федько подошел к комиссару.

— Это я-то старого режима? Какого же я старого режима, если я господина генерала предупредил и в колодец, приблизительно, упрятал?

Но комиссар не слышал ничего: рот наготове — открыт, а слов нету. Только изжога к горлу подкатывает. И кажется комиссару: он говорит блестящую речь перед многолюдным собранием, и его избирают единогласно во Французскую академию почетным членом.

V

Три версты — три минуты! Избы — мимо! Поля — мимо! Фуражка — к чорту, сабля — по крупу коня, шпоры — в вспененные бока. Прочь с дороги: офицер скачет!

Конь — быстро, по воздуху. Морда — в пене, грива —

веером. Вот уж к самой морде коня подлетели темные избы. Тут стоит ударный батальон.

Зачем две руки? Достаточно одной, чтобы повернуть историю вспять. Поручик Риман с силой остановил коня, вздыбив его.

А Сергей не знал куда итти. Каждый стрелок знает: домой. А у Сергея нет дома. Будто снова: голый стоит Сергей, а вокруг гогочут люди — одетые, готовые к походу и знающие все, что им нужно.

И никто не поможет.

Для бездомного человека одна дорога — в деревушку Качки. Туда до марта дезертиры бегали. В Качках подсчитал Сергей своих стрелков: двадцать один человек и Гулида.

Сказал:

— До утра посидим тут. Нужно момент выждать. Утром двинемся назад.

К ночи голод затомил стрелков. Гулида, тощий, как щепка, будто неделю не ел, шагал по поляне, подняв воротник коричневого кителя и руки засунув в карманы, и дрожал в ознобе. Подошел к Сергею.

— И холодно же тут. А я пальто в деревне оставил. Новое пальто.

Стрелки собрались вокруг, глядя с ожиданием на начальника.

Сергей отвечал:

— До утра. Утром пойдем.

Утром Гулида разбудил Сергея.

— Пора!

Сергей поднялся. Спину ломило после ночи, проведенной на жесткой скамье. Гулида осторожным шопотом говорил:

— Вот так. Так. Я за вами — куда угодно. Пальтишко у меня новое в деревне. Не украли — найду. А вы с папочкой своим помиритесь — и все будет хорошо. Извинение папочке: простите, мол, блудного сына, — и в ручку...

И отпрянул от Сергея. Сергей стоял перед Гулидой, расставив длинные, журавлиные ноги. Бледные глаза, не мигая, глядели вперед. Из груди сквозь сдавленное спазмой горло перло отрывисто:

— Вон! Вон! Негодяй!

Гулида выскочил в страхе, а Сергей, выйдя, сказал стрелкам:
— Товарищи. Нас двадцать один человек. Но на нашей стороне правда. Выйдем — и все будут с нами.
О том, какая правда на его стороне, он не знал: просто так уж сказалось.

VI

Комитеты во всех четырех полках дивизии арестованы. Поручик Риман приказал ударникам хватать всех подозрительных. У генерала Чечугина много дел, но самого важного генерал не забыл. Призвал Федько и сказал ему:
— Послушай. Даю тебе десять человек. Верные люди, но ты вернее всех. Найди сына и запомни: чтобы сын мой остался в живых. Понимаешь? Никому не говори, особенно поручику Риману.
— Слушаю-с, — отвечал Федько.
— Повтори.
— Чтобы сын ваш, приблизительно, остался в живых, — повторил Федько.
Только что вышел Федько, как явился комиссар Лысак. Отстегнул шашку, наган. Положил на стол.
— Я слагаю оружие только потому, что неприятель превосходит меня числом, — сказал он. — Можете меня арестовать.
Генерал взял шашку, попробовал.
— Это оружие нестрашное...
Позвал конвойных.
— Отведите его.
— Подчиняюсь силе, — произнес комиссар с достоинством.
А Федько долго кружил с отрядом по вязким полям. И только когда подъехал к самой топи, за старым колодцем, Машка насторожила уши и первая услышала: идут люди.
Вечным туманом одета топь. В тумане качаются — люди ли? деревья ли?
— Кто идет?
Нет ответа. Не успел Федько удержать отряд: нестрой-

ные пули полетели навстречу неизвестному врагу. Федько выругался.

— Не пали! Жди! Я человек, приблизительно, верный.

Из тумана шел со стрелками Сергей. Услышав пули, скомандовал:

— Ложись!

Гулида подполз к Сергею.

— Сдадимся, право... Простит папаша — и все будет хорошо...

Сергей вскочил, за шиворот подняв Гулиду.

— В атаку!

Кинул Гулиду вперед, под солдатские штыки.

— Не будешь бежать — свои заколют. Сволочь!

Только что собрался крикнуть Федько: «Свои!» — как по надвигающемуся шуму понял, что оттуда, из-за тумана, пошли в атаку.

Двадцать один штык, и перед штыками бежит и кричит Гулида. Бежать — смерть, остановиться — смерть.

— Не буду больше! Не буду! Отпустите.

Спотыкаясь, бежит Гулида, а впереди — тихо. Федько не знает, что делать.

Вглядывается — вот уже совсем близко. Вот с левого фланга — Сергей.

Федько скомандовал:

— По середине и правому флангу — постоянный. Пли!

Головами в вязкую землю уткнулись стрелки. Еще залп. Упал Гулида.

Те, что добежали, кинули винтовки — и руки кверху:

— Сдаемся!

Федько оглядывался. Только что был Сергей — и вот нет его. И не убит, и не ранен. Увидит его кто-нибудь, пристрелит.

— Я человек, приблизительно, верный.

Вскочил Федько на Машку, сдал команду старшему.

— Ждите меня тут...

И рысью, настораживаясь, двинулся по мягкому полю. Туман ползет от топи. В тумане не видно ничего. Машка подняла уши — тоже выслушивала шаги человеческие.

Федько потрепал Машкину гриву.

— Так, Машка, так. Помогай сына генеральского сыскать.

В карьер пошла Машка. Выстрел — и коротенький солдат вылетел из седла, кувырнулся в воздухе и упрямо встал на ноги. А Машка тоже кувырнулась сразбегу всем своим длинным телом, упала на спину, хвостом вычистив спину солдату, и не поднялась: пуля попала в лоб.

Поглядел Федько: мертва Машка, мертва кобыла.

Взвизгнул от горя. Коротенький, смешной и страшный, как Черномор, размахивая длинной шашкой, кинулся вслед Сергею.

— Я тебя! Я тебя!

Быстрее Машки несся Федько по полю, пока всем телом не налетел на Сергея. Сбил с ног, налег, изрубил вокруг всю землю — никак не найти головы: шашка длинная.

— Я тебя, приблизительно... Это Машку-то, Машку!

Сергей сказал устало:

— Кончай скорей.

Кружит шашка. Последний круг замыкается. Сейчас из этого — последнего — круга вырвется Сергей: найдет шашка человеческую голову.

VII

От матери — татарская кровь у Федько. Оттого и рост маленький, и лицо коричневое, и глаза раскосые, и волос на голове черный. Без Машки Федько — совсем татарин.

Подбежал к отряду. Размахивал огромной шашкой и кричал:

— Долой!

Много крику оказалось в маленьком теле вестового. И так быстро метался он с шашкой, что казалось: не один человек, а целая толпа мелькает перед глазами.

— Долой!

И понесся к деревне.

Когда все стихло у колодца, Гулида шевельнулся и осторожно открыл глаза. Никого нет. Попробовал встать. Нет, он действительно ранен. Значит, он не нарочно упал, не притворился.

И сразу заболела, заныла нога. Подтащился Гулида к колодцу водицы испить. Стукнулся о сруб лбом, вспомнил, что нет воды в колодце, и заплакал:

— Ноженька моя?.. Ну, иди сюда, иди... Цып-цып-цып:

Волосы прилипли к голове. Горит голова. И будто зеленая кошка маячит перед глазами, и от нее боль.

— Кыс-кыс-кыс... Ну, встань на место, кысанька моя, кысанька моя...

Так бредил Гулида до вечера, когда подобрали его и снесли в Емелистье. Там узнал Гулида, что стрелки восстали, а генерал Чечугин и поручик Риман еще отбиваются в деревне, где стоял ударный батальон.

VIII

Комиссар Лысак сидел под арестом.

«Расстреляют» — думал комиссар, дрожа.

Он был один в избе. За окном похаживал с штыком конвойный. К вечеру шумно стало за окном. Все громче шум. Крики.

«Кончено, — подумал комиссар. — Схватят сейчас и убьют».

И все внимание устремил на левую щеку, чтобы не дергалась. Думал о том, что он умрет героем, и история не забудет его. Но щека прыгала. И вот уже нижняя челюсть дрожит. Чем громче шум, тем неудержимее дрожал комиссар. И вдруг тише стало. Совсем тихо — и штык за окном исчез.

«Западня» — подумал комиссар.

Осторожно шагнул к двери. Приотворил. И прямо на него — дуло пулемета.

— Ай!

Но пулемет прет прямо на него. Одной рукой тащит его поручик Риман. Пулеметные ленты обвились вокруг тела поручика.

Поручик Риман оттолкнул комиссара, втащил пулемет в избу, поставил дулом в окно, разбив стекло.

Вскрикнув, комиссар Лысак кинулся прочь, лег на улице в страхе. Вскочил. Побежал снова. И снова лег, потому что навстречу ему полетели пули стрелков, гнавшихся за поручиком Риманом. Из окна широким и вольным потоком лились над дрожащим телом комиссара ответные пули офицера.

Комиссар Лысак дрожал под перекрестным огнем, стараясь слиться с землей, войти в землю.

Стрелки прятались за избы. Высовывались, пачками стреляли в окно. А из окна дуло пулемета, и над дулом, позади — не лицо, а череп поручика Римана. Злобный череп.

И вдруг стих пулемет. Неуверенно вылезли стрелки из-за изб. В окно торчит дуло пулемета, а над дулом, склонившись, злобно скалит зубы череп поручика Римана. Опять спрятались стрелки. И опять — сначала неуверенно, потом все смелее — двинулись к избе. У самого окна отпрянули: поручик Риман улыбался страшной неживой улыбкой. Вскочили в окно и увидели — поручик Риман был мертв.

Комиссар пешком, изорванный, бледный, к ночи дотащился до Емелистья. Зашел к Гулиде.

— Что теперь будет?

— В Петроград хочу, — отвечал Гулида.

А далеко от деревни тяжелые сапоги ударников месили грязь на дороге. Впереди на высоком коне мерно покачивался генерал Чечугин. Голова его была опущена на грудь, поводья выпали из невнимательных рук. Он знал уже, что сына его нет в живых.

1922

КОПЫТО КОНЯ

Снаряд врылся в землю и вздохнул, чтобы, как кит, вырыгнуть к небу песок и траву, чтобы в черном дыму дрожало раскаленное железо. Земля треснула, и Мацко взлетел на воздух.

В тот момент, когда тело его отделилось от земли, он увидел себя со стороны: вот он, распластав руки, режет воздух; голова втянута в плечи, лицо напряглось, глаза выпучены, подогнутые колени защищают живот.

Мацко перекувырнулся и упал на спину. Пена, дрожа, обрывалась с тяжелой узды испуганного его коня на лицо, на гимнастерку ему и рядом — на желтую сохлую траву. И вот — неба нету, ничего нету, над лицом — поросшее длинным рыжим волосом копыто коня. Копыто медленно опускается и, конечно, размозжит череп.

Мацко зажмурил глаза и закричал так, будто ему помазали кишку иодом. Копыто тяжело опустилось ему на грудь, и Мацко явственно слышал: грудь у него хрустнула, как дерево от мороза.

Конь, перешагнув через его тело, понесся по полю, взрывая копытами землю, шарахаясь от снарядов, останавливаясь, поворачивая то назад, то вправо, то влево и безумея от страха и ярости.

Мацко, боясь дотронуться до разбитой груди, кричал.

Вестовой схватил его, приподнял и кинул в пулеметную одноколку. Возница хлестнул вожжами по дрожащим бокам лошади, и одноколка запрыгала по вспаханному полю.

Офицер кричал вознице:

— Остановись! сбрось! не могу!

Но одноколка мчалась сквозь дым и грохот, перескакивала с межи на межу, кренилась и примчала офицера в лес.

И только в лесу Мацко потерял, наконец, сознание. Очнулся на поляне под деревом и простонал:

— Доктора...

Доктор не приходил, и офицер повторил:

— Я, кажется, ясно просил доктора.

Никто не ответил.

По поляне шагал поручик Сущевский, а в стороне врастяжку лежали стрелки. Других офицеров, кроме поручика, Мацко не увидел. Вестового среди стрелков тоже не было: убит, должно быть.

Поручик Сущевский восклицал, шагая:

— Изменники! Подлецы! Сволочи!

Стрелки молчали, и глаза у них дымились злобой, как кручонки махрой.

— Поручик, — сказал Мацко, — я не могу тронуться с места.

— Хотите оставаться с ними? Я ухожу.

— Почему?

— Потому что они изменники и подлецы.

Мацко сцепил зубы и, не выпуская стона, которым наполнилось тело, встал. И когда встал, стон вырвался, но Мацко досадливо спрятал его снова глубоко в сердце.

Все тело стонало: ноги, руки и грудь. Главное — грудь. Там, наверное, ни ребер, ни ключиц — одни осколки. Осколки рвут кожу, углами торчат всюду. Все изломано и перебито. Над головой — голубой осколок неба. Деревья торчат острыми ветвями в воздух, и режут слух острые слова поручика:

— Я ухожу.

Широкую спину уходящего поручика догоняют колючие взгляды стрелков. Мацко вздрогнул: взоры стрелков уже врезываются ему в мясо, рвут.

— Поручик, я с вами.

Сущевский остановился. Он кажется большим, как гора.

— Идемте.

— Поручик, помогите, не оставляйте меня.

Одноколка стоит в стороне, уткнулась оглоблями в землю: спит.

— На одноколке бы...

Возница, тот самый, который домчал Мацко в лес, сказал злобно:

— Посмей только... Ишь, нашелся... Наше небось.

По лесу каждый шаг для Мацко — верста. Корни хватают за ноги; пни вырастают из земли; ветви рвут зеленую гимнастерку, желтые штаны, лиловую кожу на лице; воздух меж стволов оплетен паутиной. Все это для того, чтобы Мацко упал.

Мацко не падал.

Только бы не стонать. С каждым стоном из тела уходит сила. Сцепить зубы и двигать ногами вперед, вперед.

Если корень — нужно поднять ногу повыше; если пень — обойти. Какой большой и темный лес! Долго ли итти? Поручик шагал, опустив голову. Обернулся вдруг:

— Хорошо еще, что не убили и оружия не отобрали. Могли и это.

И снова пошел.

Мацко в ответ только улыбнулся, и улыбка, дергая мускулы, долго и мучительно стыла на губах, пока не слетела, наконец, со стоном.

— Вам больно?

Мацко, остановившись, кивнул головой. Поручик стоял перед ним большой и сильный, как гора. Конечно, он сейчас подымет Мацко огромными своими неизломанными руками и понесет.

Поручик Сущевский повернулся и пошел дальше. Мацко постоял, ожидая. Где же руки, которые понесут его? Нет рук.

— П... по...

Поручик исчез меж темных стволов, и тело Мацко от страха задрожало мелкой дрожью. Он заторопился, подымая ногу и перекидывая ее через корень. Зачем столько корней и пней и деревьев?

Все цепляется, рвет, душит. И осколки бьются и колют в груди.

Сжав кулаки, Мацко двинулся быстрей. Вот широкая спина Сущевского. Он стоит и ждет, развернув полевую карту.

— Вы не можете скорей? Нам далеко, версты три еще до ближайшей деревни. Там наши.

Пока он разглядывал полевую карту, Мацко не двигался, наслаждаясь тем, что он может стоять неподвижно, может быть, даже сесть. Поручик свернул полевую карту.

Мацко, чтоб хоть полминуты еще не двигаться, разжал губы и пропустил вопрос:

— А... а как... зовется деревня?

— Батрашкино.

Мацко обдумывал, какой бы еще вопрос задать. Но темные волны бились в голову, шумели в ушах и застилали зрение. И упорный глаз увидел: поручик Сущевский уходит.

— А... тут... нет дороги?

Поручик, обернувшись, бросил:

— По дороге опасно. Разъезды.

Мацко, скрепившись, пробирался вслед за поручиком.

Осколки бьют в грудь — и от них эта дрожь вокруг, и наплывающая тьма, и рожи, усмехающиеся с ветвей.

Рухнула гора, и он, осколок, катится во тьму, туман и боль. Шатается и царапается все вокруг. Быстрей, быстрей, — вниз — сквозь тьму, туман и боль.

И все оборвалось вдруг, так неожиданно, что Мацко упал ничком и закричал от страха и оттого еще, что грудь его задребезжала, и по телу прошлась тысяча ножей, полосуя мясо.

Увидел на рукаве гимнастерки темнокрасный сок и стих: кровь. Значит, конец.

Но это была черника.

Мацко лежал на поляне.

Поляна обросла кустами крупной черники, и меж гроздьев черной ягоды белели, качаясь от теплого ветра, ромашки.

Поручик Сущевский опустился в траву, и черничный сок брызнул ему на китель и штаны. Он рвал чернику и горстями пихал в рот.

— Нужно итти дальше, — сказал он наконец.

Мацко лежал на животе перед ним.

— Я не могу.

— Вставайте, еще немного.

— Не могу.

— Сделайте над собой усилие.

— Не могу.

И Мацко глядел на поручика в ожидании. Конечно, он сейчас возьмет его на руки и понесет. Сущевский сказал:

— Не могу я вас нести. Я сам еле двигаюсь. Двое суток не жрал.
— Вы... еле...
— А вы что думали? Железный я, что ли?
— Врешь.
— Что врешь?

Нужно объяснить: ведь у поручика тело не изломано. Если он, Мацко, прошел столько, когда у него не грудь, а осколки, когда... Но говорить трудно. Можно только повторять бессмысленно:

— Врешь.

Поручик Сущевский ел чернику, пачкая темнокрасным соком губы.

— Встаньте или оставайтесь здесь. Подберут. Я из деревни пришлю.
— Врешь.
— Что врешь?
— Все врешь.

Поручик Сущевский вскипел вдруг.

— Я из-за тебя, сволочь этакая, сколько времени потерял! Разве без тебя так медленно шел бы? Я б давно в деревне кашу жрал.
— Врешь.
— Вот добью тебя, — так...

Поручик Сущевский повернул спину и пошел. Он — не гора: человек. И от него — тьма, туман и боль. Куда увел? Зачем? Оба — и Мацко, и Сущевский — люди.

Мацко с трудом повернулся на левый бок и, не спуская глаз с поручика, вытянул из кобуры револьвер. Прицелился, опустил дуло и снова поднял. Дышал он тяжело и трудно.

Поручик Сущевский, пройдя поляну, у опушки, шагах в двенадцати от Мацко, остановился, будто решив что-то.

«Добьет» — подумал Мацко и спустил курок.

Сущевский охнул так, как охает, споткнувшись, полнокровный мужчина. Нога у него зацепилась за ногу, он пошатнулся, но, сжав губы, остался на ногах.

— Сволочь, — хрипнул он.

Струйка крови, смывая черный сок, потянулась из чуть раскрывшихся полных губ по толстому подбородку, к шее, за ворот кителя.

Мацко выстрелил вторично. Поручик Сущевский, качнувшись, упал на колени, руками удержался о землю. Так стоял на четвереньках и дышал громко и хрипло, как простуженная лошадь.

Мацко спускал курок уже разряженного револьвера, целя туда, где ворочалось грузное тело поручика Сущевского, и не мог остановиться.

Потом отбросил револьвер и долго полз по поляне к поручику. Тот лежал ничком, подвернув правую руку под живот. На левой руке, откинутой в раздавленную чернику, рукав зеленого кителя задрался, и на широкой полной кисти золотилась густая и мягкая шерсть.

Мацко склонился над ним. Лицо у Мацко — белое, точно тертое мелом, и на белом еще чернее кажутся проступившие на щеках, подбородке и над верхней, чуть вздернутой к носу губой волосы.

Поручик Сущевский перевернулся на спину так неожиданно, что Мацко вздрогнул, отодвигаясь. Поручик глянул на Мацко и прошелестел толстыми губами что-то неслышное. Он думал, что Мацко понял его слова:

— Сволочь, я для того остановился, чтобы взять тебя на руки и понести, сукин ты сын...

И, подумав это, поручик Сущевский умер.

Мацко от усилий и напряжения уткнулся лицом в живот Сущевскому. Он очнулся в санитарной двуколке. Двуколка стояла на месте.

Он думал, что очнулся впервые после того, как взлетел на воздух, кинутый тяжело дышащим снарядом. Он помнил только поросшее длинным рыжим волосом копыто коня и простонал:

— Доктора...

Холщевые полотна впереди раздвинулись, пропустив с козел обросшее бородой и прыщами лицо. Вот и вся голова всунулась внутрь, и на фуражке Мацко увидел красную звезду.

Санитар поглядел на Мацко и сказал:

— Ишь, дитё несчастное.

1922

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Мужчина и женщина приближались к станции. У мужчины лицо казалось жестяным: черная пыль осела на его загорелой коже, черная жесткая щетина торчала на щеках и подбородке. Его длинный нос блестел на солнце. Полотняные штаны этого человека приняли цвет чертополоха, холщевая толстовка загрязнилась, пыль покрывала желтые ботинки.

На женщине некогда все было белое: блузка, юбка, чулки, туфли. Теперь все это позеленело, потемнело, изодралось. Кожа на ее лице, на открытой шее и обнаженных до локтей руках загорела до черноты.

Когда серое, как дым, здание станции мелькнуло впереди, сквозь листву деревьев, оба остановились, как будто силы их оставили окончательно. Потом снова двинулись вперед.

Станция была защищена от степного зноя зеленью белых акаций, вязов и кленов. Из сада выскочили два человека. Один — приземистый и смуглый, как француз, — бежал быстро, держа винтовку наперевес, и кричал в восторге:

— Стой! Выпалю! Клянусь честью, выпалю! Стой!

Потное лицо его — в особенности виски и скулы — блестело. Другой человек — длинный и худой — нарочно замедлял бег, чтобы не опередить смуглого. Светлые волосы свисали ему на лоб, брови лезли на глаза, нос тянулся к губам, а усы спустились ниже подбородка. Волосы, брови, нос, усы, — все смокло. Голова наклонялась вперед. Винтовку он держал дулом к небу, но винтовка его была страшнее винтовки смуглого: слишком равнодушны и светлы были узенькие глаза длинного человека, и слишком привычно руки его сжимали винтовку.

— И тут то же! — воскликнула женщина.
Мужчина сказал угрюмо:
— Зря бежали.
Смуглый ухватил женщину за руку, завращал не порусски глазами, потом выпустил женщину и толкнул для чего-то мужчину в бок. При этом он чуть не выронил из рук винтовки. Он обернулся к длинному:
— Милеш, веди их на станцию.
Милеш не коснулся пленников. Он только встал позади них, и мужчина с женщиной сразу двинулись вперед, как будто Милеш толкнул их. Смуглый шел впереди крупным шагом, неестественно разворачивая при ходьбе носки. На нем были синие с белым кантом штаны, запущенные в высокие сапоги; белая рубаха, распахнутая на груди, стянута была у талии широким зеленым поясом. Шея у него была такой же ширины, что и затылок.
Он провел мужчину и женщину через сад в здание станции и остановился у двери, на которой висел плакат: «Посторонним вход воспрещается». Отомкнул ключом замок, отворил дверь, толкнул обоих пленников в комнату, и ключ снова щелкнул в замке.
В комнате, у окна, лицом к двери стоял человек. Белокурые волосы вились над сдавленным у висков лбом. Лицо ровным овалом шло книзу. Глаза у него — серые, губы — розовые.
Мужчина спросил его:
— Вы тоже с поезда?
— Нет. Я — начальник станции.
Оба замолкли.
Женщина беспокойно перевела взгляд с одного на другого. Их спокойствие пугало ее. Наконец она обратилась к начальнику станции:
— Что мы будем делать теперь?
Тот пожал плечами.
— Вот единственное наше оружие.
И он, взяв с кровати свернутую кольцами длинную веревку, кинул ее на пол.
— И вот еще.
Он вынул из кармана и показал два ржавых гвоздя.
— Прямо хоть вешайся.

Женщина побледнела. Возбуждение прошло. Она зашаталась и вдруг опустилась на пол.

Мужчина поморщился.

— Нельзя ли без обмороков!

И, пока начальник станции поднимал его жену, он кратко передал о крушении поезда, о нападении бандитов, об их бегстве.

— Я это предвидел, — отвечал начальник станции. — Они, наверно, и на востоке разобрали путь. Это мой подчиненный, телеграфист, привел сюда шайку. Сегодня ночью они вырезали всех, кто не пошел с ними, а меня заперли пока. Не везет этой станции. Не так давно она была взорвана белыми, и пришлось деревянную надстройку делать, а теперь...

Мужчина оглядел комнату.

— Простите, — перебил он, — но я страшно устал. Должно быть, нас будут убивать или что-нибудь в этом роде, но, право, мне сейчас все равно. Я хочу спать.

Он растянулся на полу и мгновенно захрапел.

Начальник станции имел свои строгие понятия о долге. К обязанностям своим он относился с такой серьезностью, как будто не глухая станция была поручена его попечениям, а целое государство. И теперь он считал, что жизнь этих пассажиров тоже на его ответственности. Он должен их спасти.

Когда женщина открыла глаза, он промолвил:

— Вы не беспокойтесь. Я придумаю что-нибудь.

Дверь отворилась. В комнату вошел Милеш, молча подал ему письмо и удалился, оставив дверь открытой.

Начальник станции развернул письмо.

Прочел:

Уважаемый Николай Леонтьевич, я решил не работать больше на всякую сволочь, кто катается в поездах. Я решил избрать деятельность, более подходящую для меня, чем должность телеграфиста захолустной станции. Я встал во главе отряда, и мир услышит обо мне и моих целях. Я не хочу вас убивать. Я хочу, чтобы вы пошли вместе со мной. Вот мое предложение: в зале, в углу, приготовлено моими людьми все, чтобы поджечь станцию. Ждать мне некогда. До восьми часов вечера я предлагаю вам поджечь станцию. Это будет тот поступок, который обозначит ваше согласие со мной. Кроме того, вы должны отказаться от защиты схваченных вместе с вами мужчины и женщины. Они должны сгореть

на станции. До восьми часов вечера вы можете свободно гулять по станции, но при всякой попытке выйти в сад или на платформу вы будете убиты. Вы будете убиты также в том случае, если до восьми часов сегодняшнего вечера не выполните поставленных мною условий. Еще раз заявляю: я не хочу убивать вас. Вы — единственный человек тут, который по-настоящему может понять меня и мои цели. Но если вы не пойдете со мной, моя рука не дрогнет, убивая вас.

С искренним уважением остаюсь в ожидании

Валериан Благодатный.

— Какая ерунда, — пробормотал начальник станции. — Поглядите-ка!

И он бросил письмо женщине.

Та прочла.

Губы ее дрогнули, брови сдвинулись. Она села, спустив ноги с кровати. Локтем левой руки она оперлась о колено и щеку положила на ладонь. Лицо у нее от загара смуглое, как у креолки. Только глаза — желтые, как у лисы, и волосы — цвета лисьей шкурки.

— Что ж вы думаете теперь делать? Вы еще можете спастись, а мы двое так или иначе погибли.

— Что вы! — усмехнулся начальник станции. — Если погибать, то мы погибнем вместе.

Он сунул письмо в карман кителя.

— Но мы еще посмотрим.

И он вышел из комнаты.

Женщина сразу же вскочила, заметалась по комнате, потом кинулась будить мужа.

Тот проснулся и сел на полу, охватив колени руками.

— Что такое? Что случилось?

Женщина зашептала:

— Пока ты спал, он хотел меня... я во-время открыла глаза. Послушай, я не спала, я притворилась, что сплю, и подслушала разговор. Он вошел в сношения с бандитами. Они решили поджечь станцию и нас убить. То есть в том-то и дело, что не нас, а только тебя. Меня он силой уведет с собой. Но я тебя спасу. Я ради тебя пойду на все. Только слушайся меня и верь.

— Для меня важно одно, — перебил ее муж, — он бандит?

— Да.

— Ты наверняка это знаешь?

— Ну вот... клянусь... клянусь твоей жизнью, пусть ты меня бросишь, если я вру... Пусть... Неужели даже в такую минуту ты мне не веришь?

— Скажем, что верю.

— Тогда ты должен вот что...

Пока она шептала, начальник станции прошел в залу.

В зале, в углу, брошена солома. На соломе — кипа казенных бумаг. Тут же, на полу, рядом — коробок спичек. Чиркнуть спичкой — и жизнь спасена.

Начальник станции даже не поглядел в угол,

Он распахнул окно в сад и позвал Благодатного. Из-за деревьев вышел приземистый смуглый человек, тот самый, который схватил женщину и ее спутника.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Я на ваши условия не могу согласиться, — сказал начальник станции. — Но все же, может быть, столкуемся.

— Мое слово твердо, — отвечал Благодатный. — Я ни на одну иоту не отступлю от условий. Мое письмо и мои условия — плод зрелых размышлений о жизни человечества. Поджог станции — это отказ от ложного чувства долга. Я нарочно, для искуса, посадил с вами еще двоих моих пленников, и отказ от защиты их — это протест против мещанского, унижающего человека чувства любви. Нужно стать выше маленьких обывательских чувств.

Благодатный выпрямился, чтобы казаться выше, но все же он был маленького роста.

— В таком случае, — сказал начальник станции, — в восемь часов вечера вы можете меня убить.

Он затворил окно и повернул назад. Остановился перед кипой бумаг, сваленных на соломе. Он ничего не мог придумать. Он стоял и тупо глядел на коробок спичек.

Вдруг петля притянула его руки к туловищу. Он дернулся, не понимая, откуда это кинут на него, как на дикую лошадь, аркан. А веревка все крепче вязала тело. Та самая веревка, которую он сам нашел. Вот и ноги уже не стоят. Начальник станции упал на пол. Он уже видел: это муж той женщины стянул его мертвой петлей, а она стояла рядом и командовала:

— Заткни ему рот!

Начальник станции бился, разрывая узы, но веревка крепка. Мужчина запихал в рот ему платок.

Начальник станции затих на полу, связанный. Он следил глазами за женщиной. Та взяла коробок спичек с полу, чиркнула и поднесла горящую спичку к соломе. Сухая солома вспыхнула.

Женщина обернулась к мужу:

— Теперь вынеси его!

— Но...

— Не возражай. Ты же видел, что он хотел поджечь станцию, тебя оставить, меня спасти и под предлогом пожара... Нет времени болтать. Неси его!

Благодатный заметил пламя в зале и вышел к крыльцу. Он улыбался. Он победил гордеца. Да он и не сомневался в этом. Упорная воля победит все.

И он перестал улыбаться. В сад вышли беглецы с поезда. Мужчина нес на руках связанного начальника станции. Он опустил беспомощное тело на землю.

Его жена подлетела к телеграфисту:

— Вы начальник?

— Я, — отвечал Благодатный.

— Я сразу поняла это по вашему лицу и...

Она закраснелась слегка.

— Он не принял ваших условий, и мы связали его и подожгли станцию.

— Мадам, — отвечал телеграфист, — ваш поступок поражает меня. Вы неожиданно оказались людьми высокого строя мысли и соучастниками моей идеи. Вы пойдете со мной.

— Мы — не герои, — возразила женщина, — мы — маленькие люди. Отпустите нас на свободу.

— Мадам, — сказал телеграфист, — вы выполнили те условия, которых не понял этот жалкий гордец, и моя идея обязывает меня предоставить вам полную свободу действий. Вы и ваш спутник — свободны. Вот вам пропуск.

Он вынул из кармана большой кожаный кошелек, вытащил оттуда лоскуток зеленой материи и передал женщине.

Та схватила мужа за руку:

— Идем!

Мужчина бормотал, уходя с ней:

— Ничего не понимаю, решительно ничего.

За садом их нагнал мужик с широкой, как у швейцара, бородой. Он встал на их пути и сказал, глядя прямо в глаза женщине:

— Подлюга! Ух, подлюга! Вот ведь какая подлюга! Лиса хитрая!

Та съежилась, сжалась, хватаясь за руку мужа.

Мужик поглядел на нее, сплюнул и пошел назад.

— Что ты сделала? — спросил мужчина, хотя он уже о многом догадался.

Жена отвечала отрывисто:

— Идем! Сейчас поздно рассуждать.

А начальник станции недвижно лежал лицом к закату. В степи предзакатное солнце не слепит глаза. Оно, окрашенное красным вишневым соком, закатывается быстро. Глазом можно следить, как уходит оно в зеленую землю. Быстро снижается солнце. Вот коснулось оно земли. И земля уже режет диск. Ломоть за ломтем режет земля солнце. Вот уже половина только осталась в небе, вот четверть, а вот земля совсем проглотила солнце и облизала край неба красным языком. Дню — конец. Ночь.

Благодатный подошел к бывшему своему начальнику и освободил рот его от платка.

— Вы — мой друг, — сказал он, — но мы служим разным идеям. Это не я убью вас, а одна идея убьет другую.

И он вынул револьвер.

— Эту дрянь спрячь, — отвечал начальник станции спокойно, — и развяжи меня.

— Мое слово твердо, — возразил телеграфист. — Но до восьми часов у вас есть время раскаяться.

— Развязывай!

— Ты отказываешься от своей идеи?

— Развязывай!

— Ты — хороший материал для моей идеи возрождения личности и героев, — сказал телеграфист (ему не хотелось убивать этого человека). — Эта идея оплодотворит твою душу.

— Развязывай, — еще раз повторил начальник станции.

Благодатный приказал:

— Милеш, развяжи!

Милеш распутал узлы, стянувшие тело начальника станции. Тот встал, разминаясь.

Милеш вскочил на коня и поскакал туда, где среди поваленных под откос вагонов еще стонали раненые. У станции — сборный пункт. Долго ждать опасно: из го-

родка может притти карательный отряд. Надо узнать, почему не идут те, что напали на поезд. Надо поторопить их. Длинная фигура Милеша болталась в седле, как винтовка на плече неопытного солдата. Но это кажущееся неумение было энергичнее красивой посадки истого кавалериста.

Дым клубами громоздился вокруг станции и, подымаясь к звездам, терялся в быстро темнеющем воздухе. Пламя шумно полыхало на крыше и в стенах здания, рвалось кверху и в стороны, рассыпалось искрами, и искры тухли. Листья деревьев сохли и свивались. Ближний тополь тлел. Бревна трещали в огне, треск этот похож был на ружейную перестрелку.

Люди из-за деревьев глядели на пожар. Их — немного, человек двадцать. Но в руках у них винтовки, и они сильней тех безоружных, что частью разбежались, частью полегли сегодня ночью. Стреноженные, но не расседланные лошади жевали траву за садом. Конь Благодатного был привязан к дереву отдельно от остальных.

Благодатный шагал по аллее, заложив руки за спину и голову опустив на грудь. Десять шагов к станции, десять шагов от станции. Серого сюртука и треуголки на нем не было, и горящая станция — это не то, что горящая Москва сто восемь лет назад. Но этот пожар — только начало многих пожаров. Может быть, загорится и Москва.

Молодой парень добыл из пламени длинный бамбуковый мундштук с загнутым кверху концом, затушил о землю и подошел к Благодатному.

— Що це таке? — спросил он, улыбаясь добродушно.

Благодатный даже не повернул к нему головы.

Парень обратился к начальнику станции:

— Що це таке?

Начальник станции недвижно стоял, опершись о ствол тонкого ясеня.

Он глянул на парня.

— Это мундштук, — сказал он.

— Що таке мустук? — удивился парень.

— Курить, — объяснил начальник станции и, взяв мундштук, стал вдруг длинно и подробно объяснять, как это курят с таким мундштуком: — Нужно вот этот конец вло-

жить в рот, понимаешь? А сюда вставить папиросу. Мундштуки обычно бывают короткие, такой же длины, как папироса, но мне иногда скучно бывало на станции одному, и вот для развлечения я и завел себе такой длинный мундштук. Это мой мундштук. Лягу, бывало, на кровать и пускаю дым, и мне кажется, что я в Турции и у меня — гарем и фонтаны.

— Що таке Турецция? — спросил парень. — Що таке харем?

— А Турция — это держава, страна такая... да... А мундштук я тебе дарю. Можешь взять. Мундштук этот больше мне не нужен.

Восклицания и крики прервали этот разговор. Милеш вернулся с неожиданным известием: главные силы отряда, ограбив поезд, ушли в степь. У поезда Милеш не нашел никого. По пути он также никого не встретил. Он расспросил одного умирающего пассажира, и тот указал ему на запад: туда ушли люди, которые изранили его. Милеш добил пассажира и прискакал к станции. С главными силами отряда ушла и вся добыча.

Люди бросились к лошадям в степь.

Благодатный, подбежав, крикнул:

— Смирно! Слушать мои приказы!

Но никто не слушал его.

Молодой парень, пробегая, задел его локтем. В руке у парня — мундштук. Благодатный ударил его по щеке. Парень споткнулся, остановился и, повернувшись к Благодатному, взмахнул мундштуком. Благодатный вырвал из рук его мундштук и сломал о колено.

— Я — начальник! — кричал он грозно, не по-русски вращая глазами. — Я приказываю слушать меня.

И он крикнул Милешу, указывая на молодого парня:

— Пли! Стреляй в него!

Винтовка в руках Милеша вскинулась к плечу. Дуло на миг глянуло прямо в лицо молодому парню, и тот, закрыв лицо руками, отшатнулся. Но в следующее мгновение дуло винтовки направилось на Благодатного. Милеш выстрелил, и Благодатный упал, вскрикнув дико. Все французское слетело с него. На земле лежал русский телеграфист. Глаза его не вращались грозно. Глаза его выкатились, как у рыбы, и, не мигая, глядели на Милеша. Струйка

крови вытекала из его рта, и, увидев эту кровь, Благодатный закричал и заплакал:

— Я умираю! Спасите меня!

Крик его переходил в хрип.

— Николай Леонтьевич... спасите...

Милеш снова прицелился.

Благодатный вжимался в землю, томясь в смертном страхе.

— Не надо... я ничего больше не буду... не убивайте...

Милеш выстрелил, и Благодатный, дернувшись судорожно, затих. Руки его раскинулись, пальцы вошли в землю.

Милеш поднял винтовку, целясь в начальника станции.

Но молодой парень встал на пути. Лицо у него было бледно, он боялся винтовки Милеша, — а из горла шла бессвязная, убедительная речь о том, что этого убивать не нужно.

Милеш закинул винтовку на спину и повернулся к уже ожидавшему его отряду. Молодой парень, как и все, вскочил на коня, и отряд унесся во тьму. Топот копыт стих в отдалении.

Начальник станции остался один у пылающего здания. Он отвязал коня Благодатного, вскочил в седло, и конь вынес его в степь.

Красная уродливая луна торчала в небе: не половина, не четверть, а какие-то три седьмых, да еще отрезанные неровно. Зато небо обсыпано было, как солью, звездами, и это было красиво. Среди звезд не было Южного креста. Полярная звезда, русская, северная звезда, не оставляла неба. Но все же это небо над степью — южное небо: иссиня-черное и глубокое. И тумана в степи — нет.

Начальник станции въезжал на бугры, на рысях спускался вниз, вкарьер летел по ровным местам, минуя глубокие, поросшие чертополохом балки. И, когда в котловине открылся, наконец, город, он почувствовал, что устал так, как будто весь день ходил по песку на ходулях.

Начальником одной из крупных станций юга, уже позабывшего о войне, был человек, отличавшийся щепетильностью и аккуратностью в служебных делах и чрезвычайной осторожностью в обращении с людьми. Он так

взглядывал на каждого нового человека, как будто у того карманы были набиты бомбами для разрушения станции.

Когда он был раздражен или недоволен, он всегда начинал выговор так:

— Поменьше бы заботились о себе — побольше бы думали о деле!

Иные уважали и ценили его. Многим он казался просто скучным, исполнительным чинушей.

Он был женат, и всем было известно, что жена влюблена в него и повторяет все его слова и мысли.

Станция была проездная. И с юга и с севера поезда приходили уже переполненные, особенно летом, когда северяне стремились в Крым и на Кавказ и возвращались оттуда обратно. Для тех, кто садился на этой станции, мест оставалось немного. Билеты выдавались только по заявкам исполкома, и начальник станции обычно сам проверял заявки.

Летом длинные очереди выстраивались перед кассами. И те, за кем исполком не бронировал места, иной раз должны были ждать следующего и еще следующего поезда. А поезда ходили только раз в сутки.

Касса открывалась только тогда, когда с соседней станции сообщали, сколько в поезде свободных мест. В летние месяцы случалось, что на весь поезд можно было выдать только два или три билета, — тогда и те, кто имел заявки, не попадали.

Однажды, в один из таких июньских вечеров, оказалось только три места на всю длинную очередь желающих. В таких случаях начальник станции распоряжался о выдаче билетов не только в порядке живой очереди, но и по важности дел, по которым командированы были люди. Но, когда поезд подкатил к платформе, оказалось, что мест гораздо больше, что для всех хватит.

Началась спешка, суетня, толчея.

Начальник станции следил за выдачей билетов, готовя в уме гневный рапорт на своего коллегу, начальника соседней станции, давшего неверные сведения о количестве мест в поезде. Он лично знал и презирал этого добродушного, путаного и почти всегда нетрезвого человека.

Люди, схватив билет, мчались на платформу: поезд стоит всего пять минут.

Наконец все утихло. Касса закрыта. Начальник станции вышел на перрон — отправлять поезд. Все пассажиры уже расселись по вагонам.

Вдруг с площадки одного из вагонов соскочил человек с чемоданом, за ним женщина с саквояжем. Они ринулись к соседнему вагону, но проводник немедленно же захлопнул перед ними дверь.

Начальник станции был достаточно опытен для того, чтобы понять, в чем дело: эти пассажиры второпях попали не в свой вагон, а проводник их вагона пользуется случаем, чтобы не пустить их. Он хочет получить взятку.

Начальник станции издали так обругал проводника, что тот немедленно пустил пассажиров. Сначала вскочила женщина, за ней — мужчина.

Свисток.

Мужчина и женщина обернулись с площадки, чтобы поблагодарить спасителя. И сразу же все трое узнали друг друга.

Уже тогда, когда этот мужчина показывал у кассы командировочный документ (он приезжал сюда из Москвы для какой-то ревизии), лицо его показалось начальнику станции знакомым. Но ему некогда было вспоминать — пассажиры рвались к кассе. Теперь он вспомнил.

Он шагнул к поезду, поднял руку. Но что он может сделать? Как доказать?

Мужчина с женщиной вмиг скрылись в темную глубину вагона.

Поезд двинулся.

Начальник станции опустил руку.

1923

СРЕДНИЙ ПРОСПЕКТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Павлуша Лебедев родился и вырос на Среднем проспекте Васильевского острова, в третьем этаже серого облупленного дома. Именно тут, в небольшой квартирке, когда мальчик не научился еще говорить «папа», умер отец Павлуши. Именно тут Павлуша слушал вечные скандалы матери с няней. А скандалы случались ежедневно. Каждое утро аккуратно мадам Лебедева, владелица кинематографа «Фатаморгана», кричала, шумным шагом охаживая кухню:

— Выгоню! Обязательно выгоню!

А няня, не слушая, твердила свое:

— Вот брошу все и уйду! Ей-богу, уйду!

— Выгоню! — кричала мадам Лебедева. — Ребенок сидит голодный, в комнатах — грязь. Я сегодня провела пальцем по телефону — так пыль столбом. Обязательно выгоню.

Поругавшись, обе женщины успокаивались и садились пить чай. За чаем мадам Лебедева рассказывала о том, как ее обкрадывает новая кассирша.

— Стакнулась с билетершей — даже проверить нельзя. И механика выгнать надо: сегодня на сеансе три раза лента рвалась, публика стучит... Я уж ему сказала: еще раз лента порвется — и выгоню... У меня кинематограф крупный, художественный, у меня своя публика — и так нельзя. Я ведь в переноску с «Солейлем» работаю, а «Солейль» — это, знаете!..

Павлуше исполнилось три года, когда новый механик довел няню до того, что она стала ревновать его даже к хозяйке. Ей казалось, что все женщины влюблены

в этого каштановолосого высокого человека. Однажды мадам Лебедева настигла няню и механика в будке кинематографа. И сгоряча она прогнала обоих: любовное свидание в кинематографе, да еще в будке механика, показалось ей профанацией искусства.

Так мадам Лебедева потеряла привычную партнершу в скандалах, необходимую ей как ванна, как разговор за чаем. Ей приходилось теперь скандалить на стороне, с чужими, а это было не всегда приятно. Иной раз, когда мадам Лебедева уже успокаивалась, неопытная партнерша еще продолжала ворчать, и надо было, значит, ругаться через силу, нехотя, а это было уже антигигиенично: тратился не излишек энергии, а основной запас. А у Павлуши за год и два месяца сменилось пять нянь. Через год и два месяца прежняя, привычная няня вернулась.

Это произошло внезапно. Просто Павлуша выбежал на шум в кухню и увидел, что у плиты, обнявшись, стоят и плачут в умилении его мать и няня.

Четырехлетний Павлуша схватил няню за рукав и запрыгал в таком восторге, что этот момент, как самый яркий и радостный в его детстве, запомнился ему на всю жизнь. Навсегда остались в памяти — нянино коричневое драповое пальто, черная шляпка с цветами, желтая картонка и большой тюк, увязанный в серое одеяло. И необыкновенно вкусной показалась шоколадная лошадка, подаренная няней.

Значительно позже Павлуша узнал, что механик бросил няню, бросил с ребенком. Ребенка Павлуша заприметил не сразу: тот, тепло укутанный, лежал уже на кровати и пищал. Павлуша по-настоящему заинтересовался Маргаритой (так звали девочку) только тогда, когда она начала ходить и разговаривать. Матери по-разному относились к дружбе детей. У обеих была одна и та же мысль: дети подрастут, дружба заменится любовью, — они женятся. Няня сильно надеялась на это, а мадам Лебедева заранее уже беспокоилась.

— Павлуша будет инженером или скрипачом, — говорила она и прибавляла как бы невзначай: — Когда он женится на девушке из хорошей интеллигентной семьи, тогда я спокойно могу умереть.

Няня молча вздыхала. Она не решалась спорить: прежний пыл прошел, она стала старше и печальнее. А мадам Лебедева настаивала:

— Он женится на красивой девушке из состоятельной семьи. Я в нем уверена. Он не даст себя увлечь какой-нибудь вертушке.

Она всячески вызывала няню на спор, но та упорно соглашалась со всем, что говорила барыня. Тогда мадам Лебедева не выдерживала наконец:

— Беда с этими мальчиками. Ну, представьте, — вдруг бы он пожелал жениться на вашей Маргарите! Ведь она ему совсем, совсем не пара!

И тут няня раскрывала рот, чтобы защитить дочь, доказать, что Маргарита, дочь механика, ничем не хуже Павлуши, сына мелкого чиновника. Но слов для спора не было, и няня соглашалась даже на то, что ее дочь — не пара Павлуше. Мадам Лебедева говорила недовольно:

— Какая вы стали...

Приходилось, несмотря на возвращение няни, попрежнему скандалить на стороне.

Маргарите исполнилось шесть лет, когда у нее однажды заболел живот. Она ходила по комнатам, молча ливая, с обидой на лице. Она не плакала, а только изредка всхлипывала, словно ее наказали — не больно, но незаслуженно. В эти дни мадам Лебедева как раз нанимала артистов для дивертисмента. И с утра до вечера раздавались у двери звонки. Передняя полна была ожидающими скрипачами, певцами, фокусниками, мелодекламаторами и прочим народом. Мадам Лебедева принимала их для скорости сразу по-двое.

Скрипач играл «Лунную сонату», а в это же время акробат, стоя на голове, выкидывал штуки ногами. Мадам Лебедева слушала скрипача, не сводя внимательного взгляда с акробата.

— Хватит, — оборвала она музыканта на полуноте. — Я уже вижу, что у вас плохое туше.

— Простите, мадам, — вежливо возразил скрипач, — но я кончил консерваторию.

— Это неинтересно, — перебила мадам Лебедева.

Слова эти относились уже к акробату, но скрипач принял их на свой счет и обиделся:

— То есть как неинтересно? У меня есть диплом.

— Ай! Да я не вам! — воскликнула мадам Лебедева. — Вам я уже отказала — у вас плохое туше. Я в музыке лучше вашего понимаю. А я вот ему — долго он еще будет на голове стоять? Ведь другие дожидаются.

Акробат принял нормальное положение. Тяжело дыша, он обратил налитое кровью лицо к мадам Лебедевой и услышал:

— Уходите же, наконец. Чего вы еще ждете?

И вот сиплый тенор наполнил квартиру звуками арии Ленского. Замолк — и уже балерина запрыгала по комнате, изображая умирающего лебедя.

Вечером, когда низенький человек в клетчатых штанах показывал мадам Лебедевой ученую собаку, а гармонист извлекал пробные аккорды, собираясь аккомпанировать куплетисту, няня, войдя в комнату, шопотом спросила, где градусник.

— Вечно эти градусники! — воскликнула мадам Лебедева. — Ну, где всегда — у меня на туалете.

Куплетист понравился мадам Лебедевой (это был двенадцатый куплетист за день).

— Вас я тоже возьму, — обратилась она к человеку с ученой собакой и пошла в переднюю. — Нужны только певцы. Кто не певец — может уходить. Вера, последите, пожалуйста, за ними, а то прошлый раз чуть мои боты не унесли.

Вера вышла с заплаканными глазами.

— У Маргариты сорок градусов, — сказала она.

— Господи, какая я несчастная! — воскликнула мадам Лебедева. — И, конечно, это в самые горячие дни, когда у меня еще певца нет! Придется теперь брать первого попавшегося! И хоть бы кто-нибудь меня пожалел!

Она обратилась к артистам:

— Я, кажется, ясно сказала — уходить! Ну? Кто не певец — все уходите!

Из двух оставшихся певцов одного она наняла, другого прогнала. Потом пошла к Маргарите, приложила ко лбу девочки мягкую ладонь и определила:

— Ангина. Или, может быть, корь. Надо вызвать доктора.

И пошла пить чай. За чаем она рассказывала Вере о вчерашнем собрании кинохозяев:

— Сатурн — очень милый человек. Подходит ко мне: «Ах, Марья Васильевна!», то да се... Вот Гигант — неприятный мужчина и притом еврей. У него всегда вторым экраном идет. А у меня — первым экраном, монопольно на весь Васильевский остров. С воскресенья, например, — «Белые рабыни» — из жизни проституток. Художественная, прямо научная фильма. Половая проблема. Ко мне уж гимназисты прибегают, справляются — у меня анонс. Я очень рада за молодежь, — пусть поучатся, им это необходимо. И вы обязательно подите, Вера, вам-то это в особенности надо изучить. Даже Солейль мне позавидовал. А Солейль — очень понимающий человек.

На следующее утро, когда Павлуша проснулся, его не допустили к Маргарите. Доктор в белом халате мыл руки в ванной. Мадам Лебедева плакала. Из слов доктора Павлуша понял, что у Маргариты — натуральная оспа. Няня тупо сидела возле больной дочери. Павлуша подошел к запертой двери. Окликнул:

— Вера!

И зажался в ужасе. Он уверен был, что в ответ он услышит не обычный нянин голос, а что-нибудь невозможное, ни на что не похожее. И вдруг — самый обыкновенный, давно знакомый голос:

— Что, Павлуша? Глазунью тебе мама сегодня сделает. Не заходи, Павлуша, Маргариточка очень больна, ты заразишься.

Павлуша успокоился.

Но когда санитары выносили закутанную в одеяла девочку вниз по лестнице, туда, где ждала карета скорой помощи, Павлуша, один в своей комнатке, прижался щекой к окну и, кося глазом на привычный Средний проспект, заплакал. Он и до того часто плакал — громко, с криком, с жалобами. А теперь он плакал неслышно, тайно, глотая вырывающиеся из груди звуки. Он видел однажды летом в Озерках, как плакал побитый пьяным отцом соседский мальчик. Мальчик прислонился к дереву и, закрывшись локтем, плакал именно так, как сейчас плакал Павлуша. Павлуша тогда с уважением следил за молчаливым плачем мальчика: молчаливый плач в его понимании означал взрослость. И вот теперь он сам плакал молча, как взрослый. Это оказалось мучительно

и жутко. Этот момент навсегда запомнился Павлуше, как конец детства и начало отрочества. И навсегда возненавидел Павлуша болезнь и смерть.

К вечеру сладкий запах формалина наполнил комнату Веры. Все щели в эту комнату были тщательно заклеены длинными полосками бумаги. Мадам Лебедева ругалась с фельдшером, производившим дезинфекцию. Каждое утро мадам Лебедева справлялась о здоровьи девочки. Ответы были настолько утешительные, что мадам Лебедева вдруг уверилась и уверила Веру и мальчика в том, что у Маргариты не натуральная, а ветряная оспа.

— Все признаки, — говорила она. — Например, сыпь. Сыпь бывает только при ветряной оспе. Это уже наверняка. Я недаром хотела кончить медицинские курсы. Я знаю.

Она даже купила Маргарите куклу, которая, если ее положить на спину, закрывала глаза. Но кукла оказалась такой хорошей и так понравилась самой мадам Лебедевой, что ей жалко стало отправлять ее в больницу: пропадет еще там. И кукла была оставлена дома.

На десятый день дежурная сестра вызвала Веру в больницу. Мадам Лебедева говорила авторитетно:

— Это значит — полное выздоровление. Сначала кризис, потом шелушение. Хотя шелушение — при скарлатине, но это все равно...

Вера по дороге в больницу купила для дочери игрушечного котенка и мятных пряников. Все это оказалось ни к чему, потому что Маргарита умерла еще ночью. Поплакав, Вера пошла в баню, вымылась, сменила одежду, а старую отдала в дезинфекцию. Потом вернулась домой. Мадам Лебедева возмущалась.

— Всех их под суд надо! Я знаю докторов — это они заразили ребенка. Положили к оспенным, когда у нее была корь. Маленькие девочки не болеют оспой.

— И глазки голубенькие так и открыты! — ревела в ответ Вера.

— Мы их всех в Сибирь упечем, — успокаивала мадам Лебедева. — Докторов надо гнать вон всех! Они не лечат, а только заражают.

Выплакавшись, Вера подвязала передник и стала готовить ужин.

Гробик с телом Маргариты свезли на следующий день в карете на Смоленское кладбище.

Через три года Вера навсегда оставила мадам Лебедеву. Ее отобрал Иван Масютин, чистильщик сапог. Это далось чистильщику нелегко. Мадам Лебедева не отпускала Веру до тех пор, пока чистильщик не явился однажды в новом костюме и ярко начищенных сапогах и не устроил скандала. Размахивая пачкой ассигнаций, он кричал:

— Это моя женщина! Вот пятьсот рублей! Она — моя, а не ваша.

Он напугал мадам Лебедеву. И когда та кричала в пролет лестницы: «Потаскушка! Дрянь! Выгоню! Обязательно выгоню!» — было уже поздно. Уже чистильщик, нагруженный Вериными вещами, вел Веру по двору к воротам.

В тот же вечер мадам Лебедева получила с нарочным письмо от Масютина. Масютин извинялся и объяснял свое поведение срочной необходимостью, в виду расширения дел, сдать домашнее хозяйство в честные руки. К письму он присовокупил банку гуталина и две пары шнурков для сапог. А когда через неделю он преподнес мадам Лебедевой отличные желтые ботинки (у Веры был тот же номер, что и у барыни), Лебедева совсем успокоилась, тем более, что двенадцатилетнему Павлуше уже не нужна была няня. И в знак мира она выдала Вере и Масютину бесплатные билеты в кинематограф «Фатаморгана».

Мадам Лебедева умерла внезапно в кинематографе от разрыва сердца.

Это случилось в шестнадцатом году. Вера с мужем помогли шестнадцатилетнему Павлуше похоронить мать и продать кинематограф. Чистильщик положил вырученные от продажи деньги в банк на имя Павлуши.

Павлуша был в это время в седьмом классе гимназии.

II

В девятнадцатом году няня спасла Павлушу от голодной смерти. Павлуша, потеряв деньги в национализироном банке, проел все оставшиеся от матери вещи, а потом удрал в деревню, к дяде на хутор. Когда крестьяне прогнали дядю, сожгли его дом и поделили землю, Па-

влуша вернулся обратно в Петербург: больше деваться ему было некуда, тем более, что дядя сошел с ума и был посажен в больницу. Чтобы добраться до Петербурга, Павлуша сменил свою одежду на солдатскую шинель и папаху.

С вокзала Павлуша явился прямо к няне. Няня расцеловала его, а Масютин пригласил его к обеду и разрешил даже переночевать. Но на следующее утро разъяснил Павлуше, что времена тяжелые, каждый должен сам себе добывать хлеб, и потому Павлуша пусть больше на обеды у него, Масютина, не рассчитывает. И только тогда, когда няня с ревом надевала уже Павлуше на плечи его походный мешок, Масютин смилостивился и разрешил Павлуше остаться еще на сутки.

А ночью Павлуша не мог заснуть: невыносимый жар мучил его. Утром оказалось, что он совсем болен. Можно было не сомневаться в том, что это тиф. Так определил Павлушину болезнь и позванный няней доктор. Масютин прибил жену за то, что Павлуша заболел у него на квартире, а угомонившись, решил в больницу Павлушу не отправлять: там уж наверняка смерть, а человек все-таки свой. Но в следующие за этим дни каждый раз, как он вспоминал о расходах и заботах, которые навлек на него Павлуша, он в ярости шел к жене и бил ее — тихо, чтобы не услышал больной. И няня старалась не кричать и не стонать. Она понимала, что мужу физически необходимо было на кого-нибудь излить свою ярость, — иначе ярость эта обратится против Павлуши. И она терпела побои.

Через неделю температура у Павлуши упала. Няня и Масютин обрадовались; значит — не тиф. Но доктор разочаровал их.

— Это возвратный тиф.

И разъяснил, что такое возвратный тиф. Масютин усадил доктора за стол, велел жене поставить две рюмки, графинчик спирта, фунт белого хлеба, масла и попросил доктора поскорей вылечить Павлушу.

— Есть одно средство, — сказал доктор, торопясь допить и доесть все, что осталось на столе, — есть, конечно, но...

И он вздохнул.

— Я заплачу, — успокоил его Масютин.

На утро следующего дня доктор принес все необходимое для вспрыскивания сальварсана.

Он вскрыл Павлуше жилу на руке и влил в Павлушину кровь препарат для излечения сифилиса, по некоторым предположениям предотвращающий повторные припадки тифа. Кончив вливание, забинтовал руку и, возбужденный операцией, заявил:

— Очень хорошо шло. Я вам даже, молодой человек, чуть-чуть лишку влил.

И ушел.

А с Павлушей начало твориться что-то странное. Сердце заколотилось; тело Павлуши запрыгало на кровати как мяч; зубы громко застучали; глаза выкатились. И при этом Павлуша потерял всякую власть над своим телом, хотя и не потерял сознания.

Масютин пытался силой удержать Павлушу, но сальварсан оказался сильнее его. Няня вновь побежала за доктором. Тот, придя, заявил:

— Это не от моей операции.

Он был спокоен; не такие времена, чтобы за подобные мелочи отдавали под суд. Да и люди невежественные — всему поверят.

Павлуша не умер. Когда припадок прошел, он, плача, призывал то няню, то Масютина, обнимал их и целовал, радуясь тому, что остался в живых.

Припадки тифа оставили Павлушу, но зато через день Павлуша начал гнить. Во рту, на носу, на веках глаз, на щеках — везде появились язвочки. Павлуша был уверен, что это сифилис, и решил покончить жизнь самоубийством. Но это был не сифилис.

Гниение продолжалось долго. Язвочки залечивались медленно. Но, наконец, наступил день, когда Павлуша мог уже, прихрамывая, ходить по квартире. Черная повязка лежала на правом глазу, еще не окончательно выздоровевшем.

На следующий день Павлуша был изгнан из Масютинской квартиры. Масютин был неумолим: полтора месяца он лечил, кормил и поил Павлушу. Больше он не согласен.

Павлуша обязательно бы погиб, если бы не няня. Няня устроила ему комнату на Петроградской стороне, где раньше жила сама с мужем. Кроме того каждый день, в четыре часа, Павлуша приходил к ней, наскоро про-

глатывал обед, прятал в карманы шинели хлеб и пшено и бежал к себе, боясь встретиться с Масютиным: няня возвращалась домой с рынка на час раньше мужа. Масютин уже не был чистильщиком сапог: он торговал оптом и в розницу шнурками и гуталином.

Однажды Масютин встретил Павлушу на лестнице, поглядел на оттопыренные карманы его шинели, ничего не сказал, но дома взял жену за голову и целую минуту подряд бил ее об стену. Няня и без слов поняла, за что ее бьет муж.

Масютин стал следить за женой как ревнивый муж. Но ревность была тут ни при чем. Он считал, что сытая жизнь достается ему каторжным трудом. Плоды этого труда — пища, дрова и деньги — должны итти в дом и в товар, больше никуда. В его обязанности не входит прикармливать взрослого Павлушу, хотя он и любит его. Любовь — любовью, а принципы нарушать нельзя.

Однакоже Павлуша сумел победить Масютина. Однажды, когда он явился к обеду, няня, плача, рассказала ему, что Масютина поймали на рынке во время обхода и увели в милицию. Товар она, ожидая обыска, спрятала так, что никто его не найдет (она даже Павлуше не сказала, где спрятала), и теперь надо только выручить Масютина. В этот день Павлуша обедал безбоязненно, а после обеда отправился в то отделение милиции, куда увели Масютина. Няня, заперев квартиру на замок, пошла с ним. Павлуша не думал о том, как он выручит Масютина. Он уверен был, что выручит: ведь от этого зависели его обеды! Он шел так быстро, что няня бежала за ним вприпрыжку.

Оставив няню на улице, Павлуша направился к дежурному и, не дав тому опомниться, заговорил решительно и строго:

— У вас случилась возмутительная ошибка. Сегодня на рынке арестовали, как торговца, человека, за которого я головой ручаюсь. Я — красноармеец, был ранен. Пожалуйста, проверьте мои документы. Этого человека необходимо освободить. Масютин Иван.

Павлуша шел на большой риск: никогда он не служил в Красной армии и не был ранен. Дежурный устало взглянул на пачку документов, которой размахивал

Павлуша, на его папаху и военную шинель и велел вызвать Ивана Масютина.

— Я за него так ручаюсь, что можете арестовать меня вместо него! — восклицал Павлуша.

Через пять минут Павлуша вместе с Масютиным вышел к няне. Павлуша сам удивился теперь тому, что Масютин был освобожден.

Масютин молча шел вслед за Павлушей: он не решался пойти рядом, он чувствовал к Павлуше глубочайшее уважение.

С этого дня Павлуша получал ежедневно обеды у Масютина. Масютин советовался с ним обо всех делах. Павлуша стал необходимым ему человеком. А Павлуша готов был советовать кому угодно что угодно. Он не чувствовал у себя никаких особых принципов, за исключением одного: сохранить свою жизнь.

Потом он устроился на службу в кинокомитет, служил в одной из военных библиотек. Последняя служба зачтена была ему как служба в армии. Когда голод, тиф, война ушли в прошлое, оказалось, что начальник Павлуши, закупая частные библиотеки два года под ряд, при каждой покупке аккуратно брал себе двадцать пять процентов ассигновки, а с продавцов получал расписки на все сто процентов. Начальник Павлуши был арестован, весь штат был сменен. Павлуша (хотя он и ни в чем не был виноват) так испугался всей этой истории, что даже рад был, когда его просто отчислили от службы: он уверен был, что его не только арестуют, но и расстреляют.

Он пытался вновь устроиться на службу. Но нигде ничего не выходило. Масютин уже открыто держал ларек сапожных принадлежностей на Сенном рынке. Он первые два месяца поддерживал Павлушу. Потом Павлуша стал жить на деньги, которые няня утаивала от мужа и приносила ему. Чем дальше, тем безнадежнее были попытки Павлуши найти хоть какой-нибудь заработок. Но он не отчаивался. Он даже стал надеяться, что все устроится как-нибудь само собой, без особых усилий с его стороны. Он все ждал, что вдруг обратятся к нему с необыкновенно выгодным предложением. Кто обратится и какого рода будет предложение — об этом он не думал. Он просто уверен был, что не может погибнуть зря.

Павлуша просыпался обычно в половине десятого утра. Тянулся к толстовке, которая висела рядом на спинке стула, вынимал портсигар, спички и закуривал папиросу. Бросив окурок на пол, натягивал одеяло до подбородка и разрешал себе поспать еще полчасика. Во второй раз он просыпался не раньше двенадцати часов дня. И еще два, а то и три часа лежал в кровати, куря папиросу за папиросой.

Квартира, в которой жил Павлуша, называлась раньше просто меблированными комнатами. Павлушина комната имела вид отвратительный. Длинная и узкая, в одно окно, с паутиной во всех углах, оклеенная потерявшими всякий цвет, ободранными, в грязных пятнах обоями, — комната эта навела бы самого бодрого человека на мысли о самоубийстве. В комнате, у окна — стол, на котором скопилось пыли и объедков за много дней, стул, железная кровать. Кровать стояла не у самой стены. Между нею и стеной вторгся толстый пружинный матрац. Этот матрац составлял единственное имущество Павлуши. Он не годился к употреблению — пружина обнажилась, разорвав покров. На борту матраца валялось в пыли много всякой дряни — старые газеты, отдельные страницы из книг, грязные кальсоны, носки и прочее. Простыни и наволочки менялись на кровати приблизительно раз в месяц. Коричневое одеяло (такие бывают в больницах) уже невозможно было отчистить. Его надо было уничтожить как нечто вполне антисанитарное.

Павлуша, покуривая, думал о чем угодно, только не о том, чтобы убрать комнату или, например, сходить в баню, в которой он не был уже больше месяца. Он считал все это мелочами, о которых и не стоит заботиться. Его занимали идеи более высокого порядка.

На этот раз он вынужден был окончательно проснуться уже в одиннадцать часов утра. Пришла няня. Она являлась к нему всякий раз, когда ее муж уезжал в Москву за товаром, — а это случалось приблизительно раз в месяц. Она давала ему денег — столько, сколько удавалось утаить от мужа, — прибирала комнату, меняла постельное белье.

Павлуша покорно встал и оделся: няня была неумолима. Няня взяла веник, стоявший около печки, и, оглядев пол, забросанный окурками, заворчала:

— Разве можно курить натощак? Совсем заболеешь.

Павлуша пошел мыться. Ванной не было. Мылись квартиранты в прихожей, под краном. Павлуша сполоснул руки, лицо, смочил волосы и, причесываясь на ходу грязным ломаным гребешком, вернулся в свою комнату.

Табачный дым медленно уходил в открытое няней окно. Вместе с ним исчезал нестерпимый запах окурков и грязного белья.

— Разве можно в таком свинюшнике жить? — ужасалась няня. — Найми за три рубля кого-нибудь, чтобы подметала хоть.

И прибавила шопотом:

— Деньги я дам.

Продолжала:

— Я бы сама каждый день приходила, да Масютин стал совсем сумасшедший: никуда не отпускает, все работай да работай.

Мужа своего она называла просто — Масютин.

— Да, — отвечал Павлуша, натягивая толстовку, — насчет денег у меня сейчас плохо.

Няня помолчала, не решаясь высказать давней своей мысли. Наконец решилась:

— Масютин помощника себе хочет. Хочет сына своего из деревни выписать. Наверно уж дурак деревенский.

И замолчала.

Павлуша не понял намека. Он даже и помыслить не мог, чтобы ему предложено было помогать няниному мужу в торговле шнурками и гуталином. Он слишком высоко ценил себя, хотя сам и не сознавал этого.

Он говорил, закуривая новую папиросу:

— Я устроюсь. Тут сомневаться не приходится. Ведь совсем же людей нет. А как устроюсь — так и женюсь. Я не женюсь только потому, что денег нету.

Няня больше не возобновляла разговора о помощнике мужу. Преобразив комнату, она ушла.

III

Толстощекий избач стремительно вошел в вагон и, не успев даже остановиться, прямо на ходу осведомился:

— А, товарищи, — нет ли тут которые на Шалакуши?

— Есть, — отозвался голос с верхней койки. — Я как раз на Шалакуши и еду.

Избач остановился и спросил, обрадованно вглядываясь в темную глубину купе:

— А, товарищи, — трое вас?

— Я — один, — испугался пассажир. — Что вы, гражданин? Разве можно?

— А мне надо трое, — отвечал избач. — Я как в Вологде садился — в окно сунул литературку. В окне трое каких-то на Шалакуши ехали. Побег на вокзал, вернулся, — а какое окно, какой вагон — вот хоть убей!

— Найдешь, — отвечал пассажир успокоительно. — Литературка — не ценность. Кому она нужна? Не скрадут.

Избач разинул рот, собираясь спорить, но, махнув рукой, двинулся дальше. У двери обернулся и, оглядев вагон, выбрал красноармейца, который, засыпая, качался у окна на лавке: лечь ему было негде. Избач сунул ему длинный сверток, который был зажат у него подмышкой.

— Держи, — сказал он. — Держи — не выпускай из рук. Вождей портреты.

Красноармеец поспешно принял сверток обеими руками и поставил перед собой как взятую на-караул винтовку. Он держал сверток с такой осторожностью, словно это был ребенок, а не портреты вождей.

Избач вернулся в вагон минут через пять. Тяжелый пакет клонил его тело вправо.

— Нашел литературку, — сообщил он. Закинул увязанные веревкой брошюры и книжки на верхнюю полку, отобрал у красноармейца портреты вождей, бросил их к пакету с литературой, уселся, расстегнул военную шинель, скинул кепку и повторил, улыбаясь во всю ширь своего лица: — Нашел литературку. В соседнем вагоне. Я всегда, товарищи, своих ищу, деревенских, чтоб отдать. Чистым не дам: скрадут.

Пассажиры молчали.

— В село еду, — продолжал избач. — Авторитетишко у нас, у комсомольцев, еще на селе небольшой. Не верят нам мужички. Вот я им литературку и везу.

Пассажиры вздыхали, показывая, что им не разговаривать хочется, а спать. Но избач не умолкал:

— Изба у нас на станции была. Так я ее вглубь унес, в самую темноту. Станции название...

Пассажир с верхней полки предложил осторожно:

— А ты бы, парень, помолчал, чем зря языком трепать. Люди ездиют очень переутомленные. Из командировки ездиют.

Избач раскрыл рот — поспорить: он привык к тому, что ему все время возражают, а он обязательно должен не сдаваться и спорить. Но пассажир, перебивший его, начал нарочно громко храпеть, притворяясь спящим. Избач повернулся к красноармейцу и вздохнул:

— Авторитетишко у нас небольшой еще. Но ничего — будет больше.

Он забрался на самую верхнюю полку, туда, где полагается лежать вещам, положил голову на чей-то мешок, но не заснул. Ему ужасно хотелось поговорить или послушать что-нибудь интересное.

Единственная на весь вагон свечка погасла. Стало совсем темно. Темнота бежала и за окном. Но если заменить темноту дневным светом — то ничего радостного не откроется взору: низкорослый ельник да болото. Избач заснул. Его разбудил окрик кондуктора:

— Приготовьте билеты, граждане!

Пассажиры заворошились. Избач, потягиваясь, сунул руку в правый карман шинели и сразу же сел, согнувшись, чтобы не удариться головой о крышу вагона: билета не было. Избач соскочил на пол, запустил руку в левый карман, еще раз в правый, пощупал за обшлагом; потом, отвернув полы шинели, занялся исследованием штанов. В штанах тоже не было билета. Избач снова влез на верхнюю койку: оглядеть, не валяется ли билет там, не выпал ли он из кармана во время сна? Потом опять спрыгнул вниз и сызнова принялся рыться в карманах шинели, штанов, гимнастерки. Посмотрел даже за голенищами сапог. Кондуктор направил на него свой фонарь, а контролер хотел спать и негодовал на задержку.

Избач оробел.

— Товарищи, — забормотал он, — я билет потерял. Я литературку везу, задергался... совсем было потерял литературку — и нашел. А билет — вот хоть убей!

— Идите за мной, — отвечал контролер.

— Куда итти? — растерялся избач. — Я пойду, конечно, но у меня литература, вождей портреты...

Он оглядел всех, ища поддержки. Пассажиры молча прислушивались, ожидая, когда уведут безбилетного и можно будет вновь заснуть.

— Скажите, пожалуйста, какая история, — бормотал избач, покорно снимая с верхней полки пакеты с литературой и сверток с портретами вождей. — Скажите, пожалуйста!

Из соседнего купе выдвинулся человек. Фонарь кондуктора освещал ему только живот. Живот был из темного ворса. Обладатель живота обратился к кондуктору:

— У этого гражданина есть билет. Вот он.

Кондуктор немедленно поднял фонарь, и живот ушел в мрак. Зато появилось клетчатое кепи, надвинутое на брови. Человек стоял, нагнув слегка голову, и козырек бросал тень на его лицо. Контролер прокомпостировал и дал избачу билет, с подозрением косясь на человека в кепи. Потом двинулся к выходу. Когда фонарь кондуктора исчез, избач заговорил, шумно дыша:

— Вот спасибо-то! Это вы на полу нашли? Я, товарищ, литературу везу...

— Другой раз не теряйте билета, — резко оборвал его человек в кепи и пошел к своему месту в соседнем купе.

— Верно, — обрадовался избач, идя вслед за ним. — Растяпа я и есть. Я свои ошибки всегда признаю. Я, например, как в село ехал, со станции лошадь взял, барином заявился. И сразу признал: ошибка. Какое у крестьян доверие будет, если я зря полтину истратил? У меня ошибок в моей жизни очень много. А за билет и правильно, если арестуют. Потерял или не потерял — это контролера не касается. Скажите, пожалуйста, — этак всякий безбилетный заяц скажет, что потерял! Нет, надо под штраф таких, под арест!

— И очень жалко, что не арестовали, — согласился человек в кепи.

— Верно, — подтвердил избач теперь, когда билет уже был у него в кармане, — очень жалко. А, товарищ, скажите, как фамилия вам? Ведь без вас упекли бы меня. Как будто я нарочно. Ведь тут разбирать надо, кто нарочно, а кто просто так потерял. Нельзя всех в одну кучу.

Я литературу везу, портреты вождей, а они хватают ни за что, — говорил избач, не замечая того, что он говорит совершенно противоположное тому, что говорил минуту тому назад. — Вы, товарищ, обязательно назовитесь.

— Максим Широков, — отвечал человек в кепи, чтобы отделаться от болтливого собеседника.

— А живете где?

Максим сказал и адрес.

Избач, вынув записную книжку и огрызок карандаша, тут же, в полной темноте, записал все.

— Так вы из Ленинграда! — радовался он, готовый болтать хоть до утра. — У меня там отец в Ленинграде, только я не помню его, какой он из себя. Он мать мою давно бросил, я тогда еще совсем малый был. Не встречали его? Масютин Иван! Такой смелый человек, гордый, — наверно знаете? Он там с новой женой живет. Вы ему передайте...

— Я вашего отца не знаю, — перебил Максим, — и...

Избач не дал ему договорить.

— А к вам я, как буду в Ленинграде, — а я очень скоро буду, отец меня вызывает, и уж я так устрою, что обязательно в Ленинград попаду, я в Ленинград всю жизнь мечтаю, — так вот как буду в Ленинграде, уж обязательно к вам зайду, еще раз спасибо скажу. Вы уж будьте уверены, что зайду.

Максим отнюдь не был обрадован этим обещанием.

— Ночь уже, — сказал он. — Спать надо.

— Да, конечно, — огорчился избач, — спать надо. Ужасно я люблю поговорить с пользой. Да все кругом заняты. А у нас на селе со мной говорить приходят. Авторитетишко у нас, у комсомольцев, хоть и небольшой...

— Спокойной ночи, — прервал его Максим, растянулся на скамье, положив под голову чемоданчик, и надвинул кепку на нос.

Избач, отойдя к окну, вынул из кармана билет, чтобы еще раз удостовериться; поднес к глазам; разглядывал долго. Потом порылся в штанах, нашел спички, зажег одну и посмотрел при ее свете билет. Прочел название станции назначения и удивился. Зажег вторую спичку, прочел второй раз: то же самое.

Он повернулся к Максиму.

— Товарищ, — сказал он, — да это не мой билет. Этот билет — до Архангельска. Да и не из Ленинграда-то я еду, а из Вологды.

Максим отвечал медленно и раздельно:

— С этом билетом вы не обязательно должны ехать до Архангельска. Вы можете сойти и раньше.

— Но это, значит, не мой билет! — удивлялся избач.

— Спокойной ночи, — отвечал Максим и повернулся к нему спиной.

Избач постоял над ним в недоумении, потом испугался: если приставать с расспросами, то и этого билета лишишься. Через пять минут он уже сладко спал у себя на верхней полке, положив голову на пакет с литературой. Портреты вождей лежали рядом.

Максим покачивался в такт ходу вагона, и в мозгу его стучало как пишущая машина: «Так тебе, так тебе, так тебе...» Когда он проснулся, северное утро плыло за окном, и пассажир, сидевший против него, уже пил чай, закусывая белой булкой. Избач давно уже сошел на своей станции. Максим, вынув из портфеля полотенце и мыло, пошел в уборную. Тонкие сосенки дрожали за окнами: так зыбка тут почва, что достаточно обыкновенного поезда для землетрясения.

К двенадцати часам поезд был в Архангельске. Вокзал маленький, захудалый. Большой вокзал сгорел в гражданскую войну и не отстроен до сих пор. Моста в городе нет, надо торопиться к пристани. Пароход «Москва» перевез Максима через Северную Двину.

Максим направился по знакомым улицам к домику, где жил его отец, где сам он жил два года под ряд

IV

У входа в помещение интернационального клуба моряков и речников однорукий сторож проверял членские билеты. На него наскакивал маленький человечишко, у которого вся правая сторона — от виска до щиколотки — была как у людей, а левая — черна от грязи. Человечек доказывал убедительно:

— Да я ж с «Гудка»! С «Гудка» я, товарищ, — разве можно? Кочегар я! Меня нельзя не пущать.

Высокий человек в драповом пальто, проходя, оттеснил сторожа плечом и, взглянув на кочегара, заявил категорически:

— Это заведующий морским домом.

Сторож обалдел на миг, вполне достаточный для того, чтобы кочегар проскочил в клуб. Высокий человек пошатнулся только тогда, когда сторож уже не видел его. Он был совершенно пьян и зашел в клуб водников неожиданно для самого себя: никогда в жизни не был он ни матросом, ни кочегаром, ни, тем более, штурманом.

На некоторое время сторож забыл о проверке: он увидел давнего приятеля.

— Владимир Георгиевич! — воскликнул сторож. — Да откуда же ты? А куда в командировку ездил? А суточные получал? Ишь ты! А радио слушал? Нет? Вот и услышишь сегодня! У нас сегодня механик по радио играет. Из центра музыка будет. Верно, верно, Владимир Георгиевич! Вот только заседание кончится.

Максим пришел в клуб, когда заседание конференции водников уже кончилось. Живя в Архангельске, он часто бывал тут. Вошел в зал. Над эстрадой, в конце зала — «Привет культработникам северных рек и морей».

Распорядители зорко оглядывали зал, заставляя снимать пальто и шляпы. Пьяных, схватив сзади за локти, выводили. Маленький кочегар еле успел притвориться трезвым. Прямо на него шла девица с распорядительской красной повязкой на рукаве. Поглядела на него и пошла дальше. А высокий человек попался. Его выбросили, хотя он очень убедительно говорил неумолимому распорядителю в серой тройке и с пенсне на носу:

— Не будьте такая идиотка!.. Не будьте такая идиотка!..

И стоя внизу, на скользком дощатом тротуаре, у освещенной двери клуба, он долго и длинно ругался, не представляя, куда бы ему теперь повернуть? И пропал в архангельской мокрой тьме.

На эстраде уже установлен был радиоприемник, и вокруг него ходил механик. Русая бородка и вздернутый нос выдавали в нем архангельца, но механик считал, что лицо у него самое что ни на есть английское. И поэтому в ответ на нетерпеливые возгласы водников он даже не хмурился; лицо со вздернутым носом оставалось холод-

ным и неподвижным. Представитель клуба стоял тут же, на эстраде, и задумчиво жевал французскую булку. Но вот стихло в зале. Механик, сделав все, что нужно, отошел. И все услышали явственный писк, который шел из рупора.

— Здорово! — сказал маленький кочегар соседу.

Но тот презрительно отвернулся и обратился к девице, руку которой он держал так крепко, словно это была не рука, а полугодовое жалованье.

— Как вы думаете, что это играют?

Девица растерянно молчала.

Механик слушал писк с хладнокровием истинного англичанина. Представитель клуба дожевал булку и, безнадежно махнув рукой, сошел с эстрады.

Первым фыркнул штурман норвежского судна. Он всячески старался сдержаться. Он и сам себе зажимал рот и соседей просил, — но смех прорвался, и толстое красное лицо норвежца заходило ходуном.

Механик подошел к радиоприемнику, исправил что-то в проводах, и писк заменился басовым гудением. Водники стойко выдерживали испытание: они в своей жизни видели и не такое. Этот концерт был уже тем хорош, что не угрожал непосредственной смертельной опасностью. А маленький кочегар находил музыку замечательной.

— Это гудок! — восклицал он. — То раньше свисток был: пищало-то. А теперь гудок. Это, значит, из Лондона гудит-то! Аж и выдумают люди!

Приятель сторожа встал и заявил громким голосом:

— Это, товарищи, зачем же издеваются? В клуб приходют люди очень переутомленные. Зачем же гудеть-то зря?

По этому «приходют» Максиму ясно стало, что это тот самый пассажир, который просил избача не трепать зря языком. Владимир Георгиевич пошел прочь из залы — в буфет. Он был искренно возмущен.

— Чего это он? — забеспокоился кочегар. — Это чем же он недоволен?

Но уже двинулись из залы водники. Поднялся шум. Концерт был сорван.

Механик, выключая ток, бормотал презрительно:

— Дикари. Это не Азия — это Африка. Некультурная публика.

И отправился пить пиво в буфет.

В фойе была выставка пароходных стенных газет. Но мало кто осматривал выставку. Большинство, взявшись за руки, парами и тройками ходили вокруг витрин.

Рядом с Максимом стоял и любовался немецкий моряк. Мимо шли три девицы, и одна из них поглядела на немца. Немец повернулся к ней всем своим коротким, плотным телом, улыбка заполонила все его лицо; глаза сузились, он прищелкнул большим и указательным пальцами левой руки; проговорил:

— Кар-тын-ка!

И тут лицо его стало серьезным, даже слегка удивленным, только глаза продолжали сладко улыбаться. И через минуту он уже вел девицу в буфет.

Звонок призвал водников в театральную залу. Драмкружок разыгрывал сегодня пьесу. То есть не пьесу, а феерию. В этой феерии участвовали не только рабочий, крестьянин, красноармеец, но и старец с длинной седой бородой и в черном балахоне, и даже феи, одна из которых топила английскую подводную лодку, а другая спешила на помощь Красной армии. Старец произносил слова как истый архангелец, но в программе был помечен именем Хроноса. Феи в перерыве между военными подвигами танцовали под звуки самых популярых мелодий.

Когда, наконец, советская власть победила и Хронос отворил для нее двери в будущее, водники с грохотом очистили зал, и началось такое веселье, что распорядители несколько даже растерялись. Особенно бушевали моряки, речники были скромнее. Куда скромному речному пароходику до морского судна?

К двум часам ночи Максим очутился на улице под руку с какой-то девицей, которая казалась ему необыкновенно красивой. Он ей уже час тому назад объяснился в любви. Девица обдумывала: стоит ли возиться с таким восторженным мужчиной, не слишком ли он пьян? Но он нравился ей, и в том, чего он добивался от нее, она не видела решительно ничего плохого. Напротив: ей было даже лестно. Она служила в портовой конторе, много раз получала замечание за легкомысленное поведение, а сейчас, кроме того, была еще и сильно навеселе.

Широкая, как река, улица уходила в мрак и, казалось, втекала в пустынный океан.

Когда Максим, даже не спросив разрешения, вошел за девицей во двор деревянного двухэтажного дома и дальше — на крыльцо и в квартиру, где она жила, — девица и не думала протестовать.

Под утро, возвращаясь по улице Павлина Виноградова к себе домой, Максим спокойно и грустно думал о причинах своего безалаберного поведения.

V

Только на пятый день пребывания своего в Архангельске Максим отправился на лесопильный завод, туда, где работала его бывшая жена.

Трамвай в сорок минут доставил его, мимо пустырей и болот, к штабелям готового к отправке леса. Тут, у конечной остановки трамвая, на ограде, — дощечка: «Сосновый товар на бирже заложен в Эквитэбль-банке в Лондоне». На арке, кинутой через дорогу, — название завода.

Максим вынул из кармана пальто коробку папирос, но, вспомнив, что в районе завода курить нельзя, сунул папиросы обратно. Он не торопясь прошел под аркой. Бормотал:

— Эквитэбль-банк в Лондоне.

Ему нравились такие города, в которых мешались в одно все нации. Но в кооперативе, у которого он остановился, иностранцев не было. Приоткрыв дверь, Максим сразу же увидел Таню. Она отпускала толпящимся у прилавка мужчинам и женщинам продукты. Улыбнулась, кивнула Максиму головой и крикнула:

— Погоди! Десять минут еще!

Через десять минут появилась Таня: кооператив закрылся на обеденное время.

Таня крепко жала Максиму руку. Эту женщину Максим знал так же хорошо, как себя; целых три года они жили вместе — и ему странно было, что теперь он не может даже поцеловать ее. Ему на миг жалко стало, что они разошлись.

— Пойдем к мужу, — сказала Таня и, ведя Максима под руку, рассказывала оживленно: — Ужасные очереди! И ни-

сколько мы в этом не виноваты. Все из-за кредитования. От первого до четвертого каждый месяц выдают купоны, и нет того, чтобы подождать. Каждый сразу норовит. . .

Максим слушал, усмехаясь. Он думал о том, что только женщина способна так волноваться всяким пустяковым делом, которое ей поручено, словно от успеха этого дела зависят судьбы мировой революции. Он вспомнил, что это сначала нравилось, а потом наскучило ему в Тане. Он уже не жалел, что разошелся с этой женщиной. И доволен был за нее, что она успокоилась и встречается с ним теперь просто, по-дружески.

Муж Тани был секретарем ячейки. Это широкий и медлительный малый, который даже улыбается не сразу, а понемногу: медленно расклеиваются губы, обнаруживая два ряда крепких белых зубов, обозначаются складки на щеках, и, наконец, улыбка полностью определяется на лице. Максим — живее и торопливее.

Максим хорошо знал таких людей, как муж Тани. Такой человек, поверив во что-нибудь, не отступится уже и, решившись на какой-нибудь поступок, обязательно уж совершит его.

Мужу Тани, в сущности, не улыбаться хотелось, а хмуриться. Но он пересилил себя и пожал протянутую Максимом руку.

Максим говорил:

— Последний раз я в Архангельске. Окончательно назначен в Ленинград. Может быть, больше не увидимся. В общем плохо я живу.

Последнюю фразу он прибавил из ему самому неясного побуждения задобрить мужа Тани. Но секретарь отнесся к его словам серьезно.

— А чем плохо? Болеете?

Максим уже негодовал на себя на никчемную жалобу. Он отвечал угрюмо:

— Да нет — так.

Таня напрасно звала мужа на обед: тот отговорился работой и остался в конторе. Таня увела Максима.

Они молча шли по двору. В воротах остановились, взглянули друг на друга, и вдруг губы Тани дрогнули.

— Не я виновата, что мы разошлись, — сказала она тихо.

Максим ничего не ответил. Потом протянул ей руку.

— Вот и увидались еще раз. Больше, может быть, и не увидимся. На обед не удерживай — я уж поеду.

И, не выпуская ее руки, проговорил:

— Не поминай лихом.

У Тани снова дрогнули губы, но она ничего не сказала.

Максим крепко пожал Тане руку и пошел к трамваю. Таня глядела ему вслед, и всякий, кто взглянул бы ей сейчас в лицо, понял бы, что она влюблена в этого человека в клетчатом кепи и демисезонном пальто. Это смутно понимал и сам Максим, который, обернувшись, помахал ей рукой.

Когда трамвай доставил Максима в город, он смог наконец закурить. Он курил с наслаждением, медленно затягиваясь и выпуская дым.

Максим неторопливо шел по набережной.

У Северолеса чуть не столкнулся с человеком, который выскочил из ворот. Максим ухватил человека за плечо.

— Врешь — стой! Куда бежишь?

Человек стремительно обернулся и уже вдохнул воздух, чтобы как следует выругаться, но, увидев Максима, только махнул рукой:

— А, это ты! Совсем зарезали меня, замотали! С ума сойдешь! И в стенной еще опять продернули!

Это был управляющий сплавом.

Не так давно и Максим бегал и суетился по Архангельску. Теперь он был тут всего лишь гость. Архангельская жизнь отходила от него навсегда.

Управляющий, крикнув: «Увидимся еще!» — уже пустился прочь.

Максим двинулся дальше.

Архангельск — длинный и узкий город. Он жмется в Северной Двине, он живет Северной Двиной, дышит близким Белым морем и насылающим морозы и иностранные суда Ледовитым океаном. И хотя Максим жил почти в самом конце улицы, пересекающей улицу Павлина Виноградова, все же от его дома до набережной было не больше десяти минут ходу.

Дома — отец. Он очень стар. Лицо у него ссохлось, и кожа — это даже не наощупь ясно — тверда и жестка

как голенище. Пиджак и штаны широкими складками висели на его одряхлевшем теле. Тонкие и длинные седые волосы, как дым, колыхнулись на легком ветру, когда Максим отворил дверь.

Отец не желал ехать в Ленинград. Он считал, что гораздо экономнее ему умереть в Архангельске. И когда Максим начинал убеждать его, он брал карандашик и выводил на клочке бумаги цифры, которые доказывали с ясностью, что оставаться в Архангельске ему выгоднее, чем переезжать в Ленинград. Расчет он вел на год вперед — больше года он не предполагал дышать земным воздухом. Никаких других доводов, кроме цифр, он не признавал.

На следующий день Максим уехал в Ленинград, на новую службу.

VI

Каждое воскресенье Павлуша обедал у няни. Он приходил как бы невзначай в обеденный час, и Масютин обычно приглашал его к столу. В одно из воскресений Павлуша, твердо рассчитывая на вкусную и обильную пищу, явился к няне в пятом часу вечера и хотел уже позвонить, когда увидел, что на двери висит большой, зеленого цвета, замок.

По воскресеньям няня с мужем не торговали; еще ни разу не случалось, чтобы хоть кого-нибудь из них не было дома в воскресенье, — и Павлуша решительно не мог понять, куда они оба могли уйти. Неужели просто в гости? Павлуша решил погулять с полчасика, а потом вернуться, — может быть, Вера окажется уже дома. Но и через полчаса замок висел на двери.

Павлуша присел на подоконник и стал ждать. Он не мог уйти, отказаться от няниного обеда: он привык по воскресеньям быть вполне сытым. Он прислушивался ко всякому шороху на лестнице, каждый стук и скрип принимая за звук шагов. А когда слышались шаги, он подскакивал к перилам и перегибался, высматривая утоляющую голод няню или ее мужа. Но они не шли. Шаги либо утихали внизу, либо перед Павлушей появлялись и проходили наверх незнакомые люди, уверенные в том, что

дома их ждет семья и обед. А Павлушу ничего, кроме рваного пружинного матраца, не ждало дома.

Павлуша решил обмануть судьбу, показать ей, что не слишком ему уж и нужна няня. Он не вставал на звук шагов, нарочно занимал себя посторонними мыслями, но судьба упорствовала. Павлуша глядел во двор. Темнело уже. И когда стало совсем темно и совсем голодно, Павлуша поднялся и двинулся вниз по лестнице. Он шел медленно. Он читал в разных книжках о том, как герой, отчаявшись в чем-нибудь, вдруг получал то, чего добивался. И Павлуша ждал этого «вдруг»: ведь он совсем отчаялся, и должна же судьба, наконец, сжалиться над ним. Но это «вдруг» так и не случилось. Он вышел за ворота, на улицу, а няни не было ни видно, ни слышно. Павлуша дошел до угла и остановился.

Улица, на которой жил Масютин, упиралась в главный проспект города. Если взять пять-шесть домов из тех, что высились перед Павлушей на той стороне проспекта, и прочесть вывески, то окажется, что уместились тут и отделение Госбанка, и отделение банка коммунального, и общество взаимного кредита, и две парикмахерские, и высшие торгово-промышленные курсы, лечебница с постоянными кроватями, три кинематографа, кафе, две пивных, кооперативы, частные магазины, да и мало ли еще что! И все это на таком небольшом пространстве земли, что если бы эта земля была не в городе, а в деревне, то владелец ее, несомненно, получил бы как бедняк прибавочную долю. Но в городе делят не землю, а деньги и труд.

Днем деловой шум заглушает тут шум скандалов. А к вечеру желто-зеленый цвет пивных господствует над всем. И когда гаснут белые огни кино, и все цвета заменяются одним — черным, тогда начинаются самые беспокойные часы для дежурного милиционера и самые прибыльные для ресторана «Яр», открытого до трех часов ночи.

К этому ресторану и свернул Павлуша. Заказал порцию сосисок и бутылку пива. Съел, выпил и, неудовлетворенный, отправился домой. Трамвай довез его до угла Зелениной улицы и Геслеровского переулка. Тут, на Зелениной улице, жил Павлуша. Вошел во двор. Взглянул наверх, на окно своей комнаты. Окно было, как

всегда, темное, — никто не ждал Павлушу дома. Павлуша был совершенно одинок. Такая тоска охватила его, какая бывает только перед смертью. Эту тоску знал Павлуша и раньше, но никогда еще не достигала она той силы, как сейчас. Может быть это просто оттого, что не пришлось ему пообедать сегодня у няни!

Павлуша поднялся по лестнице в третий этаж, толкнул дверь никогда не запиравшейся квартиры и направился по коридору к себе в комнату. Вынул из кармана пальто (пальто год тому назад подарила ему няня) ключ, сунул в замочную скважину. В это время из соседней комнаты выглянула Лида, девица неопределенной профессии. Она окликнула Павлушу:

— Павел Александрович, к вам тут женщина приходила. Ждала вас, ждала. Вот минут только пятнадцать, как ушла. Записку оставила.

Павлуша взял записку.

Он сразу же догадался, что это за женщина приходила к нему. Это, конечно, няня. Значит, пока он ждал ее, она ждала его тут.

У себя в комнате Павлуша зажег свет и прочел записку:

«Милый Павлуша! Масютина забрали с товаром. Я дома не ночую. Нет ли у тебя знакомых коммунистов? Я к тебе завтра приду утром. Вера».

Павлуша сразу же почувствовал прилив энергии. Он схватил фуражку, чтобы бежать в милицию и выручить Масютина так, как он выручил его в девятнадцатом году. Но куда бежать? Куда увели Масютина? Павлуша отбросил фуражку, и новые соображения совсем сбили его с толку. Ведь теперь не девятнадцатый год, а двадцать четвертый. Теперь все размерено и взвешено, и нахрапом ничего не удастся сделать. В этом размеренном и взвешенном мире всему определено свое место, и против уголовного кодекса бороться невозможно. Если Масютин виновен — никто не сможет избавить его от наказания. И если Масютина засудят, то он, Павлуша, погибнет вместе с няней, потому что кто же будет тогда зарабатывать деньги и кормить их?

И вдруг Павлуша почувствовал, что он уже не боится гибели, что желание жить почти совсем умерло в нем. Он помнил то время, когда он ненавидел смерть и болезнь,

спасался в деревню к дяде, потом рванулся обратно — к няне, добился службы, служил — но последние месяцы, после потери службы, он медленно умирал. Он не жил, а спал. Да и вообще — когда он жил по-настоящему, так, как надо жить человеку? Может быть, и одного дня он не жил так? Ему казалось, что он жил только тогда, когда закутанную в одеяла Маргариту санитары выносили из квартиры: да еще, когда припадок возвратного тифа отпустил его и, плача, он призывал и целовал няню и Масютина; да еще тогда, когда он размахивал документами перед милиционером, выручая Масютина. И еще, может быть, два-три момента. А куда провалилось остальное время? Его, может быть, и совсем не было для Павлуши. Он умрет и не оставит никакого следа на земле и в душах людей. За его гробом пойдет одна только няня. Разве это жизнь?

Павлуша шагал из угла в угол. Он ясно видел теперь, что его жизнь решительно ни на чем не держится. То есть держится только на любви к нему няни. Умрет няня — и ему останется тоже только умереть. Ничто и никто не поддержит его. Сам себя он поддерживать не умеет, всю жизнь он опирался на кого-нибудь, и вот ему теперь двадцать четыре года, он никому не нужен, и у него нет никакого дела в жизни. Всю свою энергию он тратил на то, чтобы отстраниться от потрясений, избегнуть опасностей, сохранить жизнь. И вот ему удалось уберечься от всего, что губило и рождало в последние годы. Он сохранил жизнь, а для чего — неизвестно. Вдруг оказалось, что эта жизнь ему решительно не нужна. Теперь он видит, что в тысячу раз лучше было бы погибнуть в бою, чем отчаиваться так, как сейчас.

Если бы время вернулось на семь лет назад — он знал бы теперь, как действовать. Он бы пошел в партию, он бы работал где угодно, и теперь, если б он остался в живых, у него было бы дело в жизни, и, получив от Веры записку, он не растерялся бы так. Эта записка не грозила бы ему гибелью, и он бы обязательно помог Масютину.

Все эти мысли не были совершенно неожиданны для Павлуши. Все это, вытолкнутое теперь запиской няни наружу, давно уже накапливалось в нем и давало о себе

знать тоской, которая охватывала его, когда он, возвращаясь домой по вечерам, видел со двора темное окно своей комнаты. Эти же мысли посещали его и раньше, но они не приводили его в такое отчаяние, как сейчас, потому что Масютин и няня жили уверенно и твердо, и еще потому, что неясно ему было — линия какого поведения победит в результате. Это были именно те самые мысли и сомнения, которые мешали Павлуше ходить в баню, убирать комнату и стать официальным помощником Масютина в торговле. Он даже гордился этими сомнениями, которые другим и совсем были незнакомы. Теперь оказалось, что он, Павлуша, побежден, раздавлен, что он вел себя неправильно, что не следовало отстраняться и избегать.

А может быть, еще не поздно исправить дело? Да и вообще, может быть, и до сих пор не ясно, как надо было поступать в прошедшие сумасшедшие годы? Привычная лень уже успокаивала Павлушу, уже он решил отложить обдумывание до утра, а пока что хорошенько выспаться, когда в стену раздался легкий стук, и голос Лиды окликнул его:

— Что ходите, Павел Александрович? Можно зайти?

— Пожалуйста, — вежливо отвечал Павлуша.

Лида вошла к нему, завернутая в одеяло, как в простыню после купанья, и остановилась у двери.

— Жалко мне вас, — сказала она. — Я уж давно смотрю, как вы нехорошо живете. А сейчас слышу: ходит-ходит человек, мучается. Идем ко мне.

Павлуша забыл обо всем, что волновало его за минуту до того. Он сразу же сообразил, что за утешение предлагает ему Лида. Он, несмотря на свои двадцать четыре года, совсем еще не знал женщин. Он думал о них много и воображал многое, но реальность пугала его.

— Идем, — сказала Лида, — не бойтесь.

И он, спотыкаясь, пошел за ней. Он предоставлял ей всю инициативу.

Лида закрыла дверь на ключ, скинула одеяло на кровать, оставшись в одной сорочке, и предложила:

— Поесть хотите сначала?

Но Павлуше было не до еды: его трясло как в малярии. Лида, наконец, заметила его состояние.

— Да что вы? — удивилась она.

...Через полчаса Павлуша уже сидел за столом и поедал все, что поставила перед ним Лида: колбасу, ветчину, сыр. Все это он запивал пивом.

Потом ему отчаянно захотелось спать. Спать он остался у Лиды. Проснувшись утром, он вспомнил, что должна притти Вера с известиями о Масютине. Но тут же снова заснул. И няня напрасно стучала в его дверь: никто не откликался. Она ушла, не понимая, куда это мог так рано исчезнуть Павлуша, и даже слегка обеспокоившись.

Этот день Павлуша был совершенно сыт. А к вечеру Лида сказала:

— Надо тебе работу выдумать. Нельзя так жить. Деньги надо зарабатывать.

Вчерашняя тоска прошла у Павлуши. Он уже трезво обдумывал свое положение и то, как помочь Масютину. Гибель Масютина и няни уже не грозила лично ему ничем. Он нашел новую опору в жизни: Лиду.

VII

Масютина арестовали на Октябрьском вокзале в то время, как он сдавал в багаж свой товар. Товар отобрали, а его самого агент посадил на извозчика и повез на Шпалерную. Это произошло вечером в субботу, перед отходом поезда, с которым Масютин должен был ехать в Москву. В воскресенье утром Вера получила от мужа записку с известием об аресте. Записку Масютин передал через одного из освобожденных в это утро арестантов. А в понедельник утром он и сам явился к жене: с него взяли расписку о невыезде и отпустили. Так что, когда Павлуша к вечеру пришел к нему, помощь уже не требовалась.

Масютин, вернувшись, ничего не рассказывал жене. Он шагал по квартире, пожимая плечами, останавливался, недоумевающе разводя руками, и меж бровей легла и не сходила у него складка, обозначающая необычную для бывшего чистильщика напряженную умственную работу. Он старался восстановить в памяти весь ход допроса. Он повторял вопросы следователя и свои ответы, переворачивал их, глядел на них со стороны, как человек посторонний, успокаивался, потом снова начинал волноваться, переиначивал свои ответы (выходило тогда гораздо лучше,

чем на допросе), опять успокаивался, но вновь то, что он говорил в действительности, прогоняло спокойствие,— и Масютин, шагая по комнатам, пугал жену своим необычным поведением: Вера уверена была, что он сошел с ума.

Масютину предъявлено было обвинение в том, что он торгует контрабандным товаром. Слова «контрабанда» он боялся пуще всего. Это слово грозило полным крахом его делу. И он убедительно доказывал следователю:

— Масютин — честный коммерсант. Масютин контрабандой никогда не торгует. Это злодеи подсунули, гражданин следователь.

И чтобы доказать свою непричастность к делу, он назвал фамилии своих поставщиков. А дальше он никак не мог восстановить в точности: то ли следователь предложил ему помочь словить контрабандистов, то ли сам он вызвался на это. Он хотел себя убедить в том, что следователь под угрозой чуть ли не расстрела заставил его согласиться на это дело, но ему не удавалось отогнать то, что происходило в действительности.

Масютин пытался рассуждать спокойно: ведь он, действительно, не знал, что товар, полученный от поставщиков, — контрабандный; он — честный коммерсант, он платит налоги, торгует по патенту, а поставщики подвели его и ввязали в грязное и опасное дело. Значит, они — его враги, и он должен изобличить их. Если это так, то почему же он волнуется? Чего он боится? Ведь он же не преступник, он не контрабандист и не желает спасать контрабандистов!

Самое лучшее, конечно, не ссориться ни со следователем, ни с контрабандистами, потому что неясно еще, кто сильнее. Контрабандисты, правда, не будут знать, что он, Масютин, выдал и помог поймать их (это обещал следователь), но ведь неизвестно, что будет впоследствии. Может быть, контрабандисты одержат верх и станут такой же властью, как следователь? Тогда Масютина изобличат по бумагам и расстреляют за теперешний его поступок так, как теперь расстреливают провокаторов. Эта мысль так напугала Масютина, что он схватил фуражку и, не обращая внимания на плачущую Веру, выскочил на лестницу и ринулся вниз, — он решил отправиться за советом к следователю.

Масютин шел и все оглядывался и осматривался, ища доказательств крепости советской власти. Вывески доказывали ему, что власть как будто крепка: вот красный плакат ЦК железнодорожников; черный Центробумтрест; зеленая вывеска Музпреда; оранжевый Новтрестторг; синий Северокустарь — все это новые слова и учреждения, выдуманные теперешней властью. И люди заходят во все эти места — привыкли. А вот налево — кооператив «Красная заря». Это уже и совсем ясное название, и опять-таки доказывает оно, что власть крепка. Улицы тоже называются по-новому, и никто не протестует, хотя и мало кто говорит вместо «Невский» — «проспект 25 Октября», или «проспект Володарского» — вместо «Литейный проспект».

На углу проспекта 25 Октября и проспекта Володарского Масютин для скорости сел в трамвай. И новые названия, которые выкликал кондуктор на остановках, не вызывали усмешки, а успокаивали его на этот раз. На улице Герцена он сошел. Идя по ней в противоположную от арки сторону, он продолжал оглядывать и осматривать все вокруг, чтобы убедиться в силе следователя. Проходя мимо разрушенного дома, опять взволновался: вот рухнет так все вместе с вывесками, и тогда расстреляют его за то, что он выдал контрабандистов. И почему нельзя торговать заграничным товаром? Ведь своего нехватает, — зачем же тогда запрещать ввоз? И тут Масютин понял, что дело контрабандистов понятней и ближе ему, чем дело следователя и тех, кто с ним. Он сам не контрабандист, но контрабандисты для него все же свои люди, а следователь — чужой ему человек и даже враг.

Следователь принял его не сразу.

Но вот, наконец, Масютин вошел в его комнату.

Следователь спросил:

— Что вы имеете сообщить? Я вас слушаю.

Масютин снял фуражку, положил ее на стол, вынул из кармана штанов грязноватый платок, отер им лицо, особенно тщательно почистил над верхней губой и опустился на стул. Он не знал, как начать объяснение. Положил ногу на ногу, запустил руку в правый карман черного кителя, вынул портсигар, раскрыл, зацепил папиросу, постучал ею о крышу портсигара.

— Я за советом, товарищ Широков, — сказал он. — Не знаю, как все это обернется. Впоследствии это для меня неясно. Теперь ясно, а впоследствии...

И он замер в недоумевающей позе: в левой руке — портсигар, правая, с папироской между указательным и средним пальцами, слегка откинута, голова наклонена задумчиво к правому плечу.

Максим (он вел дело Масютина) сразу понял, что означало это «впоследствии». Он спросил резко:

— Итак, что вас беспокоит?

Но Масютин уже ничего не хотел говорить следователю о своих сомнениях: опасно. Он видел с ясностью, что выгоднее всего сейчас выдать контрабандистов, а о будущем пока не думать. В будущем объяснение всегда найдется: сказать, например, что его пытали, мучили и только таким путем добились того, что он выдал, или просто отрицать, или еще выдумать что-нибудь.

— Беспокоит меня, как обернется, — отвечал он, и в голосе его появились давно забытые крестьянские певучие ноты. — Завтра хочу я одного поймать, сговориться надо.

— Давайте сговариваться, — сказал Максим.

Когда торговец ушел, Максим задумался о себе. «Впоследствии» Масютина вызвало в нем рой привычных мыслей. Ведь главная-то разница между ним и, например, этим торговцем, может быть, и заключается именно в этом «впоследствии».

Он вспомнил то время, когда он сам не знал, какое «впоследствии» лучше. Это было не так давно. Потому что ведь до четырнадцати лет он рос при отцовском ларьке на Васильевском острове. Отец, правда, разорился, даже нищенствовал одно время, и Максим должен был приняться за работу, чтобы не погибнуть. Но все же детские воспоминания и привычки остались у него, и даже долгие годы совсем иной, полуголодной жизни не вполне вытравили их. Даже теперь во многом, — ну хотя бы в делах с женщинами, — сказывается его василеостровская жизнь. И до сих пор он любит Васильевский остров и не может равнодушно пройти мимо Румянцевского сквера, куда некогда бегал он, чтобы поиграть в палочку-воровочку и в казаки-разбойники. А городское училище, в котором он обучался, на углу Седьмой линии и Сред-

него проспекта! А Малый проспект, где он жил! С людьми, вышедшими оттуда — с Малых и Средних проспектов Петербурга — приходилось ему теперь иметь дело, — но уже в качестве следователя, а не товарища детских игр. Он знал и понимал этих людей, и это очень помогало ему при допросах в разборе дел, которые он вел. И теперь он спокойно уже арестовывал людей, среди которых, может быть, были и те, с кем он некогда катался вместе на коньках, устраивал битвы во дворах Васильевского острова, приучался, тайком от родителей, курить и гулять с девицами. И то «впоследствии», ради которого он работал сейчас и жил, служило для него в деле мерилом, указанием и оправданием.

VIII

Павлуша явился к Масютину в понедельник вечером. Он не застал торговца дома: тот как раз в это время уговаривался со следователем о том, как словить контрабандистов. Вера, всхлипывая, рассказывала Павлуше, в каком сумасшедшем виде вернулся муж со Шпалерной и как без всяких объяснений убежал вдруг неизвестно куда. Она, впрочем, не забыла накормить Павлушу обедом, дать ему немного денег и запихать в карманы его пальто бутерброды с ветчиной.

Павлуша, узнав, что Масютин освобожден из-под ареста, сразу же успокоился: значит, его помощь уже не нужна, от него ничего не требуют. Поедая все, что няня ставила на стол, он говорил ни к чему не обязывающие успокаивающие слова. Потом отправился домой. Темное окно его комнаты больше не страшило его: ведь он уже не одинок, ведь в комнате Лиды — свет. Павлуша, не постучавшись, отворил дверь Лидиной комнаты и остановился в недоумении.

Комната Лиды не похожа была на Павлушину: она — короче и шире. Это — почти квадратная комната в два окна. Тут все — в чистоте: на полу разостлан ковер, из которого Лида сама еженедельно выбивала на дворе пыль; справа — ширма, скрывающая кровать и туалетный столик; на ширме этой — зеленые пятна лепестков, белые и красные цветы, основной желтый фон и разглядеть

трудно; слева — буфет, а ближе к окну — красная узкая и короткая кушетка; над кушеткой, на стене, — большая олеография, изображающая исповедь полководца перед битвой: полководец стоит на коленях перед ксендзом, а ксендз простер над ним руки; картина эта принадлежала кисти польского мастера и называлась «Spowiedz przed bitwa»; она осталась на стене от прежнего жильца — поляка, расстрелянного за шпионаж. Меж окон, против двери — стол, по бокам его — два стула и кресло. На одном из стульев сидела Лида, на другом (стул повернут был спиной к стене) — незнакомый человек в синей пиджачной тройке. Он заложил ногу на ногу, показывая над лакированными, с замшей, ботинками полоски зеленых, со стрелками, шелковых носков. Завидев Павлушу, он быстро сунул правую руку в карман брюк и поднялся со стула. Павлуша понял, что рука его, задержавшаяся в кармане, сжала рукоятку револьвера.

— Не бойся, — сказала Лида незнакомцу, — это мой муж.

И обернулась к Павлуше:

— Знакомься с моим братом Мишей.

— Я не боюсь, — промолвил Миша и вынул руку из кармана. Видно было, что слова Лиды оскорбили его: он явно был чувствителен сверх меры ко всему, что могло хоть как-нибудь унизить его. — Я не боюсь, — повторил он, и лицо у него потемнело.

Он обратился к Лиде:

— Очень рад, что ты замужем. Меня всегда беспокоило, что ты...

И он с совершенным спокойствием не кончил фразы. Не замялся, а просто поставил точку там, где не следовало. Он был невысок ростом, худощав; штатский костюм не мог скрыть принадлежность его к военному сословию: гость держался прямо, убирая плечи назад, — и эта повадка была естественна и непринужденна. Стоя против Павлуши, он не прямо глядел на него, а, чуть влево повернув голову, слегка косил черным, как и волосы его, глазом.

Пожав руку Павлуши, он опустился на стул.

Лида торопилась показать Павлуше подарок, который привез ей из Гельсингфорса брат. Павлуша увидел изящнейшую широкую, почти квадратную, голубую коробочку. Лида потянула кверху голубую, с золотом, кисточку — из

упаковки медленно стал вылезать флакон тончайшего стекла. Павлуша прочел на флаконе: «Coty», — и пониже марки: «Paris». Он взял коробочку с флаконом, рассмотрел рисунок на ней: река, мост, на берегу — дворец; в небо, во всю длину коробочки, летели, скрещиваясь на пути, две золотых стрелы фейерверка. Повернув коробочку другой стороной, Павлуша читал вслух, радостно вспоминая, что ведь он очень неплохо владеет французским языком: «Cette specialité et ces accessoires ont été crées par moi...»

Но тут Лида отобрала у него драгоценный подарок.

— Разобьешь еще. Настоящее Коти «Пари». Таких духов тут и не достанешь.

— Вы из-за границы? — осведомился Павлуша у гостя.

Почтительный тон, которым был задан этот вопрос, польстил Лидиному брату. Он ответил небрежно:

— Да. Сегодня днем приехал.

Лида сказала:

— Ты можешь Павлуше вполне довериться. Он тебя не подведет.

Заграничный гость сердито сдвинул брови:

— Я тебя прошу, Лида, не указывать мне. Я сам знаю, что делать.

И обратился к Павлуше:

— Сегодня я ночую в вашей комнате.

— Пожалуйста, — отвечал Павлуша. — И будьте покойны...

— Покажите мне, где вы живете, — перебил Миша.

Павлуша повел его к себе.

Мише очень не понравилась Павлушина комната. Он брезгливо морщился и говорил:

— Как можно жить в такой грязи! Это что за пакость? — он указывал на пружинный матрац, торчавший меж кроватью и стеной. — Это выбросить надо. И вообще...

Он, не кончив ругаться, поставил точку, замолк и, отворив окно, принялся приводить комнату в порядок. Павлуша поражался быстроте и четкости его движений. Прежде всего Миша вытащил матрац в прихожую. Потом, увязав в один узел простыню, одеяло, наволочку и все, что лежало на кровати и возле нее, заявил кратко:

— Эту дрянь надо сжечь или — в помойку.

Затем, взяв у Лиды веник, подмел комнату. Не успокоился до тех пор, пока сор, пыль и паутина не исчезли отовсюду. Тогда он перетащил к Павлуше свой чемодан и ремни с одеялом и подушкой. Павлушина комната совершенно изменила свой прежний вид. А на кровати согласился бы поспать чистоплотнейший человек в мире: одеяло, простыня, наволочка — все было теперь вне всяких подозрений. Миша объяснял Павлуше:

— Я проведу тут дней пять. Потом уеду, а это все оставлю вам. Только имейте в виду, что белье надо отдавать в стирку, стирать. Поняли?

И, вынув из чемодана две толстых бутылки, он пошел к Лиде.

— Настоящий английский коньяк,—сообщил он, ставя бутылки на стол. — Дай штопор, Лида. А муж твой в грязи живет. Это нехорошо. Надо быть чистоплотным.

Стол был уже накрыт: три прибора — на белоснежной скатерти. И у Павлуши рот наполнился слюной: обед у няни нисколько не уменьшил его аппетита — он мог проглотить хоть пять обедов под ряд. От себя он присоединил к пиршеству бутерброды с ветчиной, полученные от няни.

Запивая бифштекс коньяком, Миша рассказывал Павлуше о себе. Он любил говорить о себе, особенно когда собеседник был почтителен, а коньяк горячил кровь.

Жизнь Мишина была не совсем обыкновенной. Он из университета пошел добровольцем на фронт; дослужился до чина поручика; получил георгиевский крест; был тяжело ранен. Оправившись от раны, он на фронт не вернулся. Он был назначен в один из полков петербургского гарнизона. В октябре бежал, но потом, уже на юге, пошел в Красную армию. Он был снова ранен, но, вылечившись, на этот раз не остался в тылу, а вернулся на фронт.

Все это Миша сообщил Павлуше без всяких объяснений, ставя один факт после другого, как в рапорте. Объяснения можно было найти только в голосе его, в иронических интонациях, в усмешке, в полном отсутствии жестикуляции. Но он изменился, и в голосе его зазвучали такие интонации, каких не было до сих пор, когда он перешел к рассказу о работе своей по окончании войны в одном из петербургских учреждений. Он даже встал и за-

шагал по комнате. Потом остановился перед Павлушей и, глядя не на него, а поверх его головы, продолжал:

— Я вам скажу (и, взглянув на Павлушу, он, подумал, что этот мальчишка — дурак, мразь, грязное животное, и не стоит вообще с ним разговаривать)... я вам скажу, — повторил он (и тут с ясностью понял, что мог со спокойной иронией говорить о той части своей жизни, в которой он был все-таки вроде как героем, — он был достаточно умен для того, чтобы о собственном героизме рассказывать насмешливо: все равно факты оставались неизменными; но о последних, сомнительных годах своей жизни он не мог говорить легко, передавая одни только факты, — тут требовались подробнейшие разъяснения, чтобы не показалось собеседнику, что Михаил Щеголев стал самым обыкновенным неудачником, сбившимся с верного пути по слабости воли и ума). — Я вам скажу! — произнес Миша, вместо запятой ставя на этот раз восклицательный знак после этих трех слов, и замолк, вновь зашагав по комнате.

Потом, овладев собой и с ненавистью поглядывая на Павлушу, продолжал уже не устную свою речь, а течение своих мыслей:

— Революция загнала всю эту пакость в подполье, а теперь они повылазили из своих нор. Если б повторить семнадцатый год! И вот теперь я, член коммунистической партии с двадцатого до двадцать второго года, теперь я — контрабандист, — неожиданно закончил Миша и еще неожиданнее добавил: — Спокойной ночи.

Он вышел из комнаты, оставив Павлушу в испуге и растерянности. Павлуша поверил Мишиному рассказу. Но — поручик, потом — коммунист, теперь — контрабандист — чем объяснить такие резкие перемены? Дичь! Совершенная дичь! Но эта дичь убедила Павлушу в одном: в том, что Миша — преступник, и если его обнаружат у Павлуши в комнате, то Павлуше придется плохо. И Павлуша думал уже о том, как бы поскорее выселить опасного гостя. Но в то же время Мишин рассказ доставил Павлуше большое удовлетворение. Ведь все, что проделал брат Лиды, было именно то, от чего Павлуша до сих пор уклонялся. Ведь это и есть та настоящая жизнь, которую Павлуша упустил, о которой так тосковал в ту ночь, когда нашел Лиду. И вот к чему приводит такая жизнь — к пол-

ному разочарованию. Стоило ли биться на фронте, чтобы теперь торговать духами Коти и скрываться от милиции? Нет, уж лучше жить тихо и спокойно.

«И, наконец, — с неожиданной ясностью думал Павлуша, — я — не рабочий, а что дед был крестьянин, — так это дед, а не я. Какого чорта мне заботиться обо всем этом?» Тут же он испугался этой простой и четкой мысли. Это была опасная мысль, и он загнал ее тотчас же на самое дно сознания.

Лида, выпив чрезмерное количество коньяку, легла на кровать и задремала еще в середине Мишиного рассказа. Павлуша доел все, что осталось на столе, и пошел к ней за ширму.

А в соседней комнате на кровати сидел Миша. Наедине с самим собой он не был ни горд, ни самоуверен. Он сидел, опустив голову, недвижно глядя себе под ноги, как тяжело больной. Только чрезвычайная сила воли помогла ему не обнаруживать в людях того, что мучило его, держать себя гордо и независимо. Но и сила воли стала изменять ему в последнее время: сегодняшний вечер лишний раз показал это.

— Ну и пусть, — бормотал он. — К чорту! К чорту все!

Он был измучен. Он не видел теперь в жизни ничего привлекательного. Только новая война — новое движение, которое окончательно разрушило бы вновь устанавливающийся мирный быт, могла бы спасти его. Ему отчаянно захотелось бить и швырять все, что попадется под руку. Или, например, стрелять из окна в прохожих. Или еще что-нибудь в этом роде. Но он сдержался. Вынул из кармана брюк браунинг и положил его под подушку. Медленно стал раздеваться. Аккуратно распялил на спинке стула пиджак; на пиджак повесил жилет; сложил ровно, по складке, брюки, концы вложил в зажималку, повесил на гвоздь, развязал галстук, отцепил воротничок, снял сорочку, кальсоны, носки. Голый сидел на кровати, перебирая пальцами черную шерсть на груди. Взглянул на свои мохнатые, по-мужски красивые ноги и вспомнил о женщинах, к которым можно было бы пойти (их было у него несколько в Ленинграде, и все ждали от него заграничных подарков). Брезгливо поморщился. Отер тело одеколоном, надел светлокоричневую пижаму и забрался

под одеяло. Спать не хотелось. Начиналась обычная бессонница. Миша спустил ноги на пол, надел туфли и встал, чтобы взять из чемодана «Джунгли» Киплинга. Но тут же упал обратно на кровать, — круглая земля, вращаясь, со свистом неслась в пространство, и равновесие удержать при такой скорости было трудно. Миша, уронив голову на подушку, закрыл глаза. Головокружение прошло. Миша вынул книгу из чемодана, улегся и при свете шестнадцатисвечовой лампочки стал читать.

IX

Масютин держал постоянную связь со следователем и агентами, но десять дней под ряд все усилия его захватить поставщиков-контрабандистов вместе с товаром пропадали зря. Самый процесс купли и продажи был слишком краток: берешь товар — давай деньги и уходи; не берешь — и через минуту нет уже товара в квартире, упрятан так, что и не сыщешь. А если Масютин подошлет агентов в назначенное для сделки время, а сам не придет, то — это Масютин знал — товара в квартире не окажется, товар появится из укромных мест только для Масютина и только на то время, какое пробудет он в квартире, ни минутой больше. Притти же вместе с агентами — это значит выдать себя.

На одиннадцатый день Масютин решил пойти на риск: заплатил за товар и не взял его. Он заплатил из своих денег, получив твердое обещание Максима, что деньги эти будут ему возвращены. Он сам не заметил при этом, до чего сжился с неожиданной ролью ловца контрабандистов: он уже вкладывал в это дело капитал. Но ведь — так полагал он — он спасал этим свой ларек.

За товаром он пошел в сопровождении агентов. Агенты остались ждать у ворот. Условлено было так: Масютин предложит поставщикам вспрыснуть сделку и, оставив товар на кухне, отправиться якобы за водкой, а сам пошлет агентов арестовывать контрабандистов. Но план этот был сорван: когда Масютин явился к поставщикам, кутеж у них был уже в полном разгаре. Один поставщик — Моисей Исаакович Розенштейн, в бархатном жилете, в синих штанах без пиджака, но с ермолкой на лысой

голове — сидел в стороне от стола на диване, с девицей на коленях и блаженствовал. Он закричал Масютину:
— Мы уж такой разгул!..
Но тут девица захлопнула ему слюнявый рот ладонью.
Другой поставщик — Гаврила Михайлович Щепетильников, в раскрытой на груди рубахе (грудь была широкая, белая, безволосая) — молча наполнил чайный стакан водкой и поднес Масютину. Потом опустил руку на голову брюнетки, пожиравшей рядом с ним сига, и потянул ее за волосы. Брюнетка непристойно выругалась и звонко хлопнула его по лицу. Щепетильников оттолкнул ее и принялся за соседку слева: взял ее за нос и попытался свернуть этот орган в сторону. Девица притворно запищала.
Масютин опустился на стул рядом с брюнеткой и опорожнил поднесенный ему купцом стакан. А вскоре из соседней комнаты появилась еще одна женщина, скучающей походкой направилась к столу, зевнула и, неожиданным жестом схватив бутылку вина, плеснула из нее на голову Щепетильникова.
— Но! Барыня! — не оборачиваясь, сказал купец. — Иди, откуда вышла.
Это была его жена.
Обратившись к Масютину, он предложил:
— Хочешь? — ляжь с ней. Красивая баба.
Стакан водки уже помутил торговцу мозг. Он боялся, что если еще будет пить, то и совсем опьянеет и забудет о том, что агенты ждут его у ворот. Он видел, что товар сейчас требовать невозможно. Так уж лучше заняться женой Щепетильникова, чем водкой, — безопасней: память, по крайней мере, не отшибет.
Работа агентов требовала терпенья, и поэтому, когда прошел час, а Масютина все еще не было, главный агент не удивился: ведь если водка оказалась на квартире, то уловка торговца сорвалась. Снесясь с Максимом по телефону, агент решил ждать до утра.
Масютин появился у ворот в шестом часу. Он был не один, а с женой Щепетильникова. Он шатался — не от водки, а от чрезвычайного напряжения. Лицо его было багрово.
— Бери!

И он замахал руками на агентов:

— Хватай их всех! живо!

И через минуту Розенштейн был уже выхвачен из объятий испуганной девицы. Жирное лицо его побелело как у клубного арапа, пойманного с поличным; ермолка сползла у него на затылок. Но вдруг он весь оживился и, закрасневшись, затопав ногами, закричал, тряся обращенной к Щепетильникову рукой.

— Это сделала твоя Клава! Я знаю!

— Жидюга паршивая, — отвечал Щепетильников, мрачно поглядывая на крепко державших его агентов, и вдруг ласково улыбнулся. — А ведь верно — Клава. Ну и чорт с ней! Ивана-то увела — понравился, видно.

Он широко вздохнул и вымолвил:

— Ну и пущай их живут, пока не словили.

Товар, найденный Масютиным с помощью Клавы, был сложен в соседней комнате: отвертеться контрабандистам было невозможно. А Масютину эта ночь показала новые возможности в жизни. Клава — это не старая, покорная Вера. Эта женщина могла бы ему превратить ларек в большой магазин, в целый ряд богатых шикарных магазинов. Но Клава отказалась итти на квартиру к Масютину.

— Сначала жену прогони, — сказала она. — А у меня-то, где ночевать да обедать место — весь Питер. Своих людей много.

Никогда еще Вера не видела своего мужа таким страшным, каким он вернулся к ней в это утро. Он кинул шапку на стол и сказал:

— Ну, зажилась — пора и со двора вон.

Вера смолчала. Она думала, что муж, как всегда, подравшись немного, успокоится. Но он не начинал драться. Он продолжал убедительно:

— Ты уже старуха. Ты мне и не нужна. Не в твою пользу дело обернулось. Молодая мне интересней будет.

Вера думала о том только, чтоб не заплакать. Если она заплачет — все кончено: Масютин совсем озлится и прогонит немедленно. Она упорно молчала.

Масютин тоже приумолк. Он сообразил, что по новым законам Вера, пожалуй, имеет право на половину его имущества. А надо бы так выгнать Веру, чтобы весь товар и всю обстановку оставить себе. Значит, надо

сначала все это перевести на имя Клавы. Ему уже ясно было, что сейчас Веру гнать нельзя, приходится подождать, потерпеть. Это разозлило его. Зачем жена не умерла до сих пор? Зачем живет еще, стоит, старуха, поперек дороги?

Он медленно приближался к Вере. Глаза его теряли человеческое выражение, становились пустыми и страшными. Вера отскочила за стол. И тогда Масютин ринулся за ней.

Вера бегала от мужа вокруг стола, подкидывая ему под ноги стулья. Она никак не успевала выскочить за дверь в соседнюю комнату, чтобы оттуда через кухню выпрыгнуть на лестницу. И пока бегала, думала с отчаянием, что выходная дверь в квартире закрыта на крюк, на цепочку и еще на ключ. Пока отворишь дверь, Масютин догонит и убьет. Но вот она выскользнула в соседнюю комнату, оставив в пальцах мужа оторванный рукав кофты. Захлопнула дверь, кинулась на кухню и, споткнувшись, упала. Она больно стукнулась головой об пол и, не удерживаясь больше, заплакала: все равно — смерть. Она плакала молча — для себя, для своего горя. И когда муж ногой ударил ее в бок, она только еще больше сжалась, желая одного: чтобы он скорее убил ее, не мучил бы перед последним ударом. Но Масютин не торопился: жена была теперь в его власти, и он обдумывал: опасно ее убить или нет. Если убить, — то, пожалуй, следователь не защитит. Убить надо так, чтобы на него подозрений не было. Он, нагнувшись, схватил жену подмышки, с силой поднял ее и поставил на ноги. Вера не понимала, что теперь хочет делать с ней муж. А тому пришла вдруг в голову блестящая мысль.

— Я тебя гнать не стану, — сказал он, — это я пошутил. Ты у нас с Клавой в прислугах будешь жить. Ты — старуха, она — молодая, мне с ней интересней будет. А ты — прислугой.

И Вера, чтобы только уберечься сейчас от побоев и смертного страха, отвечала тихо:

— Хорошо.

Масютин для верности прибавил:

— Ты мои дела теперешние знаешь. В курсе. Так мне это следователь приказал.

Вытащив из кармана своей серой суконной куртки книжечку, он помахал ею для пущей важности:

— Вот тут у меня и адрес следователя и все. Он приказал.

И, успокоенный, лег спать, решив завтра же к вечеру поселить у себя Клаву и с ней посоветоваться о том, как убрать Веру совсем из квартиры.

Вера собралась было поставить самовар, чтобы хоть чайку попить, но все валилось у нее из рук. И даже чай пить расхотелось. Она села в кухне на табурет и, положив руки на колени, задумалась. Потом пошла посмотреть, спит ли муж. Масютин спал крепко, не храпел даже.

«Как мертвый» — подумала Вера, и холод прошел у ней от живота к сердцу. Ведь ничего не стоит взять сейчас с кухни топор и убить мужа. Но Вера неспособна была на это. И мысль эта, возникнув, тотчас же исчезла у нее.

Масютин лежал на кровати в штанах и сапогах, только куртку снял. Вера подошла к стулу, на который брошена была куртка, и, поглядывая на мужа (не проснулся бы!), протянула руку к карману, в котором книжечка с адресом следователя.

Потом решила действовать иначе. Смело взяла куртку и понесла на кухню: ведь она теперь не жена, а прислуга, и обязана чистить господское платье.

На кухне она просмотрела всю книжечку. Тут было много разных адресов. Какой из них адрес следователя, Вера не могла разобрать. Она сунула книжечку обратно в карман, почистила куртку и принесла на прежнее место.

Масютин спал, отдыхая после одиннадцати дней непривычной работы.

X

Розенштейн очень волновался на допросе:

— Что? Я, может быть, похож на страшного преступника? Нет. Я не похож. Но мне надо кушать. Если у вас, гражданин следователь, есть семья — так вы должны служить и получать жалованье. А если у меня есть семья — так что мне делать? Что? Так я торговал. Каждый человек хочет кушать. И не я устроил, что без денег человеку жить нельзя. Без денег я бы совсем умер. Вы получаете

деньги за свою службу, я получаю деньги за товар. Я вас не обвиняю — хорошо! служите! — но и вы мне дайте свободу кушать свой хлеб. Я ведь верно говорю! — воскликнул он радостно, оборачиваясь к помощнику Максима. — Ведь верно же!

Помощник был одет по моде девятнадцатого года: кожаная куртка, синие кавалерийские штаны и высокие сапоги. Он был громадного роста, худощав и задумчив. Он понимал, что Максим не прерывает болтовню Розенштейна, надеясь на то, что торговец выболтает что-нибудь существенное. На обращение к нему контрабандиста он только строго кашлянул. Розенштейн, пройдясь взглядом по кожанке, испугался, пригнул плечи и переменил тон.

— Я — это так себе. Что? Я — маленький человек. Ну, торговал, ну, контрабанда — хорошо. А кто мне товар давал? Кто границу переходил? Что? Вот кого вам надо, а вы меня обвиняете.

Максиму именно этот вопрос и был важен. Через Масютина добыв Розенштейна и Щепетильникова, он чувствовал, что за этими поставщиками стоит главная сила, может быть центр организации. Мелочь, скупавшая товар, интересовала его меньше, хотя и ее следовало переловить.

Максим кивнул головой.

— Нам все известно. Но мы ждем от вас подтверждения того, что мы знаем.

— Так я подтверждаю, — отвечал Розенштейн. — Это ваш брат коммунист. Тот самый.

Он вынул платок и начал отирать лицо. Ему было очень жалко себя, и от жалости этой он готов был заплакать.

Известие о коммунисте было неожиданным для Максима. Он нахмурился, пугая торговца внезапной переменой: только что перед Розенштейном улыбалось милое, славное лицо — и вдруг губы сжались, складка легла меж бровей — лицо стало жестким и непреклонным.

— Кто такой этот коммунист? Фамилия! — отрывисто спросил Максим.

— Не знаю, — сорвавшимся голосом отвечал Розенштейн, и руки у него вспотели.

— Где он служит? Где живет?

Розенштейну стало жутко. Он не выносил таких прямых вопросов, от которых никак невозможно было увильнуть. Он проговорился и теперь должен был расплачиваться за это.

«Соврать надо» — подумал он, задрожал мелкой дрожью и стал задыхаться. Сердце у него было здоровое, но его отец на глазах сына умер от разрыва сердца, и с того дня Розенштейна преследовала навязчивая идея: что он умрет точно так же. И сейчас он боялся, что случится с ним сердечный припадок. Если же он соврет, то после этого так разволнуется, что разрыва сердца не избежать. И он назвал фамилию правильно.

— Щеголев, — сказал он, и дрожь оставила его. — Михаил Щеголев, — повторил он, отдышался и, держа левую руку на сердце, прибавил жалобно: — Я все скажу, только не сердитесь, гражданин следователь.

Он указал всех, кто доставлял ему от Щеголева товар. Но про Щеголева ничего существенного сообщить не мог. Только два раза за полтора года он и видел Щеголева. Тот всегда почти жил за границей, а когда приезжал сюда, то никому не говорил, где и у кого останавливается.

Щепетильников выдержал допрос совершенно спокойно. Вины своей не отрицал, а на вопрос о сообщниках пожал плечами:

— За себя все отвечу, а за других — не знаю.

Поглядев на Максима, прибавил:

— Русский вы человек, а против своих идете.

И покачал укоризненно головой.

После допроса Максим посовещался со своим помощником. Он поручил ему в самом срочном порядке навести справки о коммунисте или бывшем коммунисте Михаиле Щеголеве.

Помощник любил поговорить. Намолчавшись во время допроса, он сейчас дал волю языку.

— Экономическая контрреволюция, — с удовольствием выговаривая эти слова, заявил он и, тыча указательным пальцем левой руки в стол, продолжал: — Контрабандисты. Они боятся, а дай им волю — весь Париж через границу перетащат. А если наш коммунист сюда ввязался — так его, сукина сына, уничтожить надо. Да.

И он поглядел на Максима так, как будто тот торговал духами «Coty». Максим знал, что исполнительность и аккуратность помощника — необыкновенны. Он уверен был, что не позже завтрашнего утра получит подробнейшую справку о Михаиле Щеголеве.

А помощник говорил, шагая по кабинету:

— Какая разница между нами и этими людьми? Та, что мы сознательно строим счастливое будущее человечества. А для них нет будущего — у них нет веры. Они думают только о себе, они только свое будущее и умеют и хотят строить. Жалкие, тупоголовые мещане!

Бас помощника величественно гремел, руки ходили по воздуху. Максим подумал, что именно эти мысли, сейчас высказанные помощником, руководили сейчас его работой. Именно эти мысли промелькнули в его мозгу тогда, например, когда Масютин усомнился в том, что будет «впоследствии».

— Ты не смейся, Максим, — говорил помощник, хотя Максим и не думал смеяться. — Нельзя смеяться над классовой борьбой. Особенно теперь, когда борьба ушла вглубь, в быт, и бурлит там, вихрями вырываясь на поверхность.

Помощник снова увлекся. Он умолк только тогда, когда Максим, взяв портфель и шапку, протянул ему руку. Тут деловое настроение вернулось к нему. Он пожал руку Максиму и проговорил:

— Будьте спокойны. Все будет сделано. Я уже знаю, что это за Щеголев. Должно быть, тот и есть. Словим.

Максим пошел домой окольным путем. Свернул влево по Казанской улице; пройдя скверик перед Казанским собором, двинулся вправо по проспекту. Он вел свой велосипед около тротуара, не желая садиться на него: ему хотелось погулять, потолкаться в вечерней толпе. В людской гуще он всегда чувствовал себя прекрасно. Одиночества не любил.

Люди радостно толкались перед кино, перед витринами магазинов, шумели, ругались, смеялись, сдвигались с места и текли в толпе.

Они были так довольны, словно четыре года тому назад не валялись на этом самом проспекте, у тротуара, обглоданные собаками лошадиные туши.

Максим остановился перед витриной кино. Проглядел выставленные кадры. Потом пошел дальше и наступил на ногу встречному пешеходу, черному человеку в синей тройке. Человек резко оттолкнул Максима:

— Разиня!

Максим пожал плечами.

— Извиняюсь.

Он не знал, что извинился перед Михаилом Щеголевым. И Миша не подозревал, что назвал разиней следователя, который искал его.

Максим сел на велосипед и, свернув в одну из боковых улиц, покатил домой.

XI

Слегка подавшись вперед и не отпуская рук от руля, Максим гнал велосипед вдоль тротуара по проспекту. Но вот он перестал нажимать педали и, проехав метров пять на свободном колесе, занес правую ногу над седлом и соскочил наземь. Телом поддерживая велосипед, Максим снял фуражку, провел рукой по зачесанным назад волосам (волосы были светлые, и седина в висках мало заметна), потом вынул из кармана штанов платок и отер им слегка запотевшее лицо. У него — полные, тщательно выбритые щеки, крупный нос, широкий выпуклый лоб и толстые губы. Толстовка свободно охватывала его широкое туловище, черные штаны были чуть поддернуты и прихвачены над ботинками.

Максим взял у мальчика, выкликавшего на углу последние известия, вечернюю газету, сунул ее в карман, сел на машину и покатил дальше.

Прямая линия Международного проспекта, рождаясь в центре города, в толчее и шуме, пересекает Фонтанку и Обводный канал и мчится дальше на юг, за Путиловской веткой превращаясь в пустынное Московское шоссе. По линии этого проспекта, за Обводным каналом, начинаются места, неизвестные жителю Центрального района. Человек может хоть двадцать лет жить на каком-нибудь Загородном проспекте и не знать, что за несколько остановок трамвая от него, меж скотобойней и Утилизационным заводом, есть, например, Альбуминная улица, упираю-

щаяся одним концом в Международный проспект чуть севернее Новодевичьего монастыря, а другим — в Соединительную железную дорогу.

Но роты, на которых жил Максим, известны всякому, — они не за Обводным каналом. Максим снимал комнату в семиэтажной серой громадине на углу Международного проспекта и Пятой роты, которая зовется теперь Пятой красноармейской улицей. Каждый этаж этого дома разделен не на квартиры, а на комнаты, двери которых выходят в длинные гулкие коридоры.

Двуглазый трамвай гудел, мчась от Лермонтовского проспекта. Тяжелый грузовик скучал невдалеке от тротуара. Шофера при машине не было: он забрался в гущу людей, любопытствующих перед открытым окном в первом этаже одного из домов. Милиционер уныло поглядывал на сбившуюся у окна кучу, все еще надеясь на то, что она сама себя ликвидирует. Но услышав призывной свист, медленно двинулся прекращать возникающий скандал. Максим пошел вслед за ним. Но скандала никакого не было. Был попугай. Он свистел в клетке, на подоконнике, а люди, глядя на попугая, улыбались.

Максим вкатил велосипед в вестибюль, поднял его, поддерживая черную раму правым плечом, внес на четвертый этаж. Там поставил велосипед на каменные плиты коридора и повел к своей комнате.

Комната Максима была необычно для этого дома просторна, чиста и полна воздуха. Двери на балкончик были открыты, окна (их было два) тоже. На большом письменном столе стопками лежали книги и папки с бумагами. Над столом — барельеф с изображением Ленина. У двери справа — кровать.

Максим приставил велосипед к стене. Потом нагнулся: когда он отворял дверь, на пол упало не замеченное им вначале, сунутое почтальоном в щель письмо. На конверте стоял штемпель Архангельска, почерк — Тани.

Таня писала о смерти отца Максима. Отец умер уже неделю тому назад. Он просил, умирая, уведомить сына о своей смерти только после похорон, чтобы тот не вздумал тратиться на поездку в Архангельск. Он уже похоронен — на деньги, вырученные от продажи оставленного им барахла.

Максим узнал смерть двенадцати лет от роду: ему было двенадцать лет, когда умерла его мать. Он очень любил свою мать, гораздо больше, чем отца. Он всегда боялся, что именно с ней случится какое-нибудь несчастье. В детстве, размечая все свои огорчения, он всегда ставил на первое место «мамин живот». Потому что он знал, что у матери — больной живот.

Мать не подозревала о том, что в беспокойстве за нее Максим доходил почти до галлюцинаций. Однажды, например, он с совершенной ясностью увидел, как налетела на мать ломовая телега. С нестерпимой четкостью он увидел возницу, взмахнувшего руками, остолбеневшего, с выпученными глазами и раскрытым ртом, над трупом матери. А мать была тут же, в комнате: она, живая, сидела на корточках перед печкой и разбивала кочергой головешки.

Однажды матери чрезвычайно понравился вареный картофель. Она съела его три полных тарелки. Поев, слегла. Ее тошнило целый день. К ночи ее начало рвать калом. Врач определил воспаление брюшины, сказал, что положение больной безнадежное, и ушел. Мать терпеливо переносила боли, даже почти не стонала. Она, впрочем, была в полусознании. Максима не допускали к ней. Он сидел в соседней комнате и слушал, как тикают большие стенные часы. Медная гиря медленно опускалась к полу в то время, как другая гиря поднималась кверху.

Было четыре часа ночи, когда отец, выйдя из спальни, где лежала мать, подошел к Максиму. Он любил свою жену, мать Максима, он был влюблен в нее — и не дошел до сына: споткнулся на гладком месте и тяжело сел на пол. Максим вбежал в комнату к матери. Мать дохнула при нем только три раза — эти три дыхания Максим запомнил на всю жизнь.

С той поры Максим много раз видел смерть и к смерти стал относиться спокойно. Смерть отца не слишком поразила его. Ничего неожиданного в этом известии не было. Старику давно пора было умирать. Но все же это был отец.

Максим перечел Танино письмо и обратил внимание на последние фразы:

«Погода у нас уж испортилась. Скоро наступит осень. А как в Питере?»

Затем какая-то длинная фраза была тщательно замарана. Максим пытался разобрать зачеркнутое, но не смог. Должно быть, что-нибудь о любви.

Максим не любил туманов даже в природе. Неясность в мыслях была ему ненавистна. А в отношениях его с женщинами была неясность: не строго организованный разврат, не принципиальная свободная любовь, а самая обыкновенная безалаберность.

Максим шагал по комнате, потом подошел к телефону, нажал кнопку, вызвал нужный номер и нужного человека. И когда этот человек — девятнадцатилетняя девушка — отозвался на другом конце провода, он задал вопрос прямо и откровенно. И получил такой же прямой и откровенный ответ. Попрощавшись и повесив трубку, он понял, что в этой неясности виноват был он сам. Он сам отдалял решительный отказ. Ведь уже тогда, когда он уговаривался ехать с этим существом в Архангельск, купил два билета, напрасно ждал на перроне спутницу, напрасно звонил ей с вокзала по телефону и билет ее отдал какому-то избачу в поезде, — уже тогда все было ясно.

И он теперь выгнал из головы это девятнадцатилетнее тело, не вполне, впрочем, уверенный в том, что все это — с руками, ногами, непереносимо серьезным лицом и небольшим портфельчиком — не вторгнется обратно в его душу, вопреки своей и его, Максима, воле.

Максим сел писать Тане ответ. Ответ получился очень нежный. И сама собой вскочила под конец фраза: «Если захочешь когда-нибудь — приезжай ко мне, я всегда рад буду».

XII

Павлуша на следующее после приезда Миши утро откровенно объяснил Лиде, что Миша может подвести их и даже совсем погубить. Лида, которой Павлуша был уже дороже брата, испугалась и согласилась с тем, что Мишу надо как-нибудь выселить из Павлушиной комнаты.

За чаем Павлуша решил переговорить с опасным гостем.

Но никакого разговора не понадобилось. Мише было вполне достаточно поглядеть на лица сестры и ее мужа,

чтобы понять, в чем дело: он прекрасно разбирался не вообще в людях, а в том, как люди относятся к нему — Михаилу Щеголеву. И прежде чем Павлуша успел вымолвить слово, он сказал гордо:

— Я думал пробыть у вас дней пять. Но обстоятельства вынуждают меня выехать сегодня.

Павлуша облегченно вздохнул, и слова из него на радостях выперли недозрелые, плохо испеченные:

— Это очень хорошо. Для вас, конечно. Мы с Лидой очень за вас боимся. Тут строгий управдом — и без прописки. . .

— Что? — презрительно перебил Миша, по-офицерски кривя рот, так что получилось: «чтэ».

— Ничего, — испугался Павлуша. — Это я так себе говорю, потому что. . .

И он замолк, боясь испортить дело.

Мише очень хотелось не сдержать обещания и увезти все, что он собирался оставить мужу сестры в подарок. Но он преодолел себя. Он дал даже сестре немного денег. И, когда он ушел с чемоданом, Павлуша сказал Лиде:

— Ужасно жалко его. Ведь пропадает, правда? И какой неосторожный: если бы не мы — он бы тут прямо так засыпался. . .

— Да, это ты хорошо придумал, чтобы он ушел от нас, — отвечала Лида. — Теперь, может быть, он спасется.

Они оба уже искренно полагали, что, выгоняя Мишу, спасали его, а не себя.

Павлуша резко изменил все свои привычки. Он теперь рано вскакивал с кровати и весь день бегал по городу в поисках хоть какого-нибудь заработка. Он был и там, где некогда служил. Но люди там были уже новые, никто не знал его, а работы не было. Павлуша за невзнос платы был давно исключен из союза, в котором состоял, и теперь его не хотели принять обратно, не веря в то, что он все это время был безработным: он в свое время не отметился в союзе после увольнения. В союз он мог попасть, только получив хоть какое-нибудь место, а места не было. Лида теребила и своих знакомых, чтобы устроить мужа, но ничего пока что не выходило. И, когда однажды вечером Лида сообщила Павлуше о том, что она — беременна, Павлуша не знал: радоваться ему или окончательно впасть

в отчаяние? Жена и будущий ребенок придали его жизни внезапный смысл, и, если бы еще хоть какая-нибудь служба, он был бы вполне счастлив. А службы не было. Деньги, оставленные Мишей, подаренные няней и сбереженные Лидой, таяли. Еще три недели без заработка, и нехватит даже на обед. Павлуша первый раз в жизни чувствовал ответственность не только за себя, но и за семью.

Вера явилась к нему вечером, когда Павлуша, зря пробегав день, уныло шагал по своей комнате, опустив голову и засунув руки в карманы. Лида ушла к своей подруге, которая обещала помочь Павлуше в поисках службы.

Павлуша долго жаловался Вере, а та слушала молча. И только, когда узнала, что Павлуша женился, сказала тихо и радостно:

— Ну? Поздравляю.

Потом она рассказала о своих бедах. Павлуша слушал вежливо, но невнимательно.

— Все плохо, — отвечал он неопределенно, — очень плохо.

На следующий день Павлуша отправился с Лидой записываться в комиссариат: Павлуша настоял на том, чтобы потратить на это дело деньги, — он хотел стать законным мужем. Свидетелями взяли: квартирохозяина Жмыхина и Лидину подругу, которая так приоделась, как будто она сама выходила замуж.

Портрет Луначарского висел в комнате браков. Несколько четверок сидело по диванам и стульям, ожидая очереди, и нельзя было разобрать, кто из них жених и невеста, а кто — свидетели. Жмыхин громко и со вкусом острил, Лидина подруга краснела и трепыхалась, и ожидающие очень удивились, когда оказалось, что невеста — не она, а жених — Павлуша.

Утомленная девица, записав новобрачных, сказала не подымая головы, скороговоркой, без знаков препинания:

— Объявляю брак законно состоявшимся к заведывающему для подписи и печати.

— Тра-та-та, — говорил Жмыхин, спускаясь по лестнице вслед за новобрачными, прищелкивая пальцами, и вдруг ущипнул Лидину подругу за плечо.

На улице Павлуша распрощался со свидетелями, пригласив их к девяти часам вечера на ужин.

Свадебный ужин с вином и пивом свалил с ног и новобрачных и свидетелей.

В это время Вера осматривала свое имущество, уложенное в деревянный сундук. Там лежали всякие нестоящие пустяки. Ценные вещи она всегда носила при себе. В маленьком пакетике, обложенные ваткой, лежали: два золотых колечка, золотые часики и еще кое-что, — все это куплено было на утаенные от мужа деньги. Но ценней этих вещей была для Веры фотографическая карточка, упрятанная на самом дне сундука. Карточка эта изображала счастливое семейство: Вера с грудным ребенком на руках и, рядом, прекрасный молодой человек — механик кинематографа «Фатаморгана». Вера на карточке была совсем не та, что теперь. На карточке она была молода, на карточке она улыбалась, и ямочки на щеках делали лицо ее необычайно приятным и красивым.

Вера, полюбовавшись, сунула карточку обратно, заложила барахлом и закрыла сундук: скоро должен был вернуться Масютин, который пошел за своей женой. Вера еще не сдавалась. Она приоделась и причесалась, чтобы встретить Клаву во всеоружии.

Невысокая, уже раздавшаяся вширь, она явилась перед Клавой в зеленой вязаной кофте, и зеленый цвет удивительно не шел к ее хоть и полному, но в сетке мелких морщинок лицу, обыкновенному лицу пожилой мещанки.

Клава сразу же определила свою и Верину роль. Она, не поздоровавшись, закричала:

— Ужин готов? Почему ужина нет? Я тебя научу. Привыкла бездельничать?

Это было слишком даже для Веры. Но Масютин посмотрел на нее так, как будто утюгом по лицу провел. И Вера покорилась. Она видела, что спорить бесполезно. Надо либо убить, либо подчиниться.

Она поставила самовар, сбила яичницу, вынесла на стол ветчину, сыр, шпроты. А Клава распоряжалась так, как будто вернулось время мадам Лебедевой. Впрочем, Клава была гораздо строже и грубей Павлушиной матери.

Вера ужинала отдельно, на кухне. Туда же была поставлена ее кровать. Вера долго не могла уснуть. Все ей казалось, что вот сейчас стукнет и войдет в дверь Максим,

механик кинематографа. Но давно уже не было ни кинематографа, ни механика, и единственная дочь Веры, Маргарита, уже много лет лежала в земле, на Смоленском кладбище.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIII

Вологда — еще не город. Идешь по улице — чем ближе к центру, тем шире, благоустроенней, чище. И все ждешь: вот сейчас откроется настоящий город с большими каменными домами, шумными улицами, заводами. А города все нет. И снова — гуще грязь, ниже деревянные домики, величественнее свиньи, козы и всякого рода живность, пущенная на улицу из ворот. И уже ясно: именно там, где казалось, что вот-вот начинается город, — именно там и есть центр города, с губернскими учреждениями, магазинами, базаром и единственной гостиницей, в которой номера берутся приезжими с бою.

И люд в Вологде — не городской. Даже рабочие железнодорожных мастерских, кожевенного, маслобойного заводов — и те все почти из деревни.

Деревня тут совсем почти рядом, под боком. Можно пройти, например, за реку, мимо совпартшколы и трудовых школ, в самый конец улицы Чернышевского — от исполкома двадцать минут ходу. Там — исправдом, и на каменной стене его — огромными буквами:

Эти стены воздвиг капитал при царе,
Освящали попы их веками.
Коммунизм победит преступления тьму
И фундамент сметет со стенами.

А сразу за исправдомом — поля, и в деревню ведет из города извилистая дорога. Дороги тут такие, что понять их может тот, кто испытывал их на собственных боках.

Тарантас — не ворона, чтобы перелетать через саженные пропасти. По таким дорогам аэроплан нужен.

Эти поля можно увидеть и не выходя за город — с Соборной горки, что над рекой. Сюда, на Соборную горку, вологжанин считает своим обязательным долгом направить каждого командированного из Ленинграда или

Москвы, хотя командируют людей в Вологду не на поиски красот природы, а с целями государственной важности.

С Соборной горки, правда, не видны ни пьянство, ни поножовщина, которыми славятся вологодские деревни, да и сама Вологда. Но зато, отведя взгляд от близких, обступивших город полей, можно обозреть отсюда все вологодские церкви.

Церквей в городе больше сорока. Куда ни повернешь — везде церковь. Купол заметней вывески у ворот. И не сразу поймешь, что Духов монастырь завоеван комсомолом, а здания духовной академии и семинарии — Губисполкомом и рабфаком. Не сразу узнаешь, что собор Спасителя решено отдать под клуб. Тем более, что духовенства в городе — столько, сколько, наверное, нет больше ни в одном городе России. Куда ни двинешься — везде духовное лицо перейдет тебе дорогу. Был даже в Вологде совсем еще недавно свой святой — купеческий сын Рынин. Теперь он умер, — на могилу его ходят паломники.

Осенним вечером и старожил не выйдет на вологодскую улицу без фонаря. Без фонаря заблудишься, завязнешь в грязи так, что и не выберешься. Без фонаря можно и в Золотуху скатиться. Золотуха — это река, но утонуть в этой реке никак невозможно, потому что воды в ней не больше, чем в ручейке. Однакоже берега Золотухи — высоки, склоны круты, и во тьме эта золотушная канава притворяется настоящей полноводной рекой.

Настоящая судоходная река все же есть тут. Она носит то же имя, что и город, — Вологда.

Вологда — единственный город, который знал, и то наездами только, избач Гриша Масютин. В Архангельске он не бывал, а в Архангельске больше городского духу, чем в Вологде.

Мало еще городов в России. Больших городов — не таких, как Вологда — и десятка не сочтешь. Да и не все из них настоящие, неподдельные, недеревенские.

Гриша крутился у дома, где помещалось Губземуправление, и останавливал прохожих:

— А, товарищи, не знаете, где тут войти? Не пойму я — вот хоть убей. Мне двор надо.

Прохожие пожимали плечами и шли дальше, а Гриша волновался:

— Мне, товарищи, обязательно во двор надо попасть. Приятель там у меня. Большой приятель!

И, добившись, наконец, указаний, он свернул за угол, по набережной Золотухи, и нашел нужные ворота. Он долго путался по двору, пока не попал в подъезд и в квартиру, где остановился приятель его — председатель уездного исполкома, приехавший в Вологду на конференцию. Жена председателя — очень низенькая, совсем худая и неслышная — жила тут постоянно, отдельно от мужа, потому что обучалась в вологодской совпартшколе. При ней был и маленький сын председателя.

Гриша, скинув шапку и шинель, заболтал:

— Тебя и не найдешь. Я и спереду и сзаду — никак не попаду.

Он явился сюда, чтоб пообедать. Прихлебывая суп, говорил:

— Через месяц еду к отцу на побывку. Может и совсем в Ленинграде останусь. Мать-то у меня померла, а брат только доволен будет, если я в Ленинграде останусь.

— Померла мать? — переспросила Гришу жена председателя.

— Померла, — ответил Гриша. — Уж месяц, как похоронили.

Жена председателя взглянула на своего сынишку, потом на Гришу и ничего не сказала.

Председатель, доев суп, отодвинул тарелку и промолвил, вздохнув:

— В городе осторожно надо. Жизнь теперь на девятнадцатый год непохожая. Вот я тебе расскажу: недавно случилось...

Гриша так любил всякого рода рассказы, что мог слушать их сутки под ряд. Он торопил председателя. А тот поднялся, достал бутылку пива, откупорил, налил себе и Грише по стакану и начал:

— Был у нас, давно еще, человек такой — Чубаков. Сын помещика, богатый. Со мной за руку не здоровался — не те были времена. Да и вообще не слыхал и не знал он обо мне, а я-то его знал: как не знать барина! Всех бар в волости знал. В семнадцатом году подожгли его. А сам он убежал. Потом объявился у англичан в Архангельске. Белогвардеец был отчаянный. Я в армии был

в то время, англичан гнал. И надо же такой случай: отрядом своим захватил в плен кучку, а в ней — этот самый Чубаков.

Гриша даже рот раскрыл в восхищении. Жена председателя раскладывала по тарелкам куски жареной телятины и картофель.

Председатель продолжал:

— Суд был с ним короткий. Я ему: «Я, говорю, тебя знаю, ты такой и такой». Он и не отпирается. Сам заявляет свои взгляды: «Отпустите — снова против вас пойду». Повел я его расстреливать. Да сорвалось дело: вырвался он и побежал. Я ему вслед раз пустил, два, — а его уже не слышно, не видно, — за деревья провалился. С досады я тогда сам себя чуть не убил. Уж как я себя не обзывал: и растяпа, и дурак, и всячески. Так хотелось пристрелить пса того бешеного. Больше ничего я о нем и не слыхал.

Гриша был разочарован. Рассказ ему не понравился: конца нехватало. Он недовольно склонился над жарким, орудуя вилкой и ножиком. А председатель задумчиво жевал телятину и молчал. Потом, проглотив прожеванный кусок, сказал вдруг:

— Так до прошлого года больше ничего я о нем и не слышал.

Гриша оживился: значит, конец еще не досказан, самое интересное — впереди.

— А в прошлом году? — спросил он.

— А в прошлом году я был в Питере, — отвечал председатель и снова принялся за телятину. Он прямо злоупотреблял приемом торможения сюжета, но злоупотреблял случайно, не намеренно: просто ему хотелось есть, а кроме того он не видел никаких причин торопиться.

— Что же в Питере? — добивался Гриша.

— Хороший город! — с искренним восхищением сообщил председатель. — Улицы ровные, гладкие и все друг на друга похожие. Первые дни все путаешь: который Октябрьский проспект, который — Володарского. И везде дома. Очень высокие дома. Река Нева тоже есть. Я по ней на пароходике катался. Пароходик — паршивый!

Он замолк, доедая телятину. Потом отер губы платком и вернулся к своему рассказу.

— В Питере я с Чубаковым и встретился. Зашел в столовую пообедать. Большая столовая на Октябрьском

проспекте, угол Троицкой улицы. Жду супа, а от одного из столиков подходит ко мне мужчина в приличном пальто, шапо-кляк, портфель подмышкой, и в бороде, в усах. «Скажите, говорит, вы не были в Красной армии, на Северном фронте?» Отвечаю: «Был». Расспросил он, где был и когда. Я ему все с удовольствием изложил. А он спрашивает вдруг: «А вы не помните, как вы меня расстреливали?» Искренно отвечаю: «Не помню, многих приходилось, забыл». Но говорю добродушно, незлобно: лицо у мужчины мне понравилось. Он мне: «Того, кто вас расстреливал, вы бы, если бы живы остались, на всю жизнь запомнили бы. Ну, а тех, что сами расстреливали, можно и забыть. Верно?» И смеется. Я тоже улыбаюсь, однакоже начинаю сомневаться: к чему он гнет? А он не умолкает: «Раньше я бритый ходил, а теперь — в бороде и в усах. Узнать трудно. Чубакова помните? Я и есть Чубаков». Гляжу на него и молчу. А он: «Теперь-то вспомните, как расстреливали меня?»

Гриша не выдержал и перебил:

— И ты тут же при всех дохлопал его или куда повел?

Он глядел на вещи просто: Чубаков в рассказе председателя получился явным злодеем и врагом, — значит, он должен в конце погибнуть.

Председатель улыбнулся и покачал головой.

— Нет, не дохлопал.

— А кто же его тогда прикончил? — удивился Гриша.

— Да ты слушай! — рассердился председатель. — Помалкивай в тряпочку. Перенес ко мне на столик Чубаков весь свой обед, пива спросил. А мне странно и даже, скажу, жутко стало: вот, думаю, как время течет и непрестанно изменяется. В девятнадцатом году я разве стерпел бы? А тут сижу с Чубаковым за одним столиком в Советской республике и пивом чокаюсь. А он про себя доказывает: как в Архангельск добрался да не уехал с англичанами, остался на родине. А теперь прощен — крупный специалист по лесному делу. Чудеса! Долго мы с ним пиво пили тогда и беседовали. Смешно! Но хоть видел я: покорился он нашей власти, подчинен, и хоть пиво пил с ним, с Чубаковым, но осторожность в разговоре соблюдал вполне. Так вот я тебе и говорю: надо разбираться в людях — с кем можно, а с кем нельзя.

Этой сентенцией председатель и закончил свой рассказ.

Гриша был взволнован. Еще больше, чем прежде, захотелось ему в этот город, где улицы — ровны и гладки, дома — высоки, и недостреленные враги служат крупными специалистами по лесному делу.

XIV

Павлуша добился, наконец, места. Его устроил на службу один из сослуживцев по военной библиотеке. Теперь этот сослуживец был членом правления в одном из ленинградских учреждений. И Павлуша внезапно взлетел на место секретаря правления.

Этот день был одним из счастливейших в Павлушиной жизни. Теперь оставалось только уцепиться, ни в коем случае не терять полученного места. И надо крепко ввинтиться в работу, стать необходимым, чтобы, если тот, кто помог ему, слетит, не слететь вместе с ним.

Павлуша являлся на службу раньше всех, уходил позже всех. Работал так, что даже похудел. И все же он был не уверен в прочности своего положения.

— Два месяца службы во всяком случае обеспечены, — говорил он Лиде, — а дальше видно будет.

Чрезвычайная исполнительность Павлуши была замечена правлением. А Павлуша, видя одобрительное к себе отношение, еще более увеличивал рвение.

Смысл жизни определился для него. Смысл жизни заключался в жене и будущем ребенке. Ради жены и будущего ребенка он и работал, и жил, и готов был на все.

Очень быстро он стал совсем своим человеком в учреждении и со многими, в том числе с председателем месткома, перешел на «ты». Уже сослуживец, устроивший его сюда, гордился им:

— Какого я вам человека рекомендовал!

Особенно любил Павлуша секретарствовать на заседаниях. Писание протоколов доставляло ему настоящее наслаждение. Проставляя в списке присутствовавших на заседании свою фамилию, он думал: «а может быть, эти протоколы послужат материалом для будущего историка?» Тогда историк поблагодарит его, скромного составителя

протоколов. Но особенно он над этим не задумывался. Он вообще гнал от себя честолюбие: честолюбие доставляет слишком много волнений и ведет к опасностям и борьбе. Павлуша умерял свои претензии, чтобы не зарваться, не остаться ни с чем.

Однажды председатель правления пригласил Павлушу с женой к себе на вечеринку.

День выдался холодный. С утра шел дождь, потом перестал. К вечеру вновь потекли по стеклам водяные струйки. Это был перелом: от лета к осени. Надо запасаться дровами на зиму.

Лида очень волновалась, готовясь к вечеринке. Одеться надо было не роскошно, но элегантно. Хороших платьев было у Лиды только два: оба были подарены Мишей. Лида выбрала синее, с серой отделкой, шелковое платье. Чулки решила надеть (как и платье) шелковые — тоже Мишин подарок, и не забыла о духах («Coty»): вот когда они пригодились.

Вышли в половине девятого. Сели в трамвай. Дождь бил в стекла, ветер заносил в вагон водяную пыль, когда, пропуская пассажиров, отворялась дверь на переднюю площадку.

В начале десятого Павлуша и Лида остановились на лестнице перед квартирой председателя. Павлуша надавил кнопку электрического звонка.

Председатель жил в коврах и диванах. Картины на стенах радовали глаз. В самой большой комнате, в углу, стоял рояль.

Павлуша и Лида были встречены очень любезно. Кроме них, гостей было немного: четверо мужчин и две дамы. Все, за исключением одного, были знакомы Павлуше: сослуживцы. Единственный незнакомый имел вид настолько скромный, был так тих и так плохо одет, что его можно было и в расчет не принимать. Незнакомой была еще жена председателя, но она оказалась такой милой и живой, что все сразу же освоились с ней. Одета она была так, что Лида позавидовала.

Разговор шел о служебных делах. Потом, за ужином, затронуты были более важные темы: Англия, общее международное и внутреннее положение. При этом Павлуша высказал ряд очень дельных мыслей, доказывающих неизбежность мировой революции.

— Снова тогда за винтовку возьмемся, — весело сказал председатель. — Вы, Павел Александрович, человек в этом опытный. Мне Федор Федорович говорил, что вы с ним в одном полку сражались.

Павлуша скромно подтвердил выгодную для него ложь устроившего его на службу Федора Федоровича, который так же, как и Павлуша, ни разу в жизни не держал в руках винтовку.

Разговор перешел на вино, с вина — на погоду.

Поев и попив, посидели еще немного за столом. Потом председатель сказал:

— Молодежь жаждет танцев.

И тогда выяснилось, почему был приглашен единственный незнакомый Павлуше гость. Он оказался музыкантом. Он сел за рояль и ударил по клавишам. Гости — в особенности старался при этом Павлуша — отодвинули стол и скатали ковер, обнажив паркет.

Лиду завертел Федор Федорович. Павлуша пригласил жену председателя и завальсировал с ней. Тут он убедился в том, что понравился этой женщине: она сжимала его пальцы сильней, чем полагается. Он понял, что вообще этот вечер был устроен председателем для жены. Жена танцовала, а председатель сидел на диване, покуривал и улыбался.

Павлуша танцовал не плохо. Но когда дело дошло до фокстрота, он спасовал. Жена председателя взялась научить его. Она увела его в другую комнату, и Павлуше показалось, что он вторично лишается невинности.

В двенадцать часов ночи стали расходиться. Толпились в прихожей, разбирая шапки, пальто и галоши. Опять возник разговор о погоде.

— Дождина какой.

— Брр...

Все были сыты, слегка пьяны и довольны. Председатель говорил:

— Через две недели опять устрою. Скучно же, — веселиться надо.

Только один человек не искал пальто и галош: пианист. Он надел кепку, поднял воротник пиджака, сунул руки в карманы штанов и в таком виде вышел под дождь и зашлепал драными подметками по мокрому тротуару. Во

внутреннем кармане пиджака (жилета не было) он уносил честно заработанную трешку.

Павлуша нанял извозчика. Воздух был насыщен водяной пылью. Дождь бил по кожаному верху и фартуку, прикрывавшему Павлушины и Лидины ноги. Лида вспоминала о том, какой она имела успех. Даже сам председатель удивился — какая она хорошенькая. А дамы хвалили платье и завидовали духам. Она сказала, что эти духи — настоящие «Coty» и что подарил их Павлуша.

После этого вечера репутация Павлуши совсем упрочилась: по канцелярии прошел слух, что он прекрасный танцор и что жена председателя влюблена в него. Но Павлуша не был спокоен. Он боялся, что вся эта удача кончится. Он не видел вокруг себя ничего настолько прочного, чтобы можно было раз навсегда опереться и не волноваться больше. Все в мире представлялось ему более или менее шатким, все колебалось, горы готовы были обратиться в пропасти, а пропасти — в горы. И людей, на которых можно было бы положиться, нет. Сегодня, например, председатель — сила, власть, а завтра приведет его жена на скамью подсудимых. Непрочно сидит на своем месте председатель. Мир шатается — это ясно. «Записаться разве в партию? — думал Павлуша. — Но не примут ведь. Да и беспокойство. Нет, лучше отыскать пока что квартиру в центре города». И он приценивался к квартире на Саперном переулке. Меблированные комнаты уже не удовлетворяли его.

За это время он ни разу не был у няни. Он совсем даже забыл о ней, так же, как и о Мише, вещами которого он, впрочем, пользовался с удовольствием.

Миша напомнил ему о себе.

Однажды вечером он явился к сестре. Он был мрачен. Лицо у него было темное, и глаза утратили блеск.

Он вошел, не постучавшись, и остановился на пороге. Лида бросилась к нему.

— Миша! Ты тут? Ты был за границей?

— Нет, — отвечал Миша, — я все время тут.

Он вошел в комнату, затворил за собой дверь. Павлуша, сдерживая недовольство, вежливо пожал ему руку. Он был обеспокоен: этот авантюрист мгновенно может уничтожить все Павлушины достижения. Впрочем, Павлуша

всегда может отговориться неведением: не знал он, чем занимается Миша. А Лида? Лидиному незнанию поверить невозможно.

Миша, поглядывая на Павлушу, не садился на подставленный Лидой стул. Он прекрасно понимал Павлушины мысли.

— Я на минуту, — сказал он, — попрощаться. Уезжаю окончательно.

— Ты должен поесть и отдохнуть, — говорила Лида. — Я тебя так не отпущу.

— Отпустишь, — возразил Миша. — Мне некогда.

— Да останься же! — уговаривала Лида.

Миша взглянул на Павлушу.

Тот промолвил сдержанно:

— Правда, может быть, остались бы? Или совсем уже некогда?

Миша обнял Лиду и поцеловал.

— Больше не увидимся. Ну, будь...

Поставил, не кончив фразы, точку.

Кивнул Павлуше и ушел.

Лида впервые рассердилась на Павлушу.

— Что ж ты стоял как пень? Ведь видишь — человек пришел, брат жены. А ты его прочь гонишь. Он столько для меня сделал, что ты не имеешь права так вести себя с ним. Ведь пропадет же Миша!

Она заплакала.

— Да ведь я уговаривал, — оправдывался Павлуша, удивленно подымая плечи и разводя руками, — я его никуда не гнал.

— Гнал! — кричала Лида. — Так уговаривать — это все равно, что гнать. А под чьим одеялом спишь? Чье белье носишь? Забыл, что Мишино? А духи кто мне подарил? Я уж от стыда, что ты до сих пор даже подарка мне не сделал, говорю, что это ты мне духи подарил. Миша — человек, а ты кто?

Павлуша оскорбленно молчал.

Он, действительно, с нетерпением ждал ухода Миши. Но теперь, когда тот ушел, ему уже искренно представлялось, что он, напротив, всячески уговаривал Мишу остаться и вообще был совершенно по-родственному любезен.

Внезапное желание явилось у него: напомнить Лиде ее жизнь до замужества. Ведь она была проститутка. А он дал ей семейное счастье, работает на нее. Как она смеет кричать? Но он удержал злые слова; он не любил ссориться. Да и Лида, конечно, не девицей вышла замуж, но профессиональной проституткой никогда не была. А с Мишей он, наконец, просто даже идеологически не согласен. Он не станет доносить на него, но принимать в своей комнате контрабандиста он не обязан. И Павлуша думал уже о том, как бы поскорее перебраться в Саперный, чтобы раз навсегда обезопасить себя от подобных визитов: там уж Миша их не найдет.

«Почему я обязан дружить с контрабандистом?» — думал он с чувством собственного достоинства, которое после поступления на службу стало все сильней проявляться в нем.

Мишу в это время трамвай перевозил уже через Неву по Биржевому мосту.

Мише приходилось плохо. За границу уйти ему не удавалось: те, кто переправлял его, были арестованы. Арестованы были и его помощники в Ленинграде. Те, кто избежал ареста, исчезли неизвестно куда. Его искали. Повели бы на допрос и Лиду, если б он не сохранил в полной тайне от всех то, что в Ленинграде у него есть сестра. Он спасался сейчас у одной из своих ленинградских женщин, на Боровой улице, но совсем не уверен был, что не придется вскоре опять менять место. Остроумней всего было бы сейчас смыться в провинцию, но тогда терялись всякие надежды на заграницу: западная граница была незнакома ему. Да и в провинции не спастись. Самое главное, что мешало ему предпринять что-нибудь решительное, — это овладевавшее им равнодушие к себе, к своей судьбе, ко всему на свете. Все вокруг, так же как и сам он, было омерзительно ему. Даже ненавидеть — не то, что любить — он не всегда был способен. Иной раз ему хотелось самому явиться к следователю — он спасался просто по привычке.

К сестре он зашел, чтобы проверить отношение к себе и поглядеть, можно ли рассчитывать на помощь. Он увидел то, чего ожидал: испуг Павлуши. И сейчас, в трамвае, ненависть к Павлуше прогнала в нем равнодушие. Если б

Павлуша откровенно выгнал его, Миша, может быть, и не так ненавидел бы мужа сестры. Ему отвратительней всего была вежливость, осторожность, сдержанность Павлуши.

«Только таким сейчас и жизнь — приживалам революции, героям передышки!» — горько думал Миша, этим стараясь оправдать себя.

XV

Сухонький старичок в драповом пальтишке и коричневой военной фуражке был давно знаком Масютину. Масютин знал и жену его, и детей, и внуков. Старичок принес шилья и кольчики для сапог. Старичок не скрывал того, что товар этот — контрабандный: ведь не в первый раз Масютин брал у него. Старичок хихикал, подергивая седенькой бородкой, и потирал руки. А Масютин, осматривая товар, молчал. Именно шилья и кольчики для сапог он вез в Москву, когда его арестовали.

— Тащи на рынок, — сказал он, наконец. — Не в магазин, а где всегда. Понял? В два часа.

По дороге на рынок он зашел в пивную и оттуда позвонил по телефону помощнику Максима. Объяснив, когда и где надо схватить старикашку с шильями, он повесил трубку и, довольный, направился туда, где ждали его разнообразнейшие запахи и звуки родного рынка. Он торопился, потому что шел дождь. Старичок был уже не первый, о ком Масютин сообщил в контрабандный отдел.

Торговец не знал, что как раз в то время, когда он по Горсткиной улице подходил к рынку, перед замком, висевшим на двери его квартиры, остановился Гриша.

Мокрая шинель топорщилась на парнишке. Фуражка со сбитым козырьком потемнела от влаги. Гриша поставил корзину, в которой уместилось все его имущество, на площадку лестницы и сел на нее.

Ждать ему пришлось долго. Отец с Верой появились только в пять часов. Клава уже не жила у торговца.

Масютин глядел на Гришу с таким удивлением, словно никак не мог понять, что этот рослый широколицый парень — его, Масютина, родной сын.

— Приехал? — сказал он наконец.

— Приехал, — радостно отвечал Гриша.

— А мать в деревне? — строго осведомился отец.
— Мать померла, — объяснил сын.
— Померла? — спросил отец.
— Померла, — подтвердил сын.

Масютин отворил дверь и обернулся к Грише:
— Сапоги сыми — наследишь.

Гриша приехал в Ленинград накануне наводнения. Наводнение не удивило его. Он называл его спокойным словом «половодье», что раздражало отца его — горожанина, давно забывшего свое крестьянское прошлое. Для этого горожанина не существовало ни неба, ни солнца, ни полей, ни лесов. Для него была хорошая погода, в которую торговля шла хорошо, и плохая погода, не пускавшая покупателей на рынок; за несколько кварталов, в которых он жил и торговал, он охотно отдал бы все Муромские леса; грохот первого трамвая заменял ему утреннее птичье щебетанье. Вторжение в его торговые дела какой-то там давно побежденной Невы, существовавшей до сих пор только для летнего купанья и поездок на острова, — это вторжение возмущало его.

Неожиданная буря грозила городу разрушением. Тревожные выстрелы с верков Петропавловской крепости напоминали дни наступления Юденича. Нева, Мойка, Екатерининской канал, Фонтанка разливались по улицам. Даже маломощная Охта, даже Черная речка старались навредить как можно больше. Но поколение, на которое ополчился западный ветер, гнавший Неву от моря вспять и превративший улицы и площади Ленинграда в реки и озера, — это поколение было привычней ко всякого рода катастрофам, чем то, которое во времена Пушкина пыталось упрекнуть Петра в неудачном выборе места для русской столицы.

Недели через две после наводнения Гриша однажды вечером отправился к Павлуше: он успел уже познакомиться с Павлушей, по старой памяти зашедшим как-то к Масютину.

Павлуша переехал уже на Саперный. Отворив дверь Грише, он провел его к себе в комнату. Комната его, как и вся квартира, была обставлена небогато. Даже занавесок на окнах еще не было. Павлуша вынул из кармана толстовки подаренный женой портсигар, открыл его, предложил Грише. Но Гриша оказался некурящим.

Павлуша зажал папироску зубами, чиркнул спичкой, затянулся.

— А жены дома нету? — спросил Гриша.

— Нету, — отвечал Павлуша, — она в театр ушла.

— Жалко, — сказал Гриша. — А я поглядеть хотел. Говорят — красивая.

Павлуша помолчал.

— Я тоже жениться хотел, — сообщил Гриша. — Совсем уж и присмотрел, и все — только невеста не согласилась. Говорит — молодой. А какой я молодой! Я уж знаю. Я...

— Ну как с отцом живется? — перебил Павлуша.

— С отцом? — оживился Гриша. — Вот хоть убей — не разберу, кто он — мой отец. Вождей портреты по стенам развесил, а сам — торговец, ларек на рынке держит. Я так присмотрелся — вижу, будто с нашими работает. Только секретно. Но скажу — злодей он, бес, хуже беса.

Павлуша сочувственно покачал головой.

— Он Веру бьет — во как бьет! — продолжал Гриша. — Я намеревался на защиту выступить, так в профан попал: это, говорит, моя жена, а не твоя. Прямо кипячий у него желудок — оттого и дерется, вот хоть убей.

— Да, поговорить с ним надо, — сказал Павлуша.

— Поговорить! — засмеялся Гриша. — Да у него глина, а не голова. Он такой глупый, что глупее и нету. Разве он понимает, что умственно жить надо! Люди говорят, к примеру, про сено, а он про шкаф. Он только и знает, что кулаком по губам. Бес он, хуже беса.

— Ужасно, — сказал Павлуша.

— Для вас это — ужасная картина, — подхватил Гриша, — а для меня уж и ничего. Я так думаю, что мне в деревню надо назад ехать.

— Это, пожалуй, самое правильное, — согласился Павлуша.

— Только не хочу я в деревню, — продолжал Гриша. — Уж тогда назад в Ленинград и не попадешь никогда. Я так думаю, что мне надо тут оставаться. Поживу, осмотрюсь и уж найду, как выбиться. Я ведь сейчас как живу? Я случайно живу. Я в городе еще не разбираюсь. А месяц-другой поживу — и разберусь. Вот я и думаю, что мне в деревню назад не надо ехать.

— Да. Пожалуй, что и не надо, — подтвердил Павлуша.

— Ведь дело-то в чем? — говорил Гриша. — В деньгах

дело. Работу мне надо найти. А о деньгах сейчас вопроса нету. Отец меня сейчас кормит, костюм мне купил да ботинки, да шапку. Только за деньги я ему потворствовать не буду. Я ему все возвращу. Дай срок. А если насиловать станет — так я хоть к вам уйду. Вы — молодцы, а уж я вам что потратите — все верну.

— А может быть, все-таки вам лучше в деревню ехать?— испугался Павлуша.— Верней все-таки.

— Может быть, лучше в деревню,— согласился Гриша.— В деревне — хорошо. Вот в городе и не танцуют вовсе. А у нас в деревне... Вы знаете, как в деревне-то танцуют?

И он запрыгал по комнате, приговаривая:

— Пары-пары-гопс! пары-пары-гопс!

И, радостно улыбаясь, продолжал:

— А в деревню я не поеду. Я город ужасно как люблю. Я приятелям-то деревенским, которые со мной работали, не пишу, что отец торговцем оказался. Они тогда сразу скажут: погиб Гриша, на частные деньги живет, буржуй. А я не погиб. Я такой же. Дай срок. Осмотреться надо.

Гришу слегка беспокоило то обстоятельство, что Павлуша не предлагает ему ужина. Наконец, он не выдержал:

— А чаю нет у вас? Пить хочется. Если нельзя — так вы так и скажите. Я — ничего, я — понимаю...

— Я сейчас поставлю,— отвечал Павлуша и пошел на кухню.

За чаем Гриша продолжал болтать:

— Вы извините, что я к вам заявился. Только у меня в городе нет никого. Был один — в поезде я с ним познакомился — только вот искал-искал его адрес, так и не нашел, вот хоть убей. А хороший был человек. Я портреты вождей вез и билет потерял, меня уж и повели, а он выручил. Вот спасибо. И не чужой — наш. Это уж я видел. А отец мой совсем не наш — это уж я вам наверное говорю.

— Да, он не наш,— согласился Павлуша.

— Вот вы — молодцы, вы хоть из чистых, а наш,— польстил хозяину Гриша, но тут же добавил: — я хитрить или, к примеру, лгать не умею. Я так думаю, что, может быть, вы и не наш.

Павлуша неопределенно усмехнулся. Гриша поглядел на него вопросительно. Потом спросил:

— А вы как считаете?

Павлуша пожал плечами, улыбаясь снисходительно, словно ниже своего достоинства считал отвечать на такой наивный вопрос. Потом сказал иронически:

— Да уж, конечно, не наш. Контрреволюционер, враг — правда? Или мелкая буржуазия? Да?

Гриша засмеялся.

— Явно мелкая буржуазия, — продолжал Павлуша, — квартира, жена — все признаки.

Усмешка, с которой говорил Павлуша, должна была показать Грише, что все это — вздор.

Гриша задумчиво поглядел на Павлушу.

— А отец мой — враг. Бес он — вот кто. Меня боится. Не знает, с какого боку взять. Только на торговлю я не пойду. Это уж мне никак невозможно. А что он меня кормит сейчас — так я ж ему сын, и до трех лет он меня только и кормил.

У Павлуши разболелась голова, и он рад был, когда Гриша, выпив три стакана чаю и съев фунт хлеба, ушел наконец.

Павлуша долго шагал по квартире, думая о себе. Слова Гриши опять напомнили ему то, что он обижен, оттеснен на самый задний план жизни. И то он злился на события, которые отвели ему такую подчиненную, унылую и жалкую роль, то на родителей, на Веру, на все, что создало его характер. Каков смысл его жизни? Жена и дети — больше ничего. А стоит ли жить ради этого? Но ведь он молод, у него есть время изменить свою жизнь. Он вспомнил Мишу. Даже у Миши жизнь была интереснее. А как Павлуша поступил при встрече? Не помог и не погубил, а просто отошел в сторону. А надо бы помочь аресту Миши. Надо бы...

Голова у Павлуши мучительно болела.

«На кой чорт родился я? — думал он. — Ни то, ни се. Вот возьму назло себе и донесу на Мишу. И вообще надоело. Скука такая. Совсем я другой получился бы, если бы не революция».

Лида, вернувшись, сразу же поняла, что Павлуша расстроен чем-то.

Она тихо приготовила ужин, ожидая, что, как всегда, муж расскажет ей свои огорчения. Но на этот раз

Павлуша не объяснил ей, в чем дело, и даже на ее осторожные вопросы не ответил ничего. Он сам плохо понимал свое состояние.

XVI

Справка о Михаиле Щеголеве, доставленная Максиму помощником, подтверждала слова Розенштейна. Щеголев, действительно, до двадцать второго года был коммунистом. В феврале двадцать второго года он в пьяном виде разбил витрину большого гастрономического магазина, а когда выскочил к нему владелец магазина, застрелил владельца. Он был за это отдан под суд и исключен из партии. Ему удалось бежать из допра. И вот теперь он вынырнул в качестве контрабандиста.

Дело длилось уже долго, а Щеголев все еще не был пойман. Похоже было на то, что ему удалось скрыться за границу. Но розыски велись неустанно. И хоть много других дел нагромождалось у Максима, но о Щеголеве он не забывал.

Как раз о Щеголеве думал он, когда в дверь его комнаты раздался легкий стук.

— Кто там?

Максим подошел к двери, отворил и увидел Таниного мужа.

— А! — воскликнул он. — Давно приехали? Входите, милости просим.

— Здравствуйте, — отвечал гость, пожимая Максиму руку.

Он вошел в комнату с такой осторожностью, словно тут ждала его засада.

— Вы простите. Может быть, я помешал вам?

— Что вы, товарищ Куликов! Нисколько. Скиньте пальто, присаживайтесь. Что вы!

Гость медленно, словно сомневаясь, стоит ли делать это, стянул пальто, повесил на гвоздь у двери, в рукав пальто сунул фуражку и обернулся к Максиму.

— Вот и явился к вам. Я вас ненадолго займу. Дело пустяковое (он сконфуженно улыбнулся); я три раза к вам заходил, все дома не заставал. Я в гостинице тут остановился.

— Присаживайтесь, пожалуйста.

И Максим сам опустился в кресло у письменного стола. Нежданый гость сел на стул, ссутулился, ладонями рук опершись в колени.

Максим хотел спросить его о Тане, но, еще плохо понимая почему, удержался. И удержавшись от вполне естественного вопроса, стал нервничать. Вынул коробку «Сафо», закурил.

Гость молчал, оглядывая комнату.

— Вы обедали? — спросил Максим. — Обедали? Ну так от винишка хоть не откажитесь. Закуска есть кой-какая. А?

Гостю явно было тяжело и неловко. Максим видел, что водка необходима для откровенного разговора.

— У нас, на лесопильном заводе, все по-старому, — сообщил секретарь ячейки, пытаясь завести приличную беседу. — К осени сокращение прошло. С жилой площадью беда — бараков нехватает. Иной рабочий за пять-семь верст от завода живет — куда ж ему в клуб?

— Да, это всегда у вас было, — отвечал Максим, выставляя на стол все нужное для выпивки, — я помню.

Он наполнил стопочки, чокнулся.

— Ваше здоровье!

Гость выпил, закусил миногой и начал снова:

— У нас, на лесопильном заводе...

Было ясно, что Куликов говорит о лесопильном заводе уже с некоторым азартом, словно специально явился к Максиму для того, чтобы рассказать о работе всех рамосмен завода. Но Максим уже не сомневался в причине приезда Таниного мужа. И водка помогла ему перевести разговор на то, что казалось ему в данный момент главным:

— Что вы о Тане ничего не скажете? — перебил он гостя. — Как она?

Куликов откинулся на спинку стула, поглядел на Максима. Максим ждал ответа с тем же чувством, какое бывало у него, когда преступник еще не сознался, но вот сейчас сознается во всем. Профессиональным чутьем Максим догадывался, что гость выложит сейчас все до дна.

— Чудачка Таня, — отвечал секретарь ячейки, замолк и опорожнил еще стопочку. Лицо его посерело, отяжелело;

челюсти двигались, медленно разжевывая миногу. Куликов посидел так неподвижно, потом поднял голову и, словно паутина спала с его лица, посветлел и оживился. — Чудачка! — воскликнул он. — Ведь уж сколько вместе живем, а вдруг — запивает, бузит. Я ей доказываю, что, мол, да, что, мол, забудь, а она — нет, мол, оставь. Это очень вредное положение. Работа валится. Из-за нее я и явился к вам.

Никогда еще Максим не видел этого человека таким взволнованным.

— Очень вредное положение, — повторил Танин муж. — Мы кто? Мы — береговой народ. Повоевали, походили по стране, пожгли что надо, а теперь сидим, теперь строим. Это матросу — пустячок. Ему все — ни в какую. Сел на пароход, уехал — никакая сила! (Эти буйные выражения были совсем необычны для Куликова.) А нам все важно. Нам — на месте сидеть. Нам и комната важно, и стул — важно, а уж с кем жить, уж жена... Если жена вчистую измотает, так как же на работу выйдешь? Я доказываю, что, мол, да, но надо забыть. Работа валится. Я понимаю, конечно, не хочешь — так уж...

Куликов замолк, опрокинул в горло еще стопочку, встал и зашагал по комнате. Он был теперь совсем не похож на того неразговорчивого человека, который так неприветливо прощался с Максимом в Архангельске. Все, что накопилось в нем за последние недели, перло сейчас наружу. Освобожденные слова еле успевали складываться в осмысленные фразы. Максим следил за ним с любопытством.

— Я понимаю, — вновь заговорил Куликов, — другой смеяться будет: из-за бабы, мол, то да се. А я так скажу: время сейчас трудное, во всем путаешься, ото всего скучаешь; с человеком сейчас осторожно надо, внимательно, — со своим-то человеком. Это в гражданскую войну легко было: винтовку в руки да и пали. Теперь палить не приходится, теперь строить надо. Я — простой человек, а заботу к людям знаю, трепаться не хочу. И не могу я без Тани. Конечно, пусть к тебе идет, и что звал ты ее — я тебя не обвиняю. Конечно, свободно надо рассуждать... понимаю...

И Максим с ужасом увидел, что слезы встали в глазах гостя и вот-вот покатятся по щекам.

Он отвернулся. Куликов, замолчав, опустился на стул. Сказал тихо:

— Надо нам решить с Таней. Вот и явился я к вам.

— Это Таня сама должна решить, — отвечал было Максим, но тут же оборвал себя, замолк. Он завел с Таней нежную переписочку так себе, по привычке, и в общем совсем ему неважно было, вернется к нему Таня или нет. Даже, пожалуй, лучше, если не вернется. Обычная безалаберность — не больше того. И еще: он уважал Куликова за то, что тот был непохож на него, Максима, за его ясность, твердость и простоту. И совсем ему не хотелось разрушать характер, которым он любовался в Архангельске.

— Должно быть, я виноват, — проговорил он и почувствовал облегчение: откровенность прочищала душу. — Напрасно я переписывался с Таней. Знаете что?

Он усмехнулся: мысль, которая возникла у него, показалось ему хоть и диковатой, но оригинальной и остроумной.

— Знаете что? — повторил он. — Надо разрубить это раз навсегда. Как вы полагаете: что, если сказать Тане, что я умер?

Он засмеялся весело.

— Скажите, что я умер, скоропостижно скончался от — ну хотя бы от разрыва сердца. И все тут.

Куликов угрюмо смотрел на него. И смех Максима оборвался. Максим с огорчением почувствовал, что он этому серьезному человеку кажется шутом. Он умел быть серьезным и внушать доверие людям, не любящим шуток, но все же в нем было чересчур много живости, и приятели в юности называли его треплом. Его шутка пришлась некстати. Он боялся, что, кроме всего, Куликову обидным могло показаться его легкомыслие и готовность отказаться от Тани. Куликову, несомненно, приятней было бы встретить сопротивление. И, конечно, он, Максим, так легко решает вопрос потому, что к Тане он совершенно равнодушен, — ему теперь ясно это.

Он оскорбил гостя. Надо было исправиться.

— Я не скрою от вас, — сказал он с глубочайшей серьезностью. — Я очень люблю Таню. Но я... — он запнулся, придумывая мотивировку.

Куликов усмехнулся и неожиданным ходом одержал над Максимом полную и окончательную победу.

— Вам Таня — это ничто, — перебил он. — Я теперь вижу. Я не драться за нее приехал, а только это и узнать. И если вы что подумали (было ясно, что Куликов понял мысли Максима об оскорбительности легкомыслия и приятности сопротивления), если вы что предположили, то это неверно. А правда то, что я Тане — муж, и трепаться нам некогда.

Это уже похоже было на выговор. Максим нахмурился. Куликов продолжал приказывающим тоном:

— Писулек вы ей больше не шлите. Я не кобель какой-нибудь, — я простой рабочий человек.

Максиму было стыдно, как мальчишке. Поэтому лицо его стало мрачным и даже жестоким. Он сказал злобно:

— Конечно, не стану писать.

Куликов сразу же смягчился. И теперь видно было, что он совсем не уверен был в успехе своего визита.

— В разных местах, а одно мы сейчас дело делаем, — говорил он, натягивая пальто. — А между товарищей все договорить можно. Сошлись и договорились. Ты парень на совесть.

Надев фуражку, он помедлил у двери, начал было:

— У нас, на лесопильном заводе...

Замолк, снова сказал:

— А я боялся, что у нас, на лесопильном заводе...

Махнул рукой и вышел в гулкий коридор.

XVII

Клава — из богатой сенновской семьи. Ее выдали замуж не за человека, а за енотовую шубу и прекрасные штиблеты. Енотовая шуба и прекрасные штиблеты Щепетильникова покорили родителей Клавы: так хорошо одетый человек не мог оказаться бедняком. И действительно, Щепетильников был богат.

Свадьба была отпразднована торжественно и пышно. За обильный пир сошлись свои люди — сенновцы. Только один коммунист попался среди гостей. Но этот коммунист испортил праздник. Когда подвыпившие гости издевательски запели «Интернационал», коммунист встал,

оглядел поющих и присоединил свой строгий голос к пьяному хору. И тогда торговцы испугались. Все, без исключения, встали, и начатое для издевательства пение было закончено всерьез — испуганными, дрожащими голосами. И все опустились на свои места только тогда, когда сел коммунист. И это потому, что он был для торговцев представителем власти, которая доказала свою силу и которой покоряться было необходимо и неизбежно.

Пир продолжался в угрюмом молчании. Как будто собрались тут на последний ужин осужденные на смерть преступники, жизнь которых уже уходит из реальности. Не сразу гости и хозяева вернули себе веселье, с которым начали свадебный пир.

Мишу Клава увидела у мужа вскоре после свадьбы. Его повадка и речь восхитили ее. Этот человек совсем не похож на тех людей, среди которых она выросла. Он показался ей лермонтовским Печориным, который поразил ее воображение еще в юности. И однажды Клава, уйдя с ним, вернулась только к утру: Миша не отказывался от красивых женщин. Побои мужа Клава приняла как должное, но когда Миша, приезжая в Ленинград, вызывал ее, она являлась к нему немедленно, готовая на все ради него — на любую жертву и любое унижение.

В этот его приезд Клава сняла по его приказу комнату на Боровой улице, и тут поселился Миша после того, как был изгнан Павлушей от сестры.

Теперь, когда Миша был в опасности, Клава хотела спасти его. Для этого она после ареста Щепетильникова ушла к Масютину. Но и недели не прожила она с торговцем. Она только узнала от него все, что ей нужно было для Миши: Масютин обо всем рассказал ей, хотя и дал Максиму подписку в том, что в строжайшей тайне будет хранить отношения свои с контрабандным отделом.

Масютину Клава объснила свой уход просто:

— Не буду я жить с тобой, пока у тебя эта старуха. А прогнать ее рано еще.

И ушла к Мише.

Миша разрешил ей помогать ему: он был теперь совсем одинок. Но спасаться ему не очень хотелось. Он становился все более и более равнодушным к себе, к своей

судьбе, ко всему на свете. Он хотел спастись в этом равнодушии. Но ему странно было: он, за убийство торговца исключенный из партии, сам теперь стал торговцем, и торговка его любит и спасает. Как это швырнуло его в одно склизкое месиво с сенновцами? Миша жил на счет Клавы и уже начинал ненавидеть ее за это.

Клава рассказала Мише обо всем, что узнала от Масютина, сообщила даже телефоны и адреса Максима, его помощника и агента, с которым тоже сносился Масютин. Она ждала благодарности и, главное, ждала от Миши решительных действий, в результате которых все враги будут побеждены, препятствия преодолены, и она окажется с Мишей в Париже или в Нью-Иорке, — вообще там, откуда явился Миша на Сенной рынок и куда так стремилась она.

Но Миша равнодушно выслушал ее, ничего не ответил и ничего не предпринял. Клава с ужасом почувствовала, что равнодушие его уже не от силы, не от высокомерия, а от беспомощности и бессилия. Она раньше Миши поняла, что он погиб, что спасти его, пожалуй, и невозможно. Она стала спокойнее присматриваться к нему, изучать его, и чем хладнокровнее оценивала его, тем больше отстранялась, отходила от него.

Миша и сам ясно видел конец своей жизни. Он сам прекрасно мог объяснить причины своей гибели, мог доказать, что гибель его закономерна, мог сам против себя произнести обвинительную речь. Он все понимал уже, но, кроме смерти, никакого выхода для себя не видел. Если бы два года тому назад все было для него так же ясно, как и сейчас, — тогда другое дело. А теперь было уже поздно.

Миша с отроческих лет презирал самоубийц, и мысль его, хотя, казалось, все уже было решено и продумано, боролась все-таки со смертью, искала выхода. Кроме Клавы, рядом с ним не было никого. Только профессиональные преступники могли принять его — такого же, как и они, преступника.

Миша изменился, ослабел. Равнодушие, овладевая им, отнимало у него не только высокомерие, но и всегда отличавшую его и даже на войне сохранившуюся чистоплотность. Клава с отвращением замечала, что он подолгу

не меняет белья, что он редко моется, что изо рта у него пахнет.

Все, что осталось ей от Щепетильникова, она продала, а деньги истратила на Мишу. И она готова была хоть себя продать для Миши, но не для теперешнего Миши, а для прежнего. Этот Миша был ненужен ей. Он уже начинал возбуждать жалость, а Клава родилась не для того, чтобы жалеть мужчин. И ей уже неясно было, зачем она заботится об этом полумертвеце.

Однажды утром, когда Миша не встал еще с кровати, Клава резко сказала ему:

— Пожил — и уходи. Хватит!

Миша не шевельнулся. Он вообще последнее время ни на что не обращал внимания. Клава, схватив его за плечи, злобно дернула его.

— Тебе говорят? Пожил и уходи. Живо!

Тогда Миша понял, чего требуют от него, но отношения своего к этому он не обнаружил никак. Он попросту оделся и двинулся к выходу.

Клава жестко сказала вслед ему:

— Помирай на улице. В моей комнате смердеть не позволю.

Миша не обернулся. Дверь захлопнулась за ним, и Клава осталась одна. И тогда она заплакала, потому что все-таки ей тяжело было расстаться с Мишей.

В жилетном кармане у Миши завалялась кой-какая мелочь. Трамвай довез Мишу до Геслеровского переулка, но Лиды там не было. Узнав новый адрес сестры, Миша отправился на Саперный. Для чего он все это делает — он не думал. Он действовал механически, как автомат. И только у подъезда вспомнил о Павлуше. Он присел у ворот на тумбу и долго сидел бы так, если бы из подъезда не вышли Лида и ее муж. Миша бессмысленно двинулся вслед. Влез за ними в трамвай.

Клава недолго горевала о гибели своего героя. Она имела теперь некоторый опыт и уверена была, что в следующий раз не ошибется. У нее был уже на примете один человек, — правда, хромой, но зато германский подданный, с которым она познакомилась у Европейской гостиницы. Но с ним дело только начиналось. Она решила использовать пока что хоть Масютина, извлечь из него деньги.

Она явилась к Масютину на рынок. Не поздоровавшись с Верой, спросила:

— Что? Все так же живешь?

Масютин отвел ее в сторону, взял за руку, но она оттолкнула его. Сказала презрительно:

— Эх, ты! Такие б мы с тобой дела делали! А ты даже старухи с щенком прогнать не умеешь. Тоже человек!

И пошла прочь. Торговцы, рынок — все это опротивело ей. Все это — мелко, пакостно, скучно. Даже денег не стоит брать отсюда. Клава мечтала о другом: о Европе, о салон-вагоне, океанских пароходах. Она зачитывалась не только Лермонтовым, — иностранные романы тоже увлекали ее. Немец увезет ее в Германию, а там — видно будет. Она и не подозревала о том, что посеяла своими словами в душе жадно глядевшего ей вслед торговца.

XVIII

На пловучку, где распродавалась конфискованная контрабанда, Павлуша отправился с Лидой. Аукцион уже начался, когда они пришли. Помещение портовой таможни было полно народу. Павлуша пробрался к первым рядам. Молодой человек, с пенсне на остром носике, в распахнутом рыжем пальто, выкликал, щелкая на счетах, цены, а кудрявая девица, подымая высоко над головой руки, показывала покупателям вещи, каждая из которых имела свою авантюрную биографию. Было душно и дымно.

— Ткань шелковая, три метра — девять рублей! — выкликал молодой человек. — Прямо — десять рублей. Слева — одиннадцать рублей! Еще прямо — двенадцать рублей. Ткань шелковая, три метра, слева — тринадцать, прямо — четырнадцать рублей. Еще раз прямо — четырнадцать рублей. Ткань шелковая, три метра — четырнадцать рублей!

И счеты щелкнули, покончив с тканью и забыв о ней. А уже по залу меж рядов таможенный служащий проносил поношенный мужской костюм, и десятки рук щупали сукно, соображая, стоит ли биться за него.

— Мужские носки шерстяные, одна пара — один рубль! — выкликал молодой человек.

Недопитая бутылка шерри-бренди сменила носки. Затем появился в руках девицы мужской костюм.

— Мужской костюм шерстяной, три предмета — тридцать рублей! Справа — тридцать пять, слева — сорок. Мужской костюм шерстяной, три предмета...

Брюки свисали на лицо кудрявой девицы. Павлуша ждал шелковых чулок, о которых мечтала Лида. Когда в руках у кудрявой девицы появилась самая обыкновенная мочалка, он усмехнулся, как и все в зале. Молодой человек трижды выкликнул цену, но никто не отозвался. Никто не хотел купить мочалку, хотя это была хорошая мочалка и стоила, несомненно, больше назначенных за нее тридцати копеек.

Наконец в руках у девицы оказались шелковые чулки. Но продавались сразу восемьдесят три пары, и Лида чуть не заплакала, потому что нужна была только пара. Незнакомый Павлуше маклак закупил все шелковые чулки. И Лиде пришлось простоять в тесноте и духоте еще полчаса, пока снова не показаны были покупателям шелковые чулки — на этот раз только две пары. Их купил Павлуша. Павлушу и Лиду, пробиравшихся к выходу, догоняли выклики.

— Какао, одна банка, полкило...

И не успел еще аукционист назвать цену, как тонкий детский голос перебил его:

— Двадцать рублей!

При общем хохоте банка какао досталась ребенку. Не смеялся только отец мальчика, заплативший по вине сына втридорога.

Павлуша и Лида по сходням вышли на набережную. И тут случилось неожиданное. Черноволосый человек, стоявший у сходен, обратился к ним:

— Подайте копеечку!

Павлуша оглянулся и тотчас же узнал Мишу. Он шагнул вперед, стараясь, чтоб Лида не увидела, но Лида уже, обернувшись, смотрела на брата. Миша издевательски глядел прямо в глаза шурину. Повторил:

— Подайте копеечку бывшему коммунисту!

Такого цинизма Павлуша еще не встречал в жизни. Губы его дернулись, холодная дрожь прошла по спине. Он растерялся и, не соображая, что делает, потащил Лиду прочь. Лида упиралась, и он грубо толкнул ее вперед. Потом, бросив Лиду, повернулся к Мише и сказал:

— Мой совет вам — отдаться в руки правосудия. И тогда я готов вам помочь. Я принципиально не могу подать руку врагу Советской России.

— Вы так думаете? — спросил Миша.

И Павлуше показалось, что он уж не издевается над ним. А Лида успокоилась немного, думая, что начинается мирный разговор.

— Да, — отвечал Павлуша, — и чем скорее, тем лучше.

Тогда с очень серьезным и даже глубокомысленным видом Миша произнес матерную брань, смакуя каждое слово. Павлуша опешил. А Миша, злобно прищурившись, прибавил:

— Хорошо. Я уж и о духах сообщу, и где ночевал, а также...

Он по привычке своей поставил точку, не кончив фразы.

Павлуша побледнел.

— Негодяй! Из вашего шантажа ничего не выйдет. Вы не сможете доказать.

И пошел прочь. Лида устремилась за ним: с этим человеком она была теперь гораздо больше связана, чем с братом.

— Твой брат — мерзавец, — говорил Павлуша, обождав жену у трамвайной остановки. — А ты еще спорила со мной. Он — мерзавец и шантажист. Я еще был слишком добр с ним. Таких людей расстреливать надо. Да. В ответ на предложение помощи — такая наглость.

Из-за угла Восьмой линии вывернулся трамвай.

Лида боялась даже заплакать, когда Павлуша, вернувшись домой, потребовал у нее духи и немедленно же, разбив флакон и разломав коробочку, спустил все это в уборной.

— Надо быть жестоким с людьми, — волновался Павлуша. — Теперь жестокое время, и доброта может только погубить. Никому нельзя верить. Я понимаю чекистов и сочувствую им. Надо расстреливать, расстреливать и расстреливать!

Устрашенная, побежденная Лида не возражала. Однакоже ночью, когда муж, приняв брому, заснул наконец, — она наплакалась всласть, вспоминая, в каком ободранном виде встретился им брат. И как он страшно

изменился! Какой он раньше был высокомерный, а теперь...

Павлуша спал беспокойно, проснулся рано и принял еще брому сверх вечерней порции. Что, если Миша действительно донесет? Самое худшее, если он притянет Лиду. Как быть? Может быть, самому пойти сейчас и сообщить обо всем? Но как объяснить то, что он не позвал милиционера при встрече? Эх, убить бы этого контрабандиста! Несчастье шло в Павлушину жизнь и грозило опрокинуть ее.

«За что? — думал Павлуша. — За что мне все это?»

И зарекался вслух:

— Никогда больше, никогда не помогу ни одному человеку.

Как будто он действительно страдал от собственной доброты.

Он не знал, что Миша от пловучки прямо направился к дому следователя (адрес он помнил со слов Клавы), но не вошел в дом, а остановившись у подъезда, стал просить милостыню.

XIX

У Штраухов было, как всегда по воскресеньям, много народу. Сам Штраух просматривал очередную книжку «Красной нови». Разговоры и споры, колыхавшие табачное облако под люстрой, нисколько не мешали ему: он привык управлять своим вниманием. Изредка он поглядывал на дочь Женю, которая перебивала рассказ двадцатичетырехлетнего профессора о Германии, куда тот командирован был по окончании Института красной профессуры. За что она наскакивала на юного профессора — этого Штраух не мог расслышать. Может быть, за то, что тот слишком снисходительно экзаменовал ее в университете?

Самый громкий голос был у плотного человека в пиджаке, надетом на черную рубаху, и широких штанах, сунутых в высокие сапоги. Он пытался прервать рассуждения черноволосого щуплого беллетриста:

— Да не загибайте вы! Главное дело, что мы — еще нищая страна. Хозяйство надо ставить, остальное приложится — не беспокойтесь.

И он все хотел отойти от надоевшего ему собеседника, но тот, хватая его за рукав, удерживал его и пытался всучить свои мысли об идеологии и эпохе.

— Да не то вы говорите! — отмахивался от писателя хозяйственник и, увидев входящего в комнату Максима, обратился к нему: — Вот привязался человек, не хочет понять, что жизнь у нас еще не устроена, нищие мы...

Беллетрист вдруг обиделся и отошел.

Максим уже больше месяца не бывал у Штраухов. Он не заходил с того дня, как получил известие о смерти отца, — после краткого телефонного разговора с Женей. С Штраухами он близко сошелся еще в Архангельске. Потом Штраух перевелся на службу в Ленинград и увез с собой дочь. Сын его остался на Севере. И когда Максим поехал в последний раз в Архангельск, Женя хотела отправиться с ним — навестить брата. Но, подумав, решила, что если уж ехать, так лучше одной, без Максима. И не поехала совсем. Она просто забыла, что Максим обещал купить ей билет. А когда Максим звонил с вокзала — ни ее, ни отца не было дома. Она была так невнимательна к Максиму, как бывают иной раз невнимательны к людям, отношением которых не дорожат.

— Что не заходил? — спросил Штраух, откладывая книгу. — Дела замотали?

— Замотали, — отвечал Максим. Он ни с кем не поздоровался: слишком много пароду. — Поверь — с девяти утра даже сегодня дома еще не был.

— Слышал, что отец твой помер.

— Помер, — подтвердил Максим.

Штраух покачал головой.

Максим огляделся. Почти все в комнате были знакомы ему — постоянные гости Штраухов. Женя стояла к нему спиной. Максим вспомнил, что пальцы — даже на левой руке — всегда были у нее в чернильных пятнах.

— Живешь? Не горюешь? — сказал Штраух, поглядел на дочь, на приятеля — и усмехнулся.

Максим улыбнулся, и ему стало вдруг совсем легко и просто.

Он пошел к Жене.

— О чем спорите?

Женя обернулась к нему.

— Да вот этот...

И заметив, с кем разговаривает, перебила себя:

— Вы? Я уж думала — совсем исчезли.

— Дел много, — спокойно отвечал Максим, радуясь этому своему неожиданно найденному спокойствию.

— Все контрабандистов ловите?

— Много дел, — повторил Максим.

Хозяйственник, обидевший беллетриста, сказал одобрительно:

— Настоящим делом занимаетесь. Сейчас все в экономике. Тут тебе и контрабанда, и растраты, и взятка, и безработица, и хулиганство...

— Германия, например, — обратился к нему профессор, — очень быстро восстанавливается.

— ...и половые вопросы, — продолжал хозяйственник, — и наука, и брак. Экономическая контрреволюция — это то самое...

— А все-таки я скажу, что так нельзя, — ответила на прежние рассуждения Женя. — Если...

Но профессор перебил ее:

— Ну-ну, опять!

И замахал на нее руками.

Женя улыбнулась и обратилась к Максиму:

— Послушайте, этот человек влюблен в Форда. Он...

— Женя! — позвал отец. — Посмотри, вскипел ли чай.

К одиннадцати часам гости стали расходиться. Максим не уходил. И это получилось совершенно естественно, потому что, подогретые вином, он и Штраух увлеклись воспоминаниями о недавних, но уже таких далеких годах гражданской войны на Севере. И Максим был доволен, что тайное желание его пересидеть всех гостей так удачно и естественно исполняется. Впрочем, один гость так же упорно не уходил, как и Максим. Это был двадцатичетырехлетний профессор. Но он сидел в стороне, задумчиво прихлебывая вино.

Женя подсела к отцу.

Воспоминания пошли вглубь, в дореволюционное время.

— Я ведь в подпольи не был, — рассказывал Максим. — И разве я понимал как следует, что делаю, когда пошел на Зимний дворец? Кое-что, конечно, понимал, а только по-настоящему потом научился. А тогда что за спиной

было? Городское училище да техническое училище, да вечно без места, да трепотня, да голод, да солдатчина... я же два года на фронте — германском еще — провел, ранен был дважды. Теперь-то, обдумывая, кажется, что и естественно я вошел в революцию — вся жизнь толкала...

— А я много в тюрьме сидел, — заговорил, воспользовавшись паузой, Штраух. — Революция меня в Сибири застала, в ссылке. Ты только представь себе...

— В Сибири? — спросил Максим для того только, чтобы перебить Штрауха.

— В Сибири, да...

— А я в Сибири не был, — снова овладел разговором Максим. — Север, Прибалтику, Польшу — наизусть знаю. А как я к белым в плен попал!

— Знаю, — перебил Штраух. — Ведь я тогда был в Политотделе...

— Да-да, — подтвердил Максим. — Я вот недавно думал. Такой, понимаешь ли, случай был на допросе. Словом, торговец один заговорил о «впоследствии». А я очень знаю этих людей. Я вырос на Среднем проспекте, и, надо сознаться, много во мне еще от этого Среднего проспекта. Я уж с этим так и помру — поздно мне выправиться. Это уж новые люди вырастут без всего этого. Всякие во мне уклоны. Да, так о чем это я тебе начал говорить?

— О Политотделе! — напомнил Штраух.

— Нет, о чем-то другом. Война? Плен? Что за чорт! О Среднем проспекте? Запамятовал.

Штраух заговорил о своем. Максим невнимательно слушал его, напряженно вспоминая то, что вдруг вывалилось из его сознания.

Женя тихо отошла к юному профессору. Максим искоса следил за ней. Женя, остановившись позади профессора, положила руку ему на плечо. Профессор даже не шевельнулся — он принял этот жест как самый обыкновенный и естественный. Женя дернула его за ухо. Тогда он, не оборачиваясь, взял ее руку и потянул книзу. Женя улыбнулась. У нее было круглое, с немного пухлыми щеками, почти ребячье лицо; глаза, которые обычно были чрезвычайно серьезны и не по возрасту умны, сейчас

весело и нежно блистали; уши закрыты были прядями темных подстриженных волос. Она была не толста, но и не худощава, и росту была невысокого. Максим смотрел на то, как она старалась высвободить руку из крепких пальцев профессора, и окончательно забыл о том, что выпало из его памяти. Штраух поймал его взгляд.

— Молодожены, — усмехнулся он.

Это слово ударило Максима, но он ничем не выдал своего волнения. И вмиг соединив все впечатления сегодняшнего вечера, он удивился, как это сразу он не сообразил, что Женя замужем за юным профессором. Хорош следователь, нечего сказать! Как далек он был, значит, от этой мысли!

— Да? — спросил он. — А я не знал.

— Не знал? Как же — вчера записались. Она и записываться-то не хотела. Неужели не знал? Вот что значит — не заходить так долго. Жизнь теперь движется быстро.

— Поздравляю, — сказал Максим, стараясь улыбнуться как можно более добродушно. — Поздравляю!

— А ведь признайся, — и Штраух подмигнул при этом, — ведь ты одно время в Женю был... как бы...

Максим засмеялся.

— Как же. Влюбился. Ну, да я — старик, чего там!

Он понял, до чего неправдоподобной казалась возможность брака его с Женей даже Штрауху и до чего несерьезной его любовь, если приятель так легко мог заговорить об этом.

Максим допил вино, закурил и так же неожиданно, как забыл, вспомнил теперь то, что хотел сказать Штрауху. Это — о случае с Масютиным, когда тот усомнился в том, что будет «впоследствии». Максим хотел сказать Штрауху, что для него, для Штрауха, для Куликова, для их товарищей гибель революции означала бы также их личную гибель, что их личная судьба крепко связана с судьбою революции, в противоположность всем Масютиным. Но теперь ему уже не хотелось говорить об этом.

Бросив окурок на блюдце, он встал.

— Пора итти.

И он пожал руку Штрауху. Попрощался с Женей, с ее мужем и вышел.

Он двинулся пешком: велосипед остался дома.

Неужели он уже старик?

Таня припомнилась ему. Должно быть, теперь она уж совсем счастливо живет со своим Куликовым. Но о Тане он долго не думал. Таня почему-то напоминала ему попугая. Почему именно попугая? Это была прочная ассоциация, и Максим никак не мог понять, как образовалась у него странная связь между Таней и попугаем. Никак Таня не похожа на попугая. Почему же? Туманная фигура милиционера присоединилась к попугаю, и Максиму показалось, что сейчас он уже вот-вот вспомнит. Но милиционер исчез, и попугай стал еще более непонятен.

Максим сел в трамвай. Сошел у своего дома, двинулся к тротуару.

Недалеко от подъезда стоял нищий. Нищий молча протягивал руку. Максим мельком взглянул на него и остановился. Вмиг все ненужные мысли оставили его, и он превратился в профессионала-следователя. К чорту любовные шашни! Он остановился перед нищим. Фонарь и освещенная витрина кооператива помогли ему разглядеть его. О попугае он мог и не вспомнить. Но тут, — он чувствовал, — он должен, он обязан был вспомнить. И фотографическая карточка, которая дана была ему помощником вместе со справкой о Михаиле Щеголеве, возникла в его памяти.

— Не загораживай мне прохожих, — спокойно сказал Миша.

Максим вынул из кармана свисток и свистнул. Не прошло и пяти минут, как Миша сидел уже на извозчике между двух милиционеров. Он впервые за два последних года чувствовал себя совсем хорошо. Наконец-то кончилось одиночество! Теперь его дело — простое: он должен только отвечать на вопросы. Наконец-то голова его отдохнет от мыслей. Другие будут думать за него и решать его судьбу. Этот арест он ощущал прямо как возвращение к жизни. Но расскажет ли он о Павлуше, а значит, и о Лиде? С удивлением и насмешкой он обнаружил в себе неожиданные запасы родственной любви и нежности.

Скажет ли он, что контрабанда втянула его в шпионаж? Впрочем, это все равно уже известно, должно быть, следователю. Когда двинулся извозчик, дворник, глядя на

зажатую милиционерами щуплую фигуру арестованного, промолвил с удовольствием:

— Запоролся.

XX

Масютин не забывал о последней встрече с Клавой. Ее презрительные слова вошли в его мозг, разрослись, заполнили голову. И Масютин только и думал о том, как бы, ничего не теряя, избавиться от жены и сына. Может быть, переправить весь товар Клаве? Но это долго! Надо скорее пришить к делу Клаву.

Разве с Верой можно работать? С ней дальше ларька не уйдешь. А Клава пустит дело по-настоящему. Уж не ларек будет, а магазин, — и не один магазин, а несколько! И на вывесках: Иван Масютин. И с начальством Клава сговорится. Такая красавица всякого вокруг пальца обернет! А с Верой ничего не выходит. Даже услуги его следователю — и те не помогли.

«Это дело себя не оправдывает, — думал Масютин (когда он был взволнован, он всегда думал полной фразой, а не образами и отрывочными словами). — Это дело себя не оправдывает, — повторял он себе. — Даже налоги плати, как прежде».

А тут еще Гриша отказался помогать ему в торговле и забузил. Масютин должен был считаться с тем неприятным обстоятельством, что Гриша завел себе товарищей, которые обещали ему место где-то на заводе: что он открыто пошел против отца и взял даже под свою защиту Веру; он убеждал Веру развестись с Масютиным, утверждая, что отец должен отдать Вере половину имущества.

«Не оправдывает» — думал Масютин, шагая по Горсткиной улице. Черный саквояж с шильями оттягивал правую руку. Масютин перехватил саквояж левой рукой, и совсем еще неясная мысль промелькнула в его мозгу. Это была даже не мысль. Просто Масютин почувствовал, что есть какая-то возможность одним ударом устранить все неприятности и получить, наконец, настоящую выгоду от отношений своих с ловцами контрабандистов.

Мокрый снег валил с неба и таял на шапке, на шубе, на саквояже торговца. Масютин вышел на Сенную пло-

щадь и направился к своему ларьку. И когда за прилавком он увидел Веру, мысль его оформилась, превратилась в ясный и очень простой план. Этот план показался Масютину таким хорошим, что он даже размяк и не по-обычному, ласково заговорил с женой. Он глядел на жену уже как на мертвую, глядел даже с некоторой жалостью. Он знал уже, как убрать ее с пути вместе с Гришей. Только действовать надо осторожно и ласково.

Этим же вечером, после обеда, он приступил к осуществлению своего плана. Он начал разговор издалека, с отвлеченных вопросов. А когда он говорил на отвлеченные темы, речь его обычно теряла всякий смысл.

— Брак, — это конечно, — рассуждал он. — Брак — это да. Хорошо. А как вы взглянете, если недовольство? Ага?

Он сидел на стуле прямо, заложив ногу на ногу, правая рука его легла на бедро; левой, с зажатой меж средним и указательным пальцами папиросой, он убедительно жестикулировал. Он помолчал, после чего речь его стала еще более косноязычной.

— Я нервный человек, и я не ручаюсь. Но это неверно. Очень тяжело потому что...

Масютин весь напрягся, подбирая нужные слова, чтобы не сказать лишнего. О торговле говорить куда легче!

— Если мы живем, — продолжал он, — то это ведь не шкап с инструкцией.

Это было уж совсем непонятно, но очень понравилось Масютину. Ему казалось, что мысль, подготовляющая его предложение, наконец выражена. Пот выступил на его лбу. Он вынул грязный платок и отер лицо. Кстати высморкался. Грише представилось, что этот человек искренно страдает, и внезапно ему стало даже жаль отца. Он, конечно, не может понять теперь, что такое делается на свете. Где он мог научиться? А Масютин, покончив с отвлеченными вопросами, заговорил глаже:

— Вот я и соглашаюсь. Если Вера хочет — то хорошо. Но (и он бросил папиросу на пол и затушил каблуком) — но надо отнести товар. Я половину дам. Но Масютин — честный коммерсант. Который товар не мой, вернуть надо. Вера сама и вернет. Чтоб сами видели, что не обманываю, что не свое от жены уберегаю. И ты должен пойти, — обратился он к сыну. — Ты проверить меня должен.

— Да я и так поверю, — отвечал Гриша. — Сам отнеси.
— Нет!

И Масютин вскочил.

— Ты на отца пошел — так ты отца уж и проверяй! Если я тебе чужой человек — так ты уж за мной следи!

Он был в таком пафосе, что забыл даже на минуту, для чего нужно ему послать Гришу и Веру с товаром.

— Хорошо, — уступил Гриша, — мы пойдем.

— Так-то, — успокоился отец. — Масютин — честный коммерсант. Пусть проверяют. Масютин согласился.

Контрабандный товар Масютин достал на следующий же день: купил то, что ему предложили. И вечером передал контрабанду жене и сыну, объяснив, когда, куда и кому надо отнести ее, не предупредив, конечно, о том, что это — контрабанда, и выдумав фамилию владельца товара.

По телефону он сообщил агенту, что у подъезда дома, где тот живет, завтра в четыре часа дня надо схватить двух торговцев контрабандным товаром. Он подробно описал внешность Веры и Гриши, но не сказал, что это его жена и его сын.

Большой саквояж с контрабандой понес Гриша, маленький — Вера. И, поглядывая на Веру, Гриша презрительно жалел ее опухшее лицо, ее старенькую, поеденную молью, шубку, ее тихий шаг.

Вера шла медленно, тяжело передвигая ноги. Но вот, наконец, и дом № 4, у которого должен был, по указанию Масютина, ждать владелец товара. Почему так странно условился Масютин? Почему не принести товар прямо в квартиру? Вера так привыкла покоряться распоряжениям мужа, что даже и не задумалась над этим. А Гриша в торговых делах ничего не понимал.

Обрюзгшее немолодое тело Веры бессмысленно, неизвестно для чего хотело жить. И когда у дома № 4 вместо владельца товара ее встретили агенты, схватили ее и отобрали саквояж, — она отчаянно вскрикнула и заплакала, пытаясь вырваться из крепких мужских невыпускающих рук. Она ничего не понимала. Шляпка у нее съехала на ухо, волосы разбились. А Гриша, которого тоже ухватили агенты, рванулся, выпустив саквояж, и убежал.

Максим узнал обо всем этом от своего помощника. Тот рассказывал возмущенно:

— Вздрючить эту сволочь надо. Собственной жене контрабанду дал, собачий сын. И сыну. Нарочно. И ей не сказал. Провокация! Форменная провокация! Он у меня почувствует. Это ему зря не пройдет. Разобраться надо только, врет жена или нет. Похоже, что не врет.

Вера весь свой рассказ повторила Максиму. Сквозь слезы она почти не видела следователя. Выговорившись, она вытерла глаза. Всхлипывая и сморкаясь, взглянула на следователя и уловила в этом плотном, немолодом уже человеке нечто, от чего краска ударила ей в лицо (лицо стало еще более некрасивым) и сердце задохнулось в груди. Всем телом двинулась она к Максиму. Максим заметил это неопределенное движение и нахмурился, настрожившись, готовый на всякий случай к отпору. Его сдвинувшиеся брови и внезапно ставший угрюмым и мрачным взгляд остановили Веру. А ей на миг всерьез привиделось, что Максим — каштановолосый механик из кино «Фата-моргана». Но от воспоминаний она заплакала.

— Успокойтесь, — сказал Максим мягко (профессия обогатила его голос разнообразнейшими интонациями, которые он применял с большим искусством). — Успокойтесь, — повторил он ласково. — Ваш муж поплатится за это дело. А вы будете освобождены.

Вера уже потухла. Вспышка прошла, и перед Максимом снова стояла обыкновенная мещанка, с тупой покорностью доживающая свою жизнь, упорно оберегающая свое имущество и деньги.

— А товар назад я получу? — спросила она.

— Нет, — строго отвечал Максим. — Это — контрабанда! Муж вас не предупредил об этом?

— Ничего не сказал, — подтвердила Вера, жалея отобранный товар, но еще более боясь тюрьмы.

XXI

Ворота, раскрывшие перед Гришей широкую спасительную пасть, показались ему новой ошибкой в его жизни. Однакоже сразбегу (ноги, унося его от агентов, не могли уже остановиться) он юркнул во двор, в первый попавшийся подъезд, и заскочил, прыгая через две ступеньки за раз, на второй этаж. Тут, на площадке, он остановился,

и ему представилось, будто бежал он от вологодского приятеля своего к Чубакову. Тоска охватила парнишку в сердцевине этой сложенной для человеческого жилья громадины. Не те люди, к которым попал он в Ленинграде, строили эти дома, этот город. Они только жили в нем, заполняли городские квартиры. И как много таких людей!

Белый пушистый голубоглазый кот важно прошел мимо Гриши вниз, во двор, на свидание. Гриша поглядел ему вслед и припомнил почему-то поучения своего друга, председателя уисполкома, об осторожности. Но разве можно быть осторожным и ни разу не оступиться в восемнадцать лет?

Гриша так медленно и тяжело двинулся вверх, словно тащил за плечами тяжесть всех квартир, населенных зашибающими теперь большие деньги Чубаковыми. Он читал на обитых войлоком дверях имена, отчества и фамилии таинственных незнакомцев. Добравшись до третьего этажа, он прочел на медной дощечке:

«Доктор Наум Яковлевич Шмидт».

Со двора выйти на улицу было сейчас опасно. Не додумав до конца своего плана, Гриша нажал кнопку электрического звонка.

— Можно видеть доктора? — спросил Гриша.

— Доктора спрашивают, доктора, — засуетилась старуха, затрусив в коридор, и скрылась. Потом вернулась и заговорила: — А вы в прихожую пройдите. Вот по коридору — так все до самого конца. Что ж это вы с черного хода? Больные ходят с парадного.

До конца коридора было шагов восемь — не больше. Опрятно одетая горничная провела Гришу в приемную. Тут же ждали пациенты. Больные были совершенно похожи на здоровых: пожилой мужчина в сером костюме, длинный человек в военном, мрачно читавший вечернюю газету, юноша в бархатной куртке, у которого галстук был повязан бантиком, и еще двое. Все они угрюмо молчали. Женщин не было. Гриша не знал, какие болезни лечит доктор, и это беспокоило его. А спросить неудобно и опасно.

Ждать Грише пришлось долго. Он был доволен этим: чем позднее выйдет он отсюда, тем лучше. Прежде всего ему нужно спастись, попасть домой и спросить отца, за

что схватили Веру и хотели арестовать его. Он не мог предположить даже — за что, потому что дело, по которому он шел, — самое законное дело. Может быть, это просто недоразумение? Он так задумался, что совсем похож стал на остальных пациентов.

— Ваша очередь, — сказала ему горничная, и Гриша очнулся (он, оказывается, задремал в мягком удобном кресле).

Гриша решил действовать нагло. Он встал и пошел в кабинет.

Толстый, с обширной лысиной и седыми висками, небольшого роста человечек, стоя вполоборота и обтирая только что вымытые руки полотенцем, сказал, не глядя на Гришу:

— Расстегнитесь!

— У меня зубы болят, — отвечал Гриша.

Доктор обернулся к нему, улыбнувшись неожиданной для Гриши улыбкой.

— Не бойтесь! — И осведомился: — в первый раз?

— Да нет, — растерялся Гриша, — у меня и в прошлом году как-то зубы болели.

— Присядьте, — ласково сказал доктор, и Гриша испугался вдруг: а что если это — зубной врач? Ведь денег-то заплатить за лечение нет. Опять получится как тогда, в поезде!

— Присядьте, — повторил доктор, — и не волнуйтесь. Это излечимо, и не надо стыдиться — лучше захватить во-время, сразу. Тут все дело в том, чтобы не запустить. Этим, знаете ли, многие болеют.

— Зубами?

Доктор покачал головой.

— Вы испугались и говорите про зубы, когда болит у вас совсем другое. Вы не волнуйтесь. Расстегнитесь, сейчас мы все выясним и...

Гриша широко раскрыл рот, показывая тридцать два белых зуба.

Доктор нахмурился вдруг.

— Что это — вы всерьез, кажется, пришли ко мне лечить зубы?

— Да, — радостно отвечал Гриша (значит, врач-то всетаки не зубной!).

Лицо пожилого врача посерело от злости: сколько профессионально-ласковых, успокаивающих слов он потратил зря!

— Могли бы раньше осведомиться о моей специальности!

— Я — деревенский,— оправдывался Гриша,—я же не знал.

— Возмутительно! — ворчал доктор. — Работай вот при таких условиях! Хулиганы! — И, выглянув в дверь, закричал: — Следующий!

Гриша, уходя, весело говорил горничной:

— А я-то думал, что доктор у вас — зубной. Мне зуб выдернуть надо.

Довольный, он вышел на улицу. Ловко открутился! И тут же похолодел весь: ведь он действовал сейчас как опытнейший преступник, хитроумнейшим способом он избавился от опасности. Откуда это в нем? Отчаяние охватило его. Нет, надо сегодня же окончательно расплеваться с отцом. Хоть в ночлежке жить—а расплеваться! А еще удивлялся он, что не дохлопал председатель Чубакова. Он, Гриша, не только не дохлопал, а и поддался. Зачем ввязался он в эту гадость, стал защищать Веру?

— К чорту!—бормотал он, ускоряя шаг.—Вот хоть убей, а к чорту!

Часы в окне магазина показывали двадцать две минуты седьмого. Вера еще не была вызвана на допрос к Максиму.

Масютин весь день напрасно искал Клаву и к вечеру, угрюмый, вернулся в пустую нетопленную квартиру. Мозг его напряженно и безнадежно работал. Смутный страх холодил тело, страх человека, решившегося на необычайный для него, опасный, самостоятельный поступок. Как обернется для него то, что он совершил? Неожиданная жалость к Вере (Гриша был для него все равно что чужой) заставляла его страдальчески хмурить лоб и прищелкивать языком. Простая мысль: а кто же поставит сегодня самовар и приготовит ужин? — ужаснула его. И куда скрылась Клава? Даже следов не найти. Но Клава ведь все равно не станет стряпать для него. Эх, не промахнулся ли он! Но разве с Верой можно работать? А с Клавой он так пустит дело, что...

Звонок прервал его размышления. Это, конечно, Клава. И она сейчас разъяснит ему, хорошо или плохо поступил он.

Но это был Гриша.

— Ты? — бессмысленно спросил отец.

— А ты думал кто? — грубо отвечал сын. — Думал — засадил меня? Шалишь! Я с тобой теперь как на суде поговорю. А ну-ка: что за товар в саквояже был?

Масютин вздернул плечами и попытался улыбнуться.

— Шилья, — сказал он. — А Вера-то где?

— Веру схватили, а я убежал.

И Гриша вызывающе взглянул на отца.

— Убежал! — крикнул Масютин. — Так теперь не убежишь! С контрабандой попался — так не убежишь!

Он чуть не откусил себе язык со злости: но все равно уже поздно: слово было выговорено.

— А! — воскликнул Гриша. — Так вот оно как!

И он прибавил по-деловому:

— Ну, одевайся — живо! Идем!

— Куда это собрался? — насмешливо осведомился Масютин.

— Вместе в милицию пойдем. Я тебя на чистую воду выведу, вот хоть убей.

— Ты меня не бéспокой, — посоветовал Масютин, делая ударение на первом слоге последнего слова. — Я человек нервный. Ты отойди лучше. Не бéс-покой.

Он говорил медленно, тихо и как будто даже очень спокойно. Вера знала это кажущееся спокойствие, мгновенно заменяющееся яростью.

— Испугал! — засмеялся Гриша. — В первый раз, что ли, гада вижу! И не отец ты мне вовсе. Идем, — а то смотри, — людей крикну. Ишь, сволочь, гадюка ползучая!

— Это отца-то? — удивленно проговорил Масютин, и на миг ему, действительно, жутко стало, что вот стоит перед ним родной сын и говорит такое. — Это ты отца так? Да стыд где у тебя?

— А у тебя где стыд был, когда меня да Веру на арест подвел! — закричал Гриша сорвавшимся голосом, и слезы показались у него на глазах. — Ты что же мне жизнь губишь, в контрреволюцию записываешь?

— Против отца пошел? — говорил, не слушая, Масютин. — Отца сволочью величает? Да я тебя, щенок, — завопил он вдруг неистово, — с лица земли сотру! Перечить не смей! — И он так грохнул кулаком по столу, что стол крякнул и, казалось, вся комната подпрыгнула от удара.

— Да я т-тебя!..

Гриша испугался и подался к дверям. Но, подскочив, отец схватил его за шиворот и бросил к дивану. Гриша ударился лицом о край дивана, вскочил и сел на диван. Глаза Масютина остеклянели, — Грише жутко было глядеть в них. Парнишка трясся весь, поглядывая, как удрать или хоть людей кликнуть на помощь: отец был гораздо сильней его.

Гриша привстал, шатаясь.

— Гадюка, — сказал он, всхлипывая, сплевывая и глотая кровавую слюну (падая, он разбил рот и нос). — Сволочь паршивая! — ругался он в отчаянии.

У него не было такого опыта, как у Веры, и он не знал, что надо молчать, когда отец в ярости. Да если бы и знал, все равно не стал бы, не смог бы молчать!

— Не боюсь я тебя, вот хоть у...

Масютин, шагнув к нему, опустил тут кулак на его стриженную ежиком голову. Хрястнуло, и Гриша бессильно сел на пол, раскатив ноги.

Масютин еще и еще раз стукнул сына по голове — в темя, в висок, в затылок.

— Будешь отцу перечить? — бессмысленно приговаривал он при этом. — Замолчал? А?

Гриша не только молчал — он и не сопротивлялся уже. От повторных ударов тело его упало на бок. Масютин прекратил побои, отошел, закурил папиросу.

— Ладно, — сказал он неверным голосом, — вставай, что ли!

Гриша ничего не ответил.

— Вставай, вставай, — не кобенься, — говорил Масютин, начиная дрожать мелкой дрожью. — Отец же... Отец я тебе или кто? Ну побил, значит — за дело побил. А теперь вставай — самовар поставим.

С трудом, как по воде шагая, он подошел к Грише, склонился, поднял голову сына. И только тогда он понял, когда руки его стали от этого прикосновения липкими и красными.

— Ай! — сказал он, роняя мертвую Гришину голову, и сам побелел, как Гриша. — Ай! — повторил он. — Это что ж такое сделал я?

И, сидя на корточках перед сыном, вообразил он себя снова в деревне — восемнадцатилетним парнишкой, с гар-

мошкой, в ярко начищенных сапогах. Он на гулянках. Сизый туман плывет над рекой и лугами. Но это же давно прошло!

Озноб прохватил его; челюсти дрожали. Поднявшись на ноги, он метнулся к выходу, откинул крюк, распахнул дверь, и морозный пар пошел из его рта, когда он закричал прыгающим, срывающимся в судороге голосом:

— Братики! милые! хватайте! сына убил!

XXII

Теперь надо найти угол, где умереть. Жизнь осталась позади. Жизни, может быть, и совсем не было. Жизнь, может быть, длилась только полтора года, те полтора года в которые родилась Маргарита.

Теперь Масютин вычеркнут навсегда из ее жизни. Но, был ли он или только приснился? Нет, не приснился: сон не старит, не тяжелит человека. И Павлуша тоже не сон. К Павлуше и надо итти сейчас. Ведь как заботилась она о нем, сколько побоев приняла за него от мужа! Он приютит ее.

Павлуша, действительно, принял Веру. И поселил у себя. И восстановилось для Веры прошлое: она опять оказалась прислугой — только уже не у мадам Лебедевой, а у ее сына. Вера убирала комнаты, стряпала, стирала, оберегая каждую хозяйскую копейку, как свою.

Утром Павлуша по дороге в ванную останавливался у кухни и говорил недовольно:

— Уже десятый час, а ты даже и примус не зажгла. Ты хочешь, чтобы меня выгнали со службы? Или чтоб я пошел не евши? Странно, право, — сколько раз повторяешь, и все ни к чему!

В нем уже сильно стал проявляться характер мадам Лебедевой. Вера пугалась и принималась накачивать примус.

— Обо всем надо напоминать,— ворчал Павлуша, поглядывая на недопитый стакан чаю, стоявший на кухонном столике.

Этого взгляда особенно боялась Вера. У нее оставалось одно только удовольствие в жизни — чай. Она выпивала за день не меньше дюжины стаканов крепкого чаю. Иной раз Павлуша намекал:

— Очень много уходит у нас на чай. Больше, чем на все остальное.

Но Вера ничего не могла поделать с собой. Чай был ее наслаждением, ее отдыхом, ее смыслом жизни. За чаем так хорошо вспоминалось прошлое, с такой грустью вздыхалось. Что, кроме чая, было радостного в жизни этой женщины Среднего проспекта?

Помывшись, Павлуша шел в спальню, где на кровати еще нежилась радостно вынашивающая ребенка, довольная Лида, забывшая уже о брате. Павлуша кидал полотенце на спинку, пристегивал подтяжки к штанам, прицеплял мягкий воротничок, завязывал галстук. Потом пожимал плечами.

— Вот так каждый день! Сиди и жди завтрака! И затем у нас неимоверно много уходит чая! Чтобы с сегодняшнего же дня класть в чай соду! Вообще эта Вера! Как прислуга она никуда не годится, — мы бы нашли гораздо лучше, и я все-таки приютил ее, содержу, и нет у человека деликатности понять!.. С сегодняшнего дня сам буду заваривать чай.

Однажды Павлуша привел свою угрозу в исполнение. Вера была достаточно тонким ценителем, чтобы понять и по вкусу и по крепости заварки, что Павлуша подсыпал в чай соды. Она не выдержала и спросила:

— А ты, Павлуша, не положил ли соды?

— Не помню, — невнимательно отвечал Павлуша.

Помолчав, Вера сказала (потому что у нее отнимали последнюю радость в жизни — вкусный чай):

— Соду не надо класть. Это тебе, Павлуша, вредно.

— Напротив, — возразил спокойно Павлуша. — Мне это посоветовал доктор, и я очень люблю чай, заваренный именно с содой. Так меньше чая уходит, и крепче получается. Да.

И с этого дня он всегда сам заваривал чай.

Когда он прочел Вере заметку в газете об осуждении Масютина, Вера виновато и покорно промолчала. Она даже удивилась тому, что муж жив еще и будет еще жить в тюрьме. С того момента, как она, после допроса вернувшись домой, узнала от соседей о том, что случилось, муж стал для нее все равно что мертвым.

— Я подвернулась бы — и меня бы он убил, — сказала она и пошла прочь.

Впрочем, если бы был вкусный, крепкий, без соды, чай, Вера, может быть, и поплакала бы за таким чаем над судьбой осужденного за убийство Масютина. Но чай Павлуша запирал в буфет на ключ, а просить у него Вера не решалась.

XXIII

О преступлении Масютина Максим узнал тотчас же. Он был в театре. В антракте он рассказывал приятелям о различных случаях из своей практики. Однажды, например, в отдел было сообщено, что некий ловкач перевез через границу девять сундуков, полных контрабандного товара: дамских шелковых чулок. Как сумел он упрятать от таможни девять грузных сундуков? Непонятно. Этот контрабандист остановился в Европейской гостинице и, нисколько не скрываясь, спокойно, с возмутительной наглостью, стал у себя в номере распродавать чулки оптом и в розницу. Максим нагрянул в номер с агентами. Сообщение подтвердилось: девять сундуков стояли тут. Один сундук был открыт. А у окна сидел тихий, унылый человечек и штемпелевал чулки. Зачем он делал это? Да очень просто: он ставил фальшивые французские штемпеля на чулках самого настоящего одесского производства. Он никогда и не был за границей. Он родился и вырос в Одессе. Но он знал, что Париж среди дам ценится выше Одессы и, заняв номер в Европейской гостинице, сам стал везде распространять слухи о том, что он на редкость жуткий контрабандист.

— Не помню, чем кончилось все это,— рассказывал Максим.

— У меня тоже бывают веселые случаи,—сказал седоватый прокурор. — У меня...

Максим заметил высокую фигуру в кожанке — помощник быстро шел к нему.

— Что нового? — спросил Максим, отходя в сторону.

— Гнусное дело. С Масютиным...

Выслушав, Максим взял пальто и шапку, оделся и вышел из театра. Извозчичьи пролетки загромождали набережную. Максим широко, всей грудью, вдохнул холодный воздух Фонтанки. Но ему казалось, что воздух насыщен миазмами. Проходили и в сумерках исчезали люди. Сколько среди них бывших, настоящих и будущих преступников?

До чего еще несовершенны люди! До чего несовершенен еще и он сам!

Очищая жизнь, Максим очищал и самого себя. Чем больше и серьезней он работал, тем большее отвращение испытывал он ко многому, что сам совершил в жизни. Дело Щеголева насторожило его по отношению к самому себе. Довольно трепаться! Он еще не стар и сумеет как следует организовать себя.

Извозчик гнал лошадь. Помощник Максима молчал. Максим смотрел вперед, в морозный сумрак, и думал о деле Щеголева. Чувствуется, что Щеголев не договаривает. Может быть он сообщил не обо всех участниках, не обо всех явочных квартирах в городе.

Павлуше Лебедеву еще предстояло близко познакомиться с Максимом Широковым.

Как осторожно и как свирепо надо бороться!

1927

ПОВЕСТЬ О ЛЕВИНЭ

I

Приказ главнокомандующего баварской Красной армией Рудольфа Эгльгофера непонятен и неожиданен, но революционная дисциплина обязывала к подчинению. Странно все-таки то, что не далее как сегодня утром батальоны оповещены были о предстоящем наступлении. Армия ответила восторженной готовностью.

Казалось, победа ждет красноармейцев, как при Аллахе и Карльсфельде. И вот, вместо атаки — погрузка в эшелоны и возвращение в Мюнхен. Почему? Что случилось? Объяснялось это решающим поражением у Штарнберга. Но, кажется, и сами члены штаба ничего толком не знали.

Все устремилось в Мюнхен — на поездах, на грузовиках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, верхом и просто на своих ногах.

Чем ближе к Мюнхену — тем явственней чуялось в этом внезапном и поспешном отступлении нечто неладное, и паника уже овладевала отдельными людьми и отрядами.

На мосту через Изар, в давке, в тесноте плеч, рук, бедер, в суетливой толчее торопливо пробивающихся тел родился все перекрывающий крик:

— Отрезали! Окружили!

Взлетела над головами чья-то винтовка и, взметнувшись через перила, с плеском упала в реку. За ней полетела другая, третья... В миг все сбилось и смешалось в криках и свалке. Еще только утром уверенные в победе люди теперь, бросая все, мешающее свободе движений, ожесточенно продирались к берегу.

Батальоны, теряя по пути целые группы солдат, прошагали к Луитпольдской гимназии. Никто из солдат не понимал ни смысла отступления, ни негодования мюнхенцев, бранью встречавших отступающие войска. Только одно было известно солдатам, — они выполняют приказ главнокомандующего, переданный по телефону из Мюнхена. Но не подложный ли это приказ? И уже рождалось и росло такое ощущение, словно командир, выбравший путь, ведет неправильно, ведет непосредственно в разгром и смерть. Это случалось подчас на войне, — люди тогда начинали ступать не в ногу, разразнивать ряды, отбегать в сторону, сразу же находилось много желающих командовать, каждый указывал свое направление, и дисциплинированный отряд, распадаясь, превращался в паническую толпу. Такое возникало и сейчас — но не в небольшом отряде, а в целой армии.

А город оборачивался ненавистью таившихся до того врагов. Далеко не все они оказались обезоруженными. В разных частях города обнаружились отряды штатских в котелках и шляпах, с белыми повязками повыше локтя. Враг, откинув страх, переходил в наступление. С ружьями и револьверами бюргеры нападали на отдельные группы красных. И все тесней и тесней смыкалось кольцо белых армий вокруг Мюнхена.

Зеленью садов и парков дышит южный немецкий город. Просторы полей и лесов чуются за нагромождением его домов, дворцов, музеев, церквей и соборов. Воздух ближних и дальних гор бодрит тело и дух. Великолепна жизнь! Но старый опытный враг уже отбирал все для себя.

Расстрел заложников обозначил последние часы советской республики. Десять человек, изобличенных в заговоре против революции, среди них одна женщина — графиня Вестарп, были выведены во двор Луитпольдской гимназии и легли трупами у серого камня стены, потому что революция в Баварии не могла щадить пойманных врагов.

Неизбежность поражения врывалась в настежь распахнутые окна звоном и грохотом потрясающих Мюнхен боев. Неотвратимость катастрофы преследовала Евгения Левинэ, мотая его по комнате, ни секунды не давая покоя измученному мозгу. Там, за окнами, на улицах и площадях, боролись

и гибли те, кого он вел к победам и кого должен был оставить теперь, в страшные часы разгрома. Он был их вождем, но беспощадное решение партии запретило ему умереть вместе с ними; военному руководству — оставаться на посту, политическому руководству — спасаться, скрыться, бежать! Потому что охрана главаря — вопрос не его личного благополучия, а революционной целесообразности.

Евгений Левинэ кружил по комнате, как по тюремной камере, и стремительная тень его, ломаясь, металась по чужим стенам, то дорастая до потолка, то опускаясь почти до полу, но всегда, неизменно поспевая за каждым движением длинной его фигуры.

За окнами, по Мюнхену, по всей стране вновь утверждался с детства ненавистный порядок. Это был порядок, знакомый до дна, так знакомый, что можно было распознать его в каждом возбужденном голосе, летящем в комнату с торжествующей улицы, в каждом скрипе, в каждом звуке, в самом, казалось, запахе весны, несущей отчаяние и смерть.

Воздух был отравлен. Мир вновь становился тюрьмой, застенком, гробом. Крышка захлопывалась. Вбивались последние гвозди германским рейхсвером, вюртембергским корпусом, баварскими войсками, добровольческими отрядами. Броневики, лязгая и грохоча по Мюнхену, решали победу. Будущее, в которое уже вошла Россия, брошено здесь в могилу, похоронено, зарыто.

В Берлине Левинэ остался жив случайно. Вместе со своими друзьями-спартаковцами он работал дни и ночи в здании «Красного Форвертса», сменяя перо на винтовку и винтовку на перо. Отправленный по неотложным делам, он покинул помещение редакции, и в его отсутствие ненависть белогвардейцев, захватив здание, уже успела растоптать, расстрелять его друзей. Левинэ опоздал разделить их участь. Это было в январе. Сейчас, в эти предмайские дни Мюнхена, он опять отторгнут от гибнущих в неравной борьбе товарищей, но на этот раз не случайно:

— Революционная целесообразность обязывает тебя остаться в живых. У тебя в настоящий момент нет никаких функций, и ты должен временно исчезнуть...

Стремительные дни надежд и побед обрывались внезапным и страшным крушением. В мозгу Левинэ дни эти еще налетали друг на друга, как вагоны разбившегося

экспресса. События и люди толпились, крутились, выталкивали друг друга. И вновь Левинэ кружил по комнате, не в силах броситься, наконец, на кровать и заснуть.

Надвигался день.

Холодное солнце горной Баварии праздновало позднюю весну над средневековьем старых кварталов, над готикой соборов и церквей, над великолепием новых зданий, над шумным многолюдьем улиц и площадей, над торжеством победителей. Ослепительны краски пестрых, как весенний альпийский луг, одежд. Короткие, враспашку, куртки — зеленые, желтые, коричневые; цветные жилеты, стянутые поясом; короткие штаны, открывающие над грубой шерстью чулок загорелые мужественные колени, — так одеты герои добровольческих отрядов, здоровяки, посланные сюда богатством полей и лесов. Набекрень заломив тирольские свои шляпы, они владели жизнью города. С цветами на шляпах и на штыках они торжественным маршем вступили в Мюнхен, и баварская гордость именно их признала спасителями. Им теперь — лучшее пиво, лучшие девушки и восторги горожан.

— К чорту всю эту русскую, еврейскую, галицийскую сволочь! Всякого, кто еще не пойман, — пристукнуть, истребить, как этого дьявола Эглырофера, изменника и убийцу, главаря красных банд!

От галереи полководцев до Триумфальной арки, от королевского дворца до Академии художеств протянулась из центра города к северу улица Людовика. Разнообразно великолепие ее зданий. Рядом с Государственной библиотекой, где мрамор лестницы ведет к неисчислимой громаде книг, помещается военное министерство. Сюда, этим прозрачным и безветренным первомайским днем, приволокли Рудольфа Эгльгофера, кильского матроса, главнокомандующего Красной армией. Синяя блуза и штаны-клеш висели клочьями на его сильном красивом теле, и белизна кожи резко подчеркивала кровавые пятна рваных ран. Широкое лицо его умело улыбаться друзьям, но теперь оно жестко и непреклонно замкнулось. Белокурые волосы сбились комьями на его разбитой голове. Взор матроса заплывал туманом и кровью, и предсмертное ощущение, освобождая от пыток, вдруг охватывало Эгльгофера, но вновь и вновь мучительно воскресало его тело, и внезапно яснеющий мозг

с пронзительным отчаянием опять и опять фиксировал катастрофу, разгром, смерть.

Его армия, его рабочие батальоны, снявшись с позиций, позорно бежали в Мюнхен, открыв дорогу врагу. Как могло случиться это? Армия требовала наступления. Почему же развалилась она так мгновенно? Теперь осталось только повторять сквозь стиснутые зубы:

— Бандиты! сволочи! недолго вам!..

Расклеивались запекшиеся в крови губы, складки ложились по углам рта, и каждое слово, протиснутое несдающейся силой, встречалось новыми свирепыми ударами прикладов и кулаков.

Глава военного министерства — столяр Шнеппенгорст. Тот самый Шнеппенгорст, который каких-нибудь три с лишним недели тому назад вместе с независимыми и анархистами объявил в Мюнхене советскую республику. Рожденная не на фабриках и заводах, не на улицах и площадях, а за зеленым столом заседаний, не возглавленная единой, крепко организованной партией пролетариата, созданная провокационными планами, истерической демогогией и фантазерством, она заранее обрекала на гибель все, что было революционного в Баварии. Коммунисты восстали против такой советской республики. На бурном сборище вот в этом самом здании протестующий голос Евгения Левинэ заглушался неистовым свистом и возмущенными ругательствами. Громче всех негодовал Шнеппенгорст.

Прежнее правительство с Гофманом во главе убежало на север, в древний город Бамберг. Военный министр Шнеппенгорст не убежал. Он остался в Мюнхене. Крикун и самодур, он врезался в самую гущу событий. Он ругался и кричал, как в споре о крупном заказе, который конкуренты вырывают из рук. Он исполнит этот заказ лучше всех. И уже пугливые конкуренты дорожили им:

— Раз военный министр с нами — нам нечего бояться!

Какой-то гривастый анархист вопил в энтузиазме:

— Если я считаю необходимым организовать советскую республику, то плевать я хотел, как отнесутся к этому рабочие!

Собрание восторженно вопило ему в ответ — только бы за советскую республику, а в каких выражениях — все равно. И Шнеппенгорст одобрял громче всех.

Трудно было выступать на таком собрании Евгению Левинэ. Когда он появился на трибуне, все стихли, чтобы после первых же фраз воем и свистом заглушать каждое слово.

Коммунисты требуют спартаковских Советов? Они бестактно отталкивают Шнеппенгорста? Они называют Шнеппенгорста предателем рабочего класса?

Голос с трибуны прорывался в самые дальние углы зала:

— ...Мы видим в этом только попытку обанкротившихся вождей найти доступ к массам путем инсценировки революционного выступления, или же сознательную провокацию! Мы знаем из примеров Северной Германии, что социалисты большинства часто стремились вызвать скороспелые выступления для того только, чтобы их с тем большим успехом подавить...

Шнеппенгорст орал в бешенстве:

— Дайте этому еврею по башке! Грязные негодяи! Банда мерзавцев!

Этими криками он поддерживал советскую республику, а в каких выражениях — неважно.

У Шнеппенгорста во всем этом был свой невыговоренный тайный план.

Советская республика без коммунистов была объявлена, и уже спустя неделю правительство Гофмана, в согласии и с помощью соратников своих в Мюнхене, кинуло наемников «Республиканской обороны» на разгром революционных организаций, одновременно подведя к городу свои войска и арестовав тех членов нового правительства, с кем трудно или невозможно было сговориться.

Но тут же Шнеппенгорсту пришлось бежать, — внезапное нападение купленных Гофманом солдат пресечено было ожесточенным сопротивлением, и яростный отпор рабочих поставил у власти коммунистов.

Мнимая советская республика сменилась подлинной. Родилась Красная армия Баварской советской республики. Отделенная в пространстве, во времени, она встала в один фронт с атакующей белых русской Красной армией, с наступающей Красной армией советской Венгрии.

Несколько дней тому назад Гофман гордо отклонил помощь партийного своего товарища Носке, военного министра Германии:

— Бавария не потерпит вмешательства прусских карательных отрядов!

Теперь было уже не до гордости. Против революционных восстаний! Против диктатуры пролетариата! Пролетариат еще не готов к власти! И потому — разгромить, расстрелять мюнхенских рабочих! Этого требуют принципы социал-демократии.

Эшелоны прусских карателей, отряды Носке ринулись на юг и вместе с баварцами решили дело.

Но чья измена открыла фронт врагу, внезапно увела с позиций, рассыпала, дезорганизовала Красную армию? Все могло бы сложиться иначе, если б не это.

Эгльгофер мог еще держаться на ногах. Он сам вошел в здание, где вновь властвовал социал-демократический министр Шнеппенгорст. Но страшные истязания допроса свалили вождя баварской Красной армии. В простыню, как труп, завернули его беспомощное тело и пихнули в автомобиль.

Он очнулся в непонятном сыром подвале.

— Эй, довольно отдохнул, ты, падаль! Встать!

Побои становились почти нечувствительными — так изломано и избито тело. И кошмаром путался меж новых и новых пыток вопрос — кто предал армию? кто продал?

Наутро герои Мюнхена, парни из добровольческих отрядов, выкинули Эгльгофера из подвала и на площади Одеон превратили в окровавленный неузнаваемый труп.

Эта страшная смерть любимейшего из соратников потрясла Левинэ не меньше, чем убийство Либкнехта и Люксембург.

Схватив кепку, он ринулся к двери — мстить, убивать, умереть!

— Куда? Ты с ума сошел?

Лицо Левинэ стало за последние дни острым от худобы. Тем резче запоминались бешеные молодые глаза, высокий лоб, уходящий в черные лохмы нечесаных волос, тонкий нос. Бледен был Левинэ так, что отросшая черная борода его казалась приклеенной.

Жестом отчаяния и решимости он бросил кепку обратно на кровать.

II

Быстрые воды Изара несли в долины Дуная десятки трупов, нехватало мест в мертвецких, спешно рыли могилы на кладбищах. Мюнхен торжествовал победу. Но где Левинэ? Где Левьен? Где Аксельрод? Где эта тройка, продавшая Баварию Москве? Найти и добить их, как нашли и добили в Берлине Либкнехта и Люксембург!

— Эй, ребята! Еврейское собрание! Живо!

— Спартаки?

— Говорю — евреи! За мной!

Сначала никто не хотел верить, но это оказалось правдой — кучка любимцев Мюнхена, ворвавшись на собрание мирных католиков, перебила их.

— Нет, это слишком! Убивать мирных граждан? Нет, мы — культурные люди, господа! — седоусый, костлявый мужчина энергично стукнул жилистым кулаком по столику, одному из многочисленных столиков разросшегося в самом центре города сада. — Мы требуем порядка! Мы не позволим толкать Баварию в пропасть, господа!

Тот, которого он так торжественно называл «господа», длиннолицый, с несколько вялыми и даже чуть меланхолическими движениями, офицер, скорбно пожал плечами.

— Да, это тяжелая ошибка, господин Швабе, было неправильное донесение, что это — собрание спартаковцев, коммунистов.

— Но надо же было разобраться, прежде чем стрелять! Спросить документы! Убивать честных баварцев — это недопустимо, господа! Позор, господа! Позор!

— Патриотический пыл, — грустно объяснил офицер. — Но юстиция вступает в свои законные права. Она быстро научит отличать честных граждан от бандитов. Да, очень тяжелая ошибка, господин Швабе. И хотя это единственная ошибка — не правда ли? — но виновные понесут строжайшее наказание. Вы сегодня же прочтете в газетах — они арестованы и отданы под суд.

— Их заслуги перед родиной будут бесспорно зачтены, — отвечал седоусый патриот и успокоенно протянул руку к пивной кружке.

Нет в Мюнхене лучшего клуба, чем этот тенистый, в сцеплении центральных улиц, сад. Здесь, в этом скопле-

нии столиков и стульев, узнаются и обсуждаются все последние новости.

Сюда, в этот сад, убегал профессор Пфальц, как в мирный уют давно прошедших дней. Но и тут он не находил утерянного своего спокойствия. Он никуда не мог убежать от смятения, потому что нес смятение в самом себе. И казалось ему: под всем этим торжеством возбужденных, счастливых лиц таится истерическая тревога, готовая в любой момент обратить все это элегантное общество в паническую толпу.

Профессор Пфальц в самом своем изящном костюме, в самом франтовском пальто уселся невдалеке от седоусого патриота. Он был как кукла, как манекен. Даже внешне он не мог радоваться и торжествовать вместе со всеми.

Профессор занял очень невыгодное для отдыха место, — у господина Швабе было слишком много знакомых, и столик, за которым этот седоусый патриот праздновал с меланхолическим офицером победу, становился средоточием сплетен и слухов. На этот столик люди налетали пачками, оглушая друг друга новостями, выспрашивая, размахивая руками, восторгаясь и ужасаясь, и бежали дальше с таким видом, словно важнейшие государственные дела гоняют их по миру.

Не успел профессор заказать кофе, как уже узнал, что у какой-то Пепиты нашли в юбке три миллиона, а Левинэ с десятью миллионами улетел в Венгрию на аэроплане.

В ушах несносно жужжал рой слухов, восклицаний, сплетен:

— ...Это тот, который графиню Вестарп?.. — Я слышала, что графиню Вестарп убил этот зверь, этот матрос... — Но с него уже ничего не спросишь. Кокнули. — За Левинэ дают десять тысяч марок. Читали объявление? — Наконец-то право и порядок вступают в свои права! Поглядите на Носке! А наш Гофман, наш Шнеппенгорст! Они спасут отечество от анархии, я им верю! — А Пепита — красивая? — Танцовщица. Испанка. Эти звери купали ее голой в шампанском...

Профессор Пфальц занялся самогипнозом — он, чтоб ничего не видеть и не слышать, усилием воли вызывал в памяти приятнейшие воспоминания юности, первую

любовь, белокурую девушку, гейдельбергскую студентку, с которой...

— А этот Левинэ! В опасный момент бежал, как последний трус! Своих же друзей бросил на произвол судьбы! Обманул и бросил! Какая бесчестная низость!.. Ни один баварец, ни один немец не поступил бы так!

— Ему все равно не сдобровать. Словяг.

Нет, куда там к чорту вспоминать первую любовь! Жизнь превратилась в кошмар. Ни минуты отдыха. И вдруг профессору Пфальцу стало мучительно жалко Ландауэра. Он тоже делал эту республику. Но он не был коммунистом. Это был ученый. Это был мыслитель. Вместе с поэтом Мюзамом он мечтал о счастливой жизни, которая будет как цветистый луг. За эти мечты Мюзама кинули в застенок, а Ландауэра растерзали, как разбойника, не доведя до тюрьмы. Цветистый луг! Любовь! Счастье! Белокурая Гретхен!..

А господин Швабе ораторствовал:

— Господа, наша родина переживает тяжелые испытания! Перед лицом общей опасности мы, баварцы, должны забыть на время наши распри с Пруссией. Мы все раздавлены, и нас хотят добить. Германия — на краю пропасти, да, господа, на краю пропасти! Мы все должны как один человек...

Город быстро и решительно изменил весь тон свой, все звучание, всю жизнь свою. Те, кто недавно еще таился, даже на улицу показываться опасаясь, теперь господствовали повсюду — в домах, ресторанах, министерствах, магазинах, на улицах и в этом саду.

Здесь, в этом саду, для них мгновенно является на столик все, что только ни пожелает желудок — тут не голодная Пруссия, были бы только деньги! Удобно и успокоительно почти бесшумное проворство официантов. Глаза заманчивых прислужниц не отказываются нежно улыбаться посетителям, и ямочки показываются на щеках, и некоторая резкость голосов приятно контрастирует с мягкостью округлых движений, как короткая юбка с невинностью взгляда. И глаза прислужниц ни на секунду не забывают своего дела, пока быстрые руки и ноги делают свое.

Все создано тут для того, чтобы вызывать вкус и аппетит к жизни — многообещающие фигуры баварок,

знаменитое по всему миру пиво, исключительного достоинства яичницы, хрустящая корка булочек, таких свежих, что челюсти сводит от наслаждения, пестрые букетики, расставленные в хрупких вазочках по столикам, само колыхание весны, несущей сюда лучшие свои запахи и цвета. Глаз бюргера отдыхает здесь на яркости веселых красок, разнообразящих все, что обязательно нужно нацепить на себя человеку для красоты и приличия, — все эти шляпы, пальто, кашне, банты, носки. Нос с удовольствием принюхивается к духам и одеколону, обозначающим чистоту и благопристойность тщательно вымытых, привыкших к приятнейшим утехам тел.

Бедная графиня Вестарп! Она пала жертвой серых кепок, криво надетых, потрепанных и заплатанных пиджаков и курток, грубых солдатских шинелей и гимнастерок. Небритых, изможденных лиц и злых голодных глаз. Но стоит ли думать сейчас, в эти первые дни победы, о недавних несчастьях? Горе и несчастье, голод и ненависть отступили, бежали, вернулись туда, откуда вырвались эти страшные дни, — в тесноту и сумрак рабочих жилищ, в казармы недобитых на фронте солдат, и сильное правительство держит строгую охрану возрожденного, созданного тысячелетием культуры порядка. Наваждение кончилось. Вернулась и вновь господствует красивая, изящная жизнь. Эту жизнь надо защищать, как имущество, как деньги, как драгоценности в сейфах! Да здравствуют победители!

— Граф! Добрый день, господин граф! Разрешите пригласить вас к столику, граф!

Седоусый патриот, вскочив, протягивал костлявую руку, готовую для крепкого рукопожатия. Как вкусно и знаменательно это слово «граф»! Еще несколько дней тому назад страшно было произнести публично такое слово, а не то, что повторять его, выкрикивать в энтузиазме.

— Добрый день, господин Швабе!

— Разрешите, граф, познакомить вас с моим юным другом, нашим освободителем...

Юный друг был тот самый скорбного вида офицер, который меланхолически успокаивал господина Швабе. Он, приподнявшись, томно протянул руку подошедшему к столику коренастому бородачу с коричневым лицом.

Низкорослое могучее тело штатского графа казалось легким и даже гибким в движениях.

— Вы, граф, юрист, — обратился к нему господин Швабе.— И уж я знаю, что вы неисправимый сепаратист. Вы мечтаете о свободной, независимой Баварии. Все, что ни сделают баварцы, — они во всем правы. Так вы думаете, так вы считаете, граф, — мне уж это известно. — Господин Швабе очень любил высказывать мысли за своих собеседников. — Но вот сложный юридический казус, господа: как быть с убийцами честных католиков? И тут баварцы, и там баварцы. Это трудный случай, господин граф!

— Я — католик, — отвечал граф спокойно. Его глаза были так глубоко упрятаны под мохнатые брови, что трудно было разгадать его душу.

Увлеченный своим красноречием, господин Швабе не обратил внимания на крайнюю неопределенность ответа. Он летел дальше:

— Вы — неисправимый сепаратист. Вы недовольны приходом прусских войск. Но наши надежды на милость Франции, Англии, Америки не оправдались. Мы поставлены в равное положение с Пруссией, господа, и мы должны бороться вместе с Пруссией! — Тут жилистый кулак господина Швабе вновь — в который уже раз! — стукнул по столику. — Но есть еще больший враг, чем наши победители в войне. Перед лицом этого общего нашего врага надо забыть все разногласия, господа! Это — коммунисты, господин граф!

Граф молчал.

Офицер, меланхолически поигрывая тонкими пальцами по столику, полузакрыв веки, неприметно косил внимательным глазом, посматривая на графа.

Господин Швабе, осушив очередную кружку пива и заказав следующую, вопросом закончил свою речь:

— Что бы вы сказали, господин граф, если б вас, как адвоката, попросили защищать этого Левинэ?

И всем своим видом он показал, что нисколько не сомневается в ответе.

— Прежде всего я ознакомился бы со всеми материалами, касающимися личности этого человека, — отвечал граф медленно и раздельно.

Это было слишком даже для господина Швабе. В этих словах не чувствовалось того возмущения, на поддержку которого господин Швабе мобилизовал целую толпу междометий. Граф оказывался несколько неожиданным.

Господин Швабе уставился на него с недоумением и даже ужасом.

Граф, не считая нужным разъяснять свои слова, хладнокровно заказал яичницу и пиво.

— Вы, кажется, хороший охотник? — осведомился офицер, как бы затевая посторонний всякой политике разговор.

— Я стреляю в птиц, а не в людей, — отозвался граф. — Я не ем человеческого мяса.

И он с аппетитом здорового человека принялся уписывать яичницу.

Офицер приоткрыл глаза.

— Мне непонятны ваши слова, — сказал он угрожающе. — Они мне решительно непонятны.

— Добрые граждане возмущены убийством католиков, — уклончиво отвечал граф. — Оно компрометирует нас всех, и оно не имеет никаких юридических оправданий. Коммунисты убивали своих врагов, а не друг друга. Пора вступить в дело людям ума, политикам.

— Но это частная ошибка отдельных невежд! — тихо воскликнул офицер. Томность его окончательно исчезла. — А общее, общее наше дело?

— Наше дело — дело народа, — почти механически промолвил граф. Доев яичницу и отирая усы и бороду салфеткой, он продолжал: — Ни на секунду не следует забывать общее катастрофическое положение в стране, деморализацию после поражения на войне, голод и нищету масс. Народ раскалывается на партии. Народ надо объединить вокруг единой великой цели. Надо быть внимательным к массам, изучать их настроения, надо сохранять осторожность и объективность и не нарушать закона. Мне было очень тяжело эти три недели...

— Две, граф, — невежливо перебил офицер. — Первую неделю в Советах сидели просто дураки и наши люди.

Маленькие глазки графа на миг внимательно остановились на порозовевшем лице офицера, и рука, протянутая к пиву, замерла. Затем он придвинул к себе кружку и закончил:

— Вы даете им ореол мучеников. Тем, кто колеблется, нельзя внушать жалость и сочувствие. Свободная борьба идей — высшее достижение государственности, и вы забываете об этом так же, как забыли об этом коммунисты, нет? Теперь пулю должен заменить ум.

— Я буду стрелять в них, как в птиц, — иронически промолвил офицер, и вновь глаза его потухли, а движения стали меланхолическими и томными.

— Политика — это дело ума прежде всего, — повторил граф.

— Дело пули, — кратко возразил офицер.

— Дело ума и пули, господа! — примирительно воскликнул господин Швабе.

Как тут вести серьезный спор и надолго огорчаться, если столько друзей и знакомых отвлекают внимание? Одному надо кивнуть весело, другому крикнуть приветственное слово, третьему помахать рукой. А женщины требуют особых тонкостей — подойти, поцеловать ручку, удивиться свежести лица или изяществу туфель... И, главное, совершенно ясно было господину Швабе: все — и граф так же, как этот офицер, — в общем очень довольны победой. А это — самое важное. Остальное — пустяки.

Увидев свою жену, господин Швабе решил одним махом уничтожить всякую видимость спора. Он не хотел, чтобы Эльза вмешалась в этот спор. Господин Швабе втайне мечтал, чтобы Эльза вообще не занималась политикой. Как не подходит женщине интересоваться политикой! Но Эльза — так эмансипировалась последнее время, что ей прямо и слова не скажешь.

— Дело ума и пули! — воскликнул господин Швабе и встал навстречу жене. — С господином графом ты знакома, с господином лейтенантом фон Лерхенфельд...

Граф поднялся, оборачиваясь к женщине.

Тяжелый, коренастый, он имел вид загадочный, как сундук с двойным дном.

Изумление, а затем восторг мигом овладели профессором Пфальцем — это была, бесспорно, та самая гейдельбергская девушка! Такая нежность таилась за ее длинными ресницами, что спазмы схватили горло профессора. Ему привиделось — она пронесла свою молодость сквозь долгие

годы, она казалась даже еще моложе, чем раньше, в этом весеннем розовом пальто, неспособном скрыть стройность и округлость ее тела. Она приближалась быстро и мягко, и уже воздух насыщался запахом ее духов. Цветистый луг! Юность! Любовь!..

Она подошла, и профессор услышал, наконец, ее голос:

— Нет, пока не поймали этого негодяя Левинэ, графиня Вестарп не отомщена! Я бы, кажется, задушила его собственными своими руками!

Наваждение! Галлюцинация! Это совсем не та!..

Какой-то фат уже успокаивал ее:

— Левинэ-Ниссен? Да он уже попался. Сам видел. Жуткая физиономия.

При этих словах профессор Пфальц дернулся со стула, словно собираясь бежать. Но, овладев собой, он остался за своим столиком и даже принудил себя допить чашечку кофе. Затем расплатился, встал и, стараясь не торопить шаг, двинулся к выходу. На площадке он остановился и, сдвинув мягкую свою шляпу к затылку, ослепительно-белым платком отер внезапно вспотевшее тщательно выбритое лицо.

Нет, тут не до любовных воспоминаний, не до уюта! Ведь сколько раз зарекался он ходить в этот проклятый сад! Вечно что-нибудь здесь услышишь такое... И он быстро зашагал туда, где зеленые шапки Фрауенкирхе вздымались на многометровых башнях над крышами старых домов...

Зачем он-то ввязался в это страшное дело? Тоже герой выискался! Что ему до этого политического безумца? И это он, он сам уговорил своих друзей дать приют опасному беглецу, как бедному студенту! Он и своих друзей подверг смертельной опасности!

— А-а-а! Это невыносимо! Это ужасно!

Когда, наконец, исчезнет из Мюнхена этот Левинэ — в Австрию, в Швейцарию, а лучше всего — в свою Россию? Только бы скорей.

Сон и аппетит покинули профессора Пфальца с того дня, как он принял участие в судьбе Евгения Левинэ.

Но кто бы мог подумать! Любимец всех висбаденских и гейдельбергских девчонок стал коммунистическим вождем! Что делается с людьми! Куда идет человечество?!.

— А-а-а! Это ужасно!

В Гейдельберге — ну, правда, это было очень давно, лет пятнадцать, даже больше тому назад — этот теперешний вождь дрался на дуэли из-за девчонки. До сих пор у него рубец над левой бровью. Юность! Но уже тогда, оказывается, он был революционер. Но все-таки он всегда отличался удивительными способностями. Один из талантливейших учеников профессора Пфальца! О, на плечах у него голова, а не печной горшок! Но для чего он отдал свою голову безумному делу восстаний? Он мог бы стать ученым, писателем — он так прекрасно владеет стилем! Такой способный был юноша! Такие блестящие подавал надежды! Непонятно! Решительно непонятно! И в смятении чувствовал профессор, что начнись все сначала, — и вновь он ввязался бы в это рискованное предприятие. Как быть, если он полюбил и не может разлюбить этого государственного преступника, за поимку которого полиция назначила награду в десять тысяч марок?

А вдруг слух на этот раз правилен, и Левинэ действительно арестован? И неожиданное облегчение почувствовал профессор Пфальц. Арестован — и по крайней мере конец всему. Но, значит, схватили и этого славного художника, в мирную семью которого профессор, как бомбу, вбросил этого Левинэ?

— А-а-а! Это невыносимо!

Улицы оборачивались испуганным глазам профессора пестрыми добровольцами, отрядами регулярных войск, группами арестованных рабочих. Под грозным конвоем арестованные шагали угрюмо и напряженно, не глядя по сторонам, с поднятыми к помятым кепкам руками.

— Эй, подымайте выше руки, вы, собаки!

Один рабочий пошатнулся, побледнев, — удар прикладом пришелся ему под ребро.

Нет, не пощадят! Нечего и обращаться за милосердием! Еще, чего доброго, и его схватят или, еще того лучше, десять тысяч марок предложат!

Но если арестовали Левинэ — как сообщить об этом его жене, его несчастной жене, тоже коммунистке? А если и она арестована — то что делать с малышом, с их трехлетним сынишкой? Родители называют этого мальчика странным русским именем — «Паскунишка».

— А-а-а! это ужасно! это невыносимо!

Профессор Пфальц чувствовал — на этот раз слух правилен: Левинэ арестован.

III

Левинэ не помнил, как и когда он заснул, провалился в черную, без снов, могилу. Проснулся он поздно утром. С изумлением, как только что рожденный, оглядывал он комнатный мир. В этом мире господствовало солнце. Разноцветные блики весело прыгали на обоях и по потолку. В открытые окна врывалось все разнообразие звуков весенней — как будто ничего не случилось! — жизни. Дни Баварской советской республики ощутимо уплывали в прошлое. Надо уже оглядываться на них, как на уходящие за поворот берега с несомой быстрым течением лодки. Уже никогда больше не улыбнется Эгльгофер. Никогда не вернутся в строй погибшие товарищи. Это «никогда» знакомой тяжестью уместилось в душе.

Голова не болела больше. Ясность наступила в мозгу и во всем теле. Жизнь продолжалась. Надо было вымыться, одеться, побриться, постричься, совершить все необходимые, еще вчера казавшиеся столь неуместными движения. Сегодня не было отчаяния во всей этой встрече весеннего солнечного утра. Тело возрождалось к жизни.

Какой пестрый и пахучий букет прислала жена!

Жена! Вот уж несколько лет под ряд, локоть к локтю, несет она с ним непомерный груз, делит счастье побед, горе поражений и надежды замыслов. Она укрепляет его силы, как утешение, как дружба, как любовь, как уверенность в победе. Ему, бродяге, она создала семью, и подчас через семью виделось ему будущее содружество народов...

Жена!

Он сел к столу и взял перо.

Слова письма рождались легко:

«...Я бодр, полон энергии. Несмотря на все тяжелое, смотрю на будущность с верой. А что касается нас обоих, я крепко надеюсь, что совсем скоро будем вместе...»

Вместе!

Он бросил перо.

Облокотившись о стол, в ладони зажав лицо, он невнятно шептал, сам с собой разговаривая.

Если б оказалась она тут, в этой комнате! Хоть на полчаса. Хоть на пять минут...

Но мгновенная судорога, исказив его лицо, подняла его со стула.

Нет и не может быть ничего счастливого в этой жизни!

Революция разгромлена! Рудольф Эгльгофер убит!.. И он не слышит ободряющего голоса жены, не может подать руку товарищам по борьбе и по несчастью. Он сейчас — один, во власти полузнакомых людей.

Один!

Стукнув по столу костяшками в кулак сжатых пальцев, он пробормотал:

— Но мы победим! Победим!

Он принудил себя сесть и вновь взять перо.

Судорога отозвалась в письме:

«...Несмотря на весь ужас,— ведь мы знали, что он неизбежен,— все-таки весна, весна...»

Весна!

Он запечатал письмо и подошел к окну.

Каждый прохожий был для него угрозой и опасностью.

Весна!

Он тихо напевал любимую свою песенку:

Ты скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене,
Обвенчался я со смертью раннею...

Пел он по-русски.

Стукнула входная дверь.

Левинэ медленно повернулся, сел на подоконник.

В комнату вошел человек в широкополой шляпе и плаще, похожий не то на литератора из Швабинга, не то просто на бандита.

Он принес конец мюнхенским дням — документы для побега.

И последний протест воскрес в Левинэ. Неужели пришло-таки время бежать? Неужели сегодня ночью? Неужели ему — жить дальше?

Левинэ неподвижно сидел на подоконнике, подложив под себя руки и даже забыв поздороваться с вошедшим.

Но этому человеку нельзя было выдать своих ощущений. Это был почти незнакомый человек, хотя Левинэ видал его на партийных собраниях.

Профессор Пфальц осторожно и боязливо приближался к дому, где скрывался Левинэ. Вдруг он остановился, отшатнувшись, как от внезапного удара в лицо. Машинально он сунул руку в карман за платком и забыл про нее.

У подъезда, побритый, подстриженный, стоял Левинэ и прощался с человеком, проводить которого, видимо, и спустился столь неосторожно, нарушая представление профессора Пфальца о людях, спасающихся от тюрьмы и казни.

Ведь это — государственный преступник! За него обещана награда в десять тысяч марок. Его приметы подробно обозначены в полицейских объявлениях. А в то же время движения его большого тела исполнены сейчас уверенности и силы, и упрямый блеск глаз смягчен, как всегда, чуть тронувшей лицо иронической улыбкой.

Значит, он не арестован? Слава богу!

Мужчина, с которым прощался Левинэ, вел себя сейчас с некоторой даже наглостью, словно был абсолютно убежден в благополучном исходе предприятия, и то, как он размашисто хлопнул ладонью о ладонь Левинэ, вдруг внушило уверенность и профессору Пфальцу.

Профессор, опоминаясь, продолжил начатое движение, — вынул платок и отер им свое лицо.

В комнате у Левинэ он все же не смог удержаться от замечания:

— Вы очень неосторожны. Вы должны помнить, что ваша судьба связана с другими людьми, которые из лучших побуждений...

Но Левинэ прервал его всей силой своего вновь вернувшегося оживления (он уже вполне владел собой):

— Мы не в Гейдельберге, профессор, не в Гейдельберге! Мы в Мюнхене! И вы окажете мне еще одну большую услугу! Вы отнесете вот это письмо моей жене. Пожалуйста, очень прошу и заранее благодарю, а затем вы придете снова, да, не правда ли?

Невозможно было сопротивляться этому в сущности почти приказу, и профессор покорно взял письмо. Но он был слишком занят собственными переживаниями, чтобы уйти молча.

— Ах, как все это ужасно! — воскликнул он. — Ну вот скажите мне, я вас давно знаю, зачем вы решили устроить весь этот ужас у нас, в Германии? Вы — немец, конечно, но в России все это в самом разгаре, туда вам всем и ехать, а нас оставили бы в покое! Нам и без того плохо!

— Не волнуйтесь, профессор, — с неожиданной нежностью отвечал Левинэ, — еще немного, немного придется вам потерпеть.

Он должен дрожать от страха, а он еще утешает! Это уж просто наглость!

Профессор Пфальц, отмахнувшись, как от мухи, ушел. Под старость он, кажется, кроме всего прочего, превращается еще и в почтальона. Всякий мальчишка посылает его, куда хочет. Нет, это просто чорт знает, что такое!

Левинэ, чуть скрылся за дверью профессор, сразу изменился. Все возбуждение ушло внутрь и только выдавало себя в блеске глаз и некоторой порывистости в движениях. Нечего сейчас рассуждать. Героическая смерть? Эсеровские штучки — вот это что! Дисциплина — прежде всего. Очередное задание партии — бежать! Бежать для того, чтобы снова, сквозь грохот и дым боев или сквозь годы подготовительной саперной работы, вести рабов к власти, к сытости, к счастью, к свободе!

Бежать!

Всего только несколько месяцев тому назад ринулся он на учредительное собрание Коминтерна в Москву, к Ленину. Ковно, руками полицейских освидетельствовав его документы, отправило его обратно. Теперь он во что бы то ни стало достигнет Москвы. Ведь именно там сейчас действуют лучшие мастера революции. И как действуют! Со дна баварской неудачи монументальным колоссом вырезывалась перед ним громада русской победы! Какая все-таки надежда эта победа! Не случайно рожден был партизанами последних боев Мюнхена пароль «Петроград»! Петроград! Город Октябрьской победы! Город Ленина!..

Он уже немолод. Ему — 36 лет. Но молода и неопытна еще германская коммунистическая партия. Она только родилась. И он, как коммунист, недавно родился. Он, как школьник перед учителем, склонит голову перед необычайным мастерством Ленина, и жесточайшая, без сентиментов, критика будет самым лучшим уроком.

В Москву!

Достаточно ли был он осторожен последние дни? Удастся ли побег? И привычные ощущения конспиратора, дичи, за которой охотятся, овладели им. Это были так издавна знакомые чувства, столь часто и подолгу приходилось испытывать их, что они казались уже неотъемлемой частью жизни.

Спокойно и аккуратно он уложил в чемодан немногочисленные свои вещи, среди которых не было ничего, что изобличало бы в нем не мирного туриста, а политического эмигранта. Несколько раз вынул и положил обратно в карман документы. Еще и еще раз тщательно обследовал все ящики письменного стола, комод, все углы комнаты, чтобы не завалялся где-нибудь хотя бы клочок какой-нибудь компрометирующей бумажки.

Веселый шум оживлял улицу под окном. Стреляли мотоциклы, нарастали и стихали в отдалении авто, громыхали пролетки извозчиков, и все это разнообразие звуков вместе с гулкими человеческими голосами наполняло весенний воздух.

Жизнь продолжалась.

Левинэ в мыслях своих уже переходил границу.

В Москву!

Профессор Пфальц, вернувшись, застал его в настроении оживленном и деловом.

— Ну, как? — спросил его Левинэ.

На миг он забыл, что перед ним — не товарищ.

— Жена ваша жива и здорова, сынишка — тоже, — недовольно отвечал профессор. — Жена просила поцеловать вас, но я этого делать не буду, потому что вы причинили моей Баварии большой вред. Вы — человек без родины! Вы — убийца! — взвизгнул он вдруг. — Вы — чудовище! Об этом весь город кричит! Я решительно не понимаю, зачем и почему я спасаю вас!

О, как надоели, как утомляют эти абсолютно чужие люди! И ведь сам этот профессор прибежал предлагать свои услуги! Зачем товарищи и сам он согласились принять помощь от этого бывшего своего учителя?

— У меня есть еще один очень крупный и основной недостаток, который вы, профессор, не изволили сейчас отметить, — отвечал Левинэ спокойно и резко: — Я очень

люблю думать. А занятие это, если увлечься им всерьез и все додумывать до конца, к добру не приводит. Это очень опасное занятие. Оно может немца лишить Германии, превратить в человека без родины — не еврея, как я, а чистокровного немца, и таких немало. Я вам очень советую, профессор, не думать слишком много, а то и вы превратитесь в человека без родины. Станет вам родиной ленинская Россия.

— Никогда! — возмущенно воскликнул профессор Пфальц. — Никогда этого не будет! Я — немец!

Но тут он почувствовал, что какая-то, как всегда, ловушка была в словах Левинэ, и он попался в нее, как дурак. И даже не какая-то ловушка, а совершенно ясная.

— Я много думаю и умею думать лучше вас, — возразил он внушительно и устало, — но думаем мы по-разному.

Он аккуратно повесил пальто и шляпу на крюк у двери и опустился в кресло.

— Я хочу мира и спокойствия, — сказал он. — Я хочу плодотворной созидательной работы. Ваши идеи чужды мне, и я отношусь к ним отрицательно, но у меня есть сердце, и оно губит меня. Оно влечет меня в пропасть!

IV

Жизнь капитана Мухтарова сломалась. Все рухнуло. Все полетело к чорту. Не осталось ни одного уверенного в своей долговечности правительства, которому можно было бы служить спокойно. Какие-то новые государства высыпали, как в сыпнотифозном бреду, на сошедшей с ума земле. Толпы народов окончательно выбились из повиновения и орали о революции. Нельзя было разобрать уже, где кончается одно государство и начинается другое. Границы стирались, как будто их никогда и не было. Русские солдаты вырвались из лагеря военнопленных и вместе с немцами сражались за Баварскую советскую республику. Венгерские батальоны били русских белогвардейцев в Сибири. И никто нигде не уважал начальства. Все спуталось, смешалось, и в этом хаосе гремел, как последний суд, неотвратимый голос Ленина. Вихрь шел по земле, швыряя людей, куда попало. Недоступных русских княгинь можно было уже задешево покупать на ночь и по часам. Его,

капитана русской армии, имеющего боевые ордена и заслуги, кинуло чорт его знает как в Мюнхен, и тут он тоже попал было под этих дьяволов-большевиков. Бред и чепуха! Только деньги сохранили свою власть. И капитан Мухтаров служил деньгам.

Полицейская служба спасала от голода, не больше того. Но десять тысяч марок обеспечат надолго, дадут свободу и отдых. Десять тысяч марок стали манией капитана Мухтарова.

Капитан рыскал по Мюнхену в поисках Левинэ. Он понимал, что не один он занят этим важным делом,— каждому, конечно, хочется цапнуть такой крупный куш,— и потому он работал неутомимо. Он почти не спал по ночам — ему все казалось, что вот в этот самый момент, когда он всхрапывает на уютном плече Марты, кто-то как раз прикарманивает его денежки.

Десять тысяч марок! Ах, ты, господи! Ведь как вздохнется, когда они этакой аккуратненькой пачечкой лягут в бумажник! Капитан уже ощущал этот приз в своих пальцах — он напал на след одного человека... Но тут — молчок. Об этом деле — вообще молчок. Лишнего не болтать даже в пьяном виде. А то ограбят, выхватят тысчонки из рук! Не только Эльзе, но даже Марте лучше ничего не говорить.

Марту он приобрел сразу же по приезде в Мюнхен. Он не видел в этом ничего удивительного. Это только честь хозяйке дешевенького пансиона, вдове германского солдата, провинциальной мещаночке, получить такого мужчину, как капитан Мухтаров, за боевые подвиги награжденный георгиевским оружием. И уж, конечно, за комнату в пансионе и за питание капитан Марте не платил, а, напротив того, доходами с пансиона распоряжался полновластно, как муж. Марта до войны служила в Петербурге гувернанткой, вполне владела русским языком, и это делало ее еще более домашней и привычной.

Эльза — недавнее приобретение.

Все-таки капитан Мухтаров имел то преимущество перед господином Швабе, что уже по русскому опыту знал, что такое большевики. Переворот не так испугал его, как господина Швабе, с которым в первые же дни советской республики связали его кой-какие общие пору-

чения от убежавших в Бамберг правителей. Он усматривал в этой революции некоторые утешительные по сравнению с Россией обстоятельства. Те, кого в России называли меньшевиками, здесь куда сильней и хитрей русских да и действуют так, что ну прямо не возразишь. Один Носке чего стоит! Орел! Никакого слюнтяйства! Да и Бавария — не Россия: пространства — небольшие, самостоятельно, без помощи, не проживет, а во всей остальной Германии — слава тебе, господи, — большевиков прикончили. Смешно называются они у немцев — спартаковцы. Но все-таки надо скорей кончать их и тут. Чорт их знает! — говорят, всю Россию Красная армия обратно отхватила, и в Венгрии большевики у власти. Бред и чепуха! Может случиться, что и податься некуда будет.

Капитан бодрился.

Захаживая к господину Швабе, он принимал тон несколько даже снисходительный. Он становился героем в доме перепуганного коммерсанта, тем более, что и на деле показывал свое искусство в борьбе с большевиками — отлично выполнял все поручения из Бамберга.

Господин Швабе только в коммерческих расчетах находил некоторое успокоение — через него шла часть денег из Бамберга. Оружие он принимать боялся и никак не подозревал, что жена его часто спускается с капитаном Мухтаровым в темный подвал к винтовкам и револьверам и ключ от этого оружейного склада, пополняемого заботами капитана, хранит у себя в бюро. Это была тайна Эльзы, капитана и пожилого слуги, которого молодая женщина, отправляясь с очередным чемоданом или мешком, всегда брала с собой. Такие склады очень помогли, чуть отступила Красная армия, тотчас же вооружить бюргеров. Многих устрашил приказ коммунистов о сдаче оружия, и они выстраивались в очередь у комендатуры. Но Эльза не поколебалась ни на миг.

— Вот это женщина! — восхищался капитан Мухтаров. — Молодец-баба!

Он уже часто позволял себе посмеиваться над господином Швабе, а подчас пытался припугнуть и Эльзу.

— Женщин они сначала берут, — рассказывал он, выражаясь таким необычным для него стилем потому, что говорить приходилось по-немецки, — а потом режут живот,

вертят кишки к столбу и приказывают бежать — так кишки из живота и уходят...

Рассказы свои капитан восполнял энергичной мимикой и жестами и все время прибавлял:

— Вы можете мне поверить. Я знаю большевиков.

В день, когда рабочий Мюнхен восторженно гремел о победах красноармейцев, Эльза впервые усомнилась в будущем. Капитан Мухтаров, явившись с очередной порцией оружия, застал ее в одиночестве и тоске и быстрым натиском решил дело в свою пользу.

Эльза даже не пыталась сопротивляться. Она прижималась к нему так, словно только в нем видела надежду на спасенье. Капитан Мухтаров никогда ничего подобного еще не испытывал. Бесспорно, это были лучшие минуты в его жизни. Он даже почувствовал к себе некоторое уважение. В Эльзе он начинал уже завоевывать Европу.

Разгром коммунистов странным образом вновь отдалил от него Эльзу. Он больше, казалось, не нужен. Теперь опять господин Швабе гораздо нужней — деньги дают положение и в семье и в обществе! Факт! Только Марта попрежнему была предана капитану Мухтарову.

Эльза и не подозревала, что этот белокурый широкоплечий славянин испытывал подчас приступы внезапного ужаса, — вдруг начинало казаться ему, что сейчас его схватят и потащат в Чека, которая, конечно же, есть и у этих большевиков. В такие ночные минуты он способен был дрожать при каждом мышином шорохе. Марта знала и это уныние, и этот страх. Она только ничего не знала про Эльзу и потому никак не могла понять, почему после победы капитан вновь загрустил.

Печаль подневольного житья с такой силой охватывала теперь капитана, что он напивался иной раз до слез.

— Погиб я, Марта, погиб! — плакал он. — Пропал капитан Мухтаров! Мечтал я на войне — разобьем вас вдребезги, генералом вернусь домой, в отставку! Шапо-кляк на голову! — и сяду на землю с Мушкой своей! Мушка! Девочка! Что там с тобой, в Сибири, делается?..

Он вытаскивал обрывок фотографии и совал женщине. Марта почтительно разглядывала почерневший клочок и готова была видеть на нем прекрасное девичье лицо

русской невесты капитана. От ревности и печали она тоже начинала плакать.

— В Россию хочу,— признавался пьяный капитан, и слезы в изобилии текли по его щекам.— Мира хочу и спокойствия!.. Я тут только в опасности нужен, чтоб грудь мою под удары подставлять. А опасность прошла — и к чорту капитана Мухтарова! В шею капитана Мухтарова!

Марта старалась утешить его всеми средствами души и тела, какие только имелись у нее, но это было не то, что могла предоставить Эльза.

Только большие деньги дадут свободу действий, позволят взвесить все, как следует, обдумать и спокойно, без лишних унижений, начать строить свою жизнь — с Эльзой, конечно, а не с Мартой.

Капитан никому ничего не говорил о надеждах своих на десять тысяч марок.

Он так же пугался каждого слуха о поимке Левинэ, как и профессор Пфальц, но по несколько другим причинам.

Наконец, настал тот день, когда капитан Мухтаров понес начальнику точный адрес преступника. Десять тысяч марок — в кармане!

В кабинете начальника, заложив ногу на ногу, поигрывая широкополой своей шляпой, сидел лохматый человек в плаще, похожий не то на литератора из Швабинга, не то просто на бандита. Это был тот самый человек, за которым все эти дни следил капитан Мухтаров.

Немецкий язык все-таки очень сковывал капитана.

— Я принес адрес государственного преступника Левинэ и прошу выдать мне награду,— рапортовал капитан.— Но господин, которого я удивлен видеть здесь, есть друг большевика Левинэ и...

Тут человек в плаще прервал его громким и развязным хохотом.

У капитана даже в животе резнуло, когда он увидел, что начальник тоже смеется.

Лохматый мужчина сложил три пальца правой руки и сунул их к лицу Мухтарова.

Конечно! Любой немчура может теперь показывать кукиш капитану русской армии!

Не нужно никаких объяснений. Все понятно. Дни и ночи зря потрачены на слежку за секретным агентом полиции, за провокатором!

Капитан Мухтаров круто повернулся и вышел.

Он дрожал всем телом, словно наступила внезапная зима. Шум города представлялся ему бессмысленным и враждебным. Чепуха и бред! В один миг погибли все надежды!

Но это же грабеж! Грабеж среди бела дня!..

Дома Марта радостно кинулась к нему:

— Этот убийца Левинэ пойман!..

Она протягивала ему экстренный выпуск газеты.

— Знаю! — злобно отрезал капитан Мухтаров. — Знаю! Дура! У меня украли десять тысяч марок! Проклятый щелкопер украл десять тысяч марок! Вот поверь слову — он сомневался! Сомневался, сказать или нет! Поверь слову — только сегодня он и решился! В последний момент! За жену этого Левинэ денег не дадут, даже если поймаешь! Грабеж среди бела дня!..

Он с ненавистью поглядел на выскочившую при этих криках в коридор черноволосую женщину и выбежал, хлопнув дверью.

— Господин Мухтаров очень взволнован, — объяснила Марта. — У него украли большую сумму денег.

— Покажите, пожалуйста, газету, — отвечала жилица странно срывающимся голосом. Ее молодое лицо подергивалось судорогой, словно она испытывала острую боль.

Капитан Мухтаров оказался очень еще неопытным сыщиком — он и не подозревал, что в его пансионе живет жена Левинэ. В голову ему не пришло, что следить надо за соседней комнатой.

К ночи капитан явился к Эльзе.

Впервые пришел он к ней в пьяном виде.

Здесь, в уюте шторами занавешенной гостиной, господствовал лейтенант фон Лерхенфельд. Лейтенант был новым героем этого дома.

Лейтенант тихим голосом, спокойно повествовал об аресте Левинэ. Да, он самолично арестовал этого разбойника. Пришлось сдерживать солдат, чтобы не растерзали. Да, после ошибки с католиками надо уже убивать судом, а не просто так. Господин Швабе должен быть доволен —

он так волновался... Позиции того графа имеют поддержку — общество ищет успокоения в законе. Да и у власти стоят все-таки социалисты. Суд имеет, конечно, свои преимущества — полезно публично разоблачить этого мошенника, этого труса, бросившего обманутых им людей на произвол судьбы в момент краха всей авантюры. Такие чудовища достойны, конечно, только смерти, позорной смерти. Но при аресте он вел себя нагло, очень нагло...

Эльза даже рот чуть приоткрыла, слушая героя, и капитана Мухтарова передернуло при взгляде на нее. Теперь она будет прижиматься к лейтенанту! А этот дурак Швабе не знает прямо, как выразить свое восхищение!

Стребовать, что ли, денег за тайну похождений этой белокурой Гретхен? Она умеет завлекательно любить — есть о чем порассказать!

Путаница чувств и мыслей владела капитаном, когда все трое обернулись к нему.

Не здороваясь, капитан заорал:

— Грабеж среди бела дня! Украдено десять тысяч марок! Дьяволы! Сволочи! Но ладно! Капитан Мухтаров становится выше денег! Идея! Высокая идея! Бесплатно расстреляю мерзавца! Пытать мерзавца! Резать каждого сукина сына большевика! На улицах по столбам развешивать! Европа! Работать по-нашему, по-геройскому не умеете, немчура проклятая!

Он орал по-русски, и никто не понимал его.

V

В ночной тиши рождались мысли. Еще не оформленные в слова, они не находили себе места в дневном шуме. Являлись они из этой дневной суеты, но, возвращаясь сюда обратно, блуждали и метались, не воплощаясь. Еще неизвестно было, что они определяют в жизни и чего требуют, но они уже беспокоили и мучили, чередуя упрямое молчание с внезапными взрывами яростного протеста, отталкивая от одного, притягивая к другому. Вдруг они тонули, сникая, но это только для того, чтобы вновь, с еще большей силой, овладеть внезапно и как будто беспричинно в какое-нибудь самое обыденное мгновение жизни. Рожденные зрелищем жестокостей и нелепиц, они

росли, зрели, и понемногу ясно становилось, что это — главные мысли, которые все равно победят и продиктуют всю жизнь. Они уже командовали поведением, и, чем ближе к зрелости, тем шумней толпились они в мозгу, как рабочие в стачке, как кули на плантациях, как рабы в римских катакомбах, и, вздымаясь, они толкали на некие действия и поступки. Они предвещали необычную жизнь, и прислушиваться к ним становилось уже наслаждением. Воздух революции рождал эти мечты.

Жизнь двоилась. Одна была заказана воспитанием, заботами и деньгами матери, другая — выращивалась непреклонной беспощадностью истории, рвалась из подполья, где мучились безгласные толпы неоформленных слов и несовершенных поступков.

Вторая жизнь свергла первую. Это был томительный и странный момент зрелости, решимости раскрыться, встать во весь рост, что бы ни получилось из этого. Когда ревнивая рапира гейдельбергского богача-студента кольнула в лоб, боль не породила страха, но обновила готовность к борьбе. Дуэль из-за первой любви, из-за девушки, которая была сменена вскоре другой, и еще другой!.. Не таких дуэлей требовала история. Вся глубина смутных ощущений и мыслей не одобряла такой лассалевской дуэли. Вторая жизнь опрокинула первую и повлекла в книги и скитания. И в дело вступало мужество ума, не устающего в своих поисках и разведках.

Левинэ в страданиях хотел найти указания и уроки. В дружбах с эмигрантами русской колонии Гейдельберга он нашел слово «социализм», и оно только укрепило его в мечтах, рожденных протестом. Социализм требует самопожертвования, — и вот он готов к любому подвигу!

Он искал подвигов в эсеровской партии и одиннадцать лет тому назад едва не погиб в центре болот и лесов нищего, больного колтуном и коростой Полесья. Пойманный в агитационных блужданиях по гнилым деревушкам, он нагло днем выскочил за ворота минской тюрьмы и пустился бежать. Схваченный, он узнал тупую силу кулаков и беспощадность нагаек. Он свалился, и городовые топтали и били его тяжелыми своими сапожищами.

Жажда страданий была удовлетворена вполне. Левинэ узнал свое несдающееся мужество, обрадовался ему и оперся

о него. Лежа на полу в коридоре тюремной больницы, Левинэ спокойно и сосредоточенно размышлял, уже предвидя некий поворот в своей жизни. Он не возражал, когда мать подкупами и поручительствами освобождала его, и навсегда вернулся, бежал в Германию.

Мать уверена была, что теперь он, как многие молодые люди, навсегда излечился от революционных мечтаний — так тихо и неподвижно лечился он у нее в гейдельбергской вилле, целыми днями лежа на кушетке с книгой и тетрадкой для заметок в руках. Мать радовалась и тому, что возврат в Россию для него уже невозможен, и тому, как хитро он принял баденское подданство, сыграв на местном патриотизме. Запрос в Берлин мог обнаружить его неблагонадежность, неизвестную здесь, и потому он воскликнул изумленно:

— Неужели баденское правительство не может без Пруссии решить такое пустяковое дело?

И запрос не был послан.

Но Левинэ принял баденское подданство для того, чтобы делать революцию в Германии.

Мать не поняла молчаливой неподвижности сына. Это толпы недодуманных мыслей, как толпы загнанных в нищету рабов, требовали окончательной ясности и точности от того, кто стремился изменить, перевернуть жизнь. Это сын, наученный опасным опытом, искал ключ к будущему, рычаг восстаний. Надо было с четкостью военного стратега определить путь к победе, изучить революционное дело, как военную науку, подчинить стихию чувств расчетам разума.

Еще подростком, еще до того, как мать из петербургской гимназии перевела его в висбаденский пансион, Левинэ мучился неясностью своих стремлений, заполнявших его, как туман петербургских вечеров, когда все — от тротуаров до облаков — казалось отравленным. Этот туман поселился в сознании, этот туман стлался по его беллетристическим наброскам. Только теперь, в изучении всего исторического опыта, в постоянных поездках в Мангейм, где детально изучал он жизнь рабочих, в подготовке докторской диссертации под спокойным названием «Культурные запросы рабочих», рассеивался туман. Вся путаница, все мучения и скитания его жизни разрешались

понемногу очень просто: он открывал, что революция — это наука, это искусство. Здесь надо быть глубоким и тонким знатоком, а не расшибать лоб о стену.

В юности книги подсказывали ему неопределенность формул протеста — его привлекала именно неопределенность. Теперь он с некоторым изумлением еще и еще раз возвращался к точным и четким, как математика, формулам Маркса. Почему он раньше не вникал в них? Ведь еще студентом он мог цитировать Маркса наизусть! Происхождение? Воспитание? Возраст? Или просто отвращение юности к сухой науке? Неужели только кулаками и сапогами полицейских излечивается романтический авантюризм и путаница в мозгах? Неужели только так добывается зрелость? Как медленно живут и умнеют люди! Нельзя ли ускорить?

Вновь брошена гейдельбергская вилла. Страстность, удовлетворенная в семье, все больше покорялась соображениями ума. Левинэ общался с фабриками и заводами, составлял доклады и лекции и удивительно много читал. К войне уже дружба связывала его с Либкнехтом. Война была побеждена пониманием причин ее, и в армии его бросали из лагеря в лагерь, так что неясно становилось, германский ли он солдат, переводчиком приставленный к пленным, или сам в плену. И это была уже пустая формальность — порвать всякую связь с левыми эсерами после убийства Мирбаха. Через русский Октябрь, оказывается, пролегает путь к той самой справедливой, без угнетателей и угнетенных, жизни, о которой неопределенно мечталось в юности. Ключ был найден, рука нащупала верный рычаг. Мужество ума и мужество тела действовали теперь едино и слитно.

Даже в берлинском и мюнхенском разгроме этот найденный секрет не покидал ни на миг. Отчаяние, мотавшее его по этой мюнхенской комнате, не давая ни секунды отдыха, забежало из юности, и хотя измучило, но не толкнуло ни на один неверный шаг. Не оно определяло его поведение, а невыполненные обязательства перед миром рабства и нищеты. Тысячи трупов будут отомщены в свободе и счастьи миллионов. Победа все равно неизбежна. И он не пошатнется даже при самой страшной катастрофе, даже при гибели самых близких людей.

Левинэ прощался с приютившей его комнатой без жалости. Он оставлял тут напрасные мучения бессонных ночей. Он исходил по этой комнате столько километров, что если б уложить их в длину, то, может быть, он был бы уже за пределами Германии. Эта комната пыталась побороть его решимость и вернуть его к безумствам юности. Но он еще раз победил сам себя.

В безмолвии последних движений крепла решимость.

Бежать!

Левинэ весь был устремлен в бегство.

Грохот тяжелых сапог нарушил тишину последних приготовлений.

Дверь отворилась, и первым в комнату вошел лейтенант фон Лерхенфельд, с револьвером в руке.

— Вы арестованы, господин Левинэ-Ниссен, — сказал он.

Левинэ замер в неподвижности, как бы не понимая, что такое произошло. Он глядел на лейтенанта с некоторым даже недоумением, как на непостижимую помеху. Перевел взгляд на добровольцев, теснившихся в комнате, и, пожав плечами, ногой оттолкнул от себя чемодан. Лейтенант сделал два быстрых шага назад, словно чемодан был набит готовыми взорваться бомбами. Но чемодан, повалившись набок, не взорвался, и тогда добровольцы рванулись к Левинэ для немедленной расправы.

— Ни с места!

И офицер, угрожая револьвером, заставил их остановиться. Этот неожиданный поступок удивил Левинэ, и вместе с удивлением вернулось к нему полное сознание свершившегося факта. Арест! В последний момент, когда все готово к бегству, — арест!

Толпа чувствовалась под окнами — столько солдат, подкатив на грузовиках, оцепило дом, что можно было подумать: тут усмиряют целую роту мятежников. Но все это пущено на одного только человека.

Опытные руки филеров уже рылись в чемодане.

— Левинэ пристально следил за их движениями.

— Тут воров нету, — очень вежливо промолвил офицер. — У вас ничего не отберут без записи.

— Напротив, — отвечал Левинэ, усмехнувшись, — я не хочу, чтобы мне что-нибудь подбросили. Украсть — пусть крадут.

Его уже не удивляла вежливость офицера. Эта вежливость, так же как изобилие посланных для ареста солдат, бесспорно рождена неуверенностью и страхом победителей. Заводы, фабрики, железнодорожные мастерские — весь мир труда, рабства и нищеты, пусть побежденный, разгромленный сейчас, все равно устрашает победителей. Им приходится вести себя осторожно даже с ненавистным главарем восстаний, чтобы не взорвать неисчерпаемый резервуар революций неосмотрительным поступком. И эта невидимая, но ощутимо присутствующая здесь сила, которой отдал себя Левинэ, внушала ему, как всегда, бодрость и уверенность.

В мужестве своем Левинэ не сомневался — много раз проверенное, оно было уже издавна знакомо ему. Спокойствие и ирония давались ему сейчас легко.

Итак, несмотря на страстное желание разделить участь товарищей, сделано было все, чтобы выполнить постановление партии — бежать. Но бежать не удалось. Поймали. Таков был итог последних дней.

Вновь — в который уже раз! — жилищем Левинэ стала тюрьма. Железная койка, грубо обрубленный табурет, стол, окошко, одетое железной решеткой, — до чего это все знакомо! Но впервые в жизни ненависть и страх врага заковали его в цепи.

Если б не цепи, можно было бы подумать о бегстве. Неподвижный в тяжелых своих кандалах, Левинэ оглядывал камеру, внимательно изучая ее. Он сразу же отметил то особенное, что отличало ее от всех прежних камер: странно в ней то, что дверь почему-то оставлена приоткрытой. Зачем? Но это как-нибудь объяснится, надо терпеливо ждать. . .

Солдаты то и дело совались в камеру.

Это постоянное шарканье и мелькающие рожи не давали покоя ни на миг.

Все это весьма подозрительно, потому что явно сделано не случайно, а преднамеренно!

Но ладно! Просто надо быть готовым ко всему.

То и дело хотелось встать и по всегдашней привычке зашагать от стены к стене и обратно. Так легче думается и еще бодрей чувствуется. Но кандалы неумолимой тяжестью напоминали о плене, о поражении, о гибели това-

рищей. Наручники сжимали его, как горе, как мысль о жене, о сыне. Что будет с ними? Как переживет жена? Если б хоть недолго побыть с ней вдвоем, наедине!..

Он уже был бы мертв, если б офицер при аресте не сдержал добровольных убийц. Этот офицер вынужден был запретить им расправу, хотя сам готов был растерзать его. Игра! При аресте законность должна быть соблюдена, а дальше...

Поражение, разлука, плен, — все соединялось в одну боль.

Страха не было.

Не страх, а боль.

«Schmerz empfind ich, keine Furcht»[1] — повторял он про себя, не спуская глаз с приоткрытой двери.

Интересно бы заглянуть в коридор — какой сюрприз готовится там?

Боль сегодняшних поражений — опыт и урок для будущих побед. Но боль все-таки есть. Она не покидает ни на миг. Он полон ею!

«Schmerz empfind ich, keine Furcht».

Ага! В коридоре нарастает шум!

Сейчас обнаружится секрет гуманно приоткрытой двери. Европейская цивилизация любит в таких делах тайну. Тут, в застенке, дело пойдет без вежливости, без манишек и крахмальных воротничков.

Пьяное европейское варварство ворвалось в камеру.

Одиннадцать или двенадцать полицейских агентов в пиджаках, в форменных и полуформенных куртках, воодушевляя себя криками, кинулись к Левинэ.

Смерть!

Они остановились на миг, упершись взглядами в него, словно соображая, с какой стороны ловчей кинуться.

— Я — один, вас — много, — сказал Левинэ, в упор глядя на них немигающими глазами и чуть приподымаясь со стула. — Что ж...

И он усмехнулся прямо в лицо ближайшему агенту, низенькому сангвиническому человечку, уже подскочившему к нему.

— Нет! — истерически закричал тот и рванул на себе ворот. — Запрещаю! По закону!

---

[1] «Боль испытываю я, но не страх».

И, растопырив руки и ноги, он встал перед Левинэ.

Левинэ вновь опустился на стул.

Агент был так мал ростом, что затылок его пришелся вровень с лицом сидящего Левинэ. На затылке кольцами вились каштановые волосы, на шее, по самой середине, багровел крупный чирей.

— Европа! — орал капитан Мухтаров. — Да пустите вы меня, сукины дети, бабы слабонервные!

Но его уже выталкивали.

Дверь камеры замкнулась на ключ.

VI

Розалья Владимировна Левинэ давно не видалась с сыном. Было похоже, что сын сознательно избегает показываться в Гейдельберге именно потому, что там живет мать. Может быть этот город отмечен даже особой нелюбовью сына. Сын, надежда Розальи Владимировны, давно уже стал ее несчастьем.

В детстве и юности Розалья Владимировна хорошо изучила унижения и грязь нищеты. Но уже в полутемной мансарде, в которой она ютилась вместе с родителями и сестрами, воображение предсказывало ей прекрасное будущее. Просыпаясь, она говорила иногда мечтательно:

— Эй, прислуга, подать мне мое зеленое платье!

Но пока что приходилось ей одеваться самой. А зеленое платье было ее единственным платьем.

Она жила в обойных лоскутьях и грошевых расчетах отца, но бедность еще не успела сломить ее, когда мечта исполнилась: дочь гродненского обойщика стала богатой барыней. Счастье явилось в образе господина Левинэ, того самого, портреты которого, овитые плющем и траурными лентами, во множестве повисли по стенам двенадцатикомнатной квартиры в центре Петербурга через три года после рождения сына. Господин Левинэ, прельщенный красотой гродненской мещанки, женился на ней и увез ее к себе в Петербург.

Розалья Владимировна приняла роскошь и богатство как должное, как естественное исполнение мечтаний. Но она навсегда благодарно полюбила своего благодетеля и после смерти его поклялась остаться верной его памяти

и ни за кого больше не выходить замуж. Клятву свою она выполнила свято.

Страстно, как любимейшую мечту, она отвоевала наследство от наскочивших в азарте родственников Левинэ, а кстати отогнала и своих родных, чтобы не смущали детей воспоминаниями о былой бедности.

Все эти тети Минны и дяди Германы не нужны детям. Они только вымаливают деньги да жалуются. Совсем другие гости создают благородную жизнь — сам господин Вышнеградский посещает ее со своей супругой, а лицеисты уже волочатся за Соней.

Собственный выезд, целый штат прислуги, три гувернантки, даже специальный балетмейстер для обучения Сони и Жени танцам, — все это призвано было отгородить детей от всех печалей и несчастий жизни. Она защищала их детство со всей страстью, той страстью, которая покорила в свое время господина Левинэ! Пусть детство их будет безоблачным. И она была упряма и категорична в своих действиях, как будто только ей была известна тайна счастливой жизни.

Господин Левинэ был итальянским подданным, представителем финляндской хлопчатобумажной фабрики, жил в Петербурге, а с женой разговаривал обычно по-немецки. Эту путаницу стран и языков Розалья Владимировна объяснила детям кратко и точно: они — немцы, притом их отец происходит из очень аристократического рода. И она отдала сына в немецкую гимназию, возила его, чтоб был здоров, по лучшим курортам мира — излюбленными ее странами стали Германия и Швейцария — и уже четырнадцатилетним подростком перевела его в висбаденский пансион, в котором учились дети миллионеров. После этого, естественно, сын оказался не в петербургском, а в гейдельбергском университете.

Втайне она была недовольна только одним своим поступком: не надо было скрывать, что они — евреи. Пробралась-таки к детям какая-то из теть, и сын разоблачил ложь. Быть евреем, конечно, унизительно, но все-таки лучше было не лгать, потому что сын стал теперь оспаривать каждое ее слово, каждый шаг, словно совсем отказался верить матери. Он и раньше отличался упрямством — то дружит с какими-то дворовыми мальчишками, то вдруг

требует, чтобы ездить не в первом классе, а в третьем, а однажды удрал с дачи в Заманиловке, так что еле его нашли. Он и раньше доводил ее до припадков злобы и отчаяния, а теперь совсем стал невыносимым. Она покупает ему, она дает ему все самое лучшее! Что ему еще нужно? И в страстном стремлении своем обучить сына счастливой жизни Розалья Владимировна иной раз даже била его. Но однажды он схватил ее за руки и крикнул:

— Если ты еще раз тронешь меня — я тоже тебя ударю!

Прямо какой-то бешеный ребенок! В дядю Германа пошел, что ли?

Тот тоже был сумасшедший — носился со своим искусством, что-то там рисовал, а в конце концов повесился. И всегда был нищим.

Этот сумасшедший сын чуть не полчаса держал ее за руки, пока она, наконец, не ослабела и не расплакалась. Тогда только отпустил.

Пригрозил ударить мать! И ведь ударил бы, ударил!

Что за несчастье! Муж умер от страшной болезни, от черной оспы, а сын, кажется, собирается превратиться в черную оспу для родной матери.

Когда ко всему прибавилось еще то, что сын стал революционером, тогда Розалья Владимировна замкнулась у себя в гейдельбергской вилле, стараясь забыть о нем и всю любовь отдать дочери. Но это не удавалось ей. Она не могла смотреть спокойно, как сын ее возвращается в нищету ее детства и юности, нищету, которую она решительно отрезала, как ненужный шлейф.

В судьбе сына она винила Россию, ужасную страну варварства и нищеты, смертей и революций. Она ненавидела Россию. В этой стране не уберечь ребенка, не воспитать в нем любовь к уюту и красоте! А сына как назло то и дело тянуло в Россию. Что он там потерял? И вот, наконец, добился своего — Розалья Владимировна получила известие, что сын, избитый и израненный, лежит при смерти в тюремной больнице. Лежит уже несколько недель — а родной матери ни слова.

Розалья Владимировна ринулась в Россию. В короткий срок минскому начальству знаком стал ее категорический, не допускающий возражений голос, да и не только минскому — в Петербурге тоже она показала себя. Кое-кто

из начальства уже принял от нее конверты с деньгами. Она раздавала эти конверты с большим выбором и только безусловно нужным людям. И она вырвала сына из тюрьмы.

— Ну, что — доигрался? — говорила она ему, следя, как он харкает кровью. — Я же тебе говорила!

Но он переупрямил и тут — занялся революцией в Германии. Приходилось следить теперь, как он добывает славу революционного журналиста, международного революционера.

Его теории возмущали мать. Получалось так, что он хочет отобрать, например, и у родной матери деньги и имущество, отнять законно полученное наследство и раздать его всякой нищей рвани, которая и в родственных связях даже не состоит. Не должно быть богатых людей? Значит, всем оставаться голью, без всяких надежд на лучшее? Так тогда и жить не стоит! Он совсем рехнулся! Нет, он бесспорно пошел в дядю Германа!

Но Розалья Владимировна сохранила всю свою непоколебимую чопорность даже тогда, когда узнала, что ее сын стал чуть ли не министром-президентом в Баварии и всерьез стал осуществлять свои сумасшедшие теории. Он, действительно, отобрал у людей все их предприятия и доходы, добирается до сейфов... И это — ее сын, ее Женя! Но, когда она узнала, что ему полагается по должности автомобиль и он ездит в нем, она ощутила неожиданное недовольство и желание поруководить им. Это уже штучки! Если ты революционер — то уж ходи пешком. Революционеру в автомобилях кататься не полагается.

Но все же — что происходит на этом свете? Почему шатается все, в чем она видит счастье жизни? Может быть, сын еще окажется прав и будет поучать родную мать?

Но сына постигло очередное несчастье. Его там, в Баварии, победили. Потом по всем газетам было распечатано, что он арестован. Ну, теперь его уж могут всерьез казнить — на этот раз он натворил слишком много безумств. И Розалья Владимировна устремилась в Мюнхен, захватив на всякий случай дочь.

Тотчас же по приезде она, выяснив адреса всех адвокатов, отправилась к тому, который имел титул графа.

Граф — это авторитетно! Говорили, что и берет он немало, а она всегда считала, что, чем дороже что-нибудь стоит, тем, значит, это лучше, добротнее.

Приемная всеми своими креслами, кушетками, бюро показывала, что адвокат, действительно, богат и солиден. Все было монументально в этой приемной и обнаруживало хороший вкус. И на картинах — никаких голых женщин, никаких игривых сцен. Две картины — и на обеих охотники, собаки, лоси. Очень солидно и прилично.

Секретарша тоже понравилась Розалье Владимировне — никаких лишних слов, только попросила заполнить листок и скрылась. Вернувшись, сказала:

— Прошу вас пройти за мной. Господин граф вас примет.

И повела по длинному коридору.

— Пожалуйста.

Просторный кабинет открылся перед Розальей Владимировной. По крайней мере четверть комнаты занимал огромный письменный стол. На каждом предмете — на пресс-папье, на чернильнице, на всем решительно — фигуры животных, преимущественно собак и серн. Были птицы. В углу простирало крылья чучело какого-то горного хищника. И сам хозяин, низкорослый бородач, был подстать этому зверинцу — этакий житель горных лесов, с коричневым обветренным лицом охотника. Он поднялся навстречу движением медленным, но гибким.

Розалья Владимировна, поздоровавшись, села и представилась резким и решительным голосом:

— Я — мать Евгения Левинэ.

Граф кивнул головой, глядя на нее своими глубоко запрятанными под мохнатые брови медвежьими глазками. Он не сомневался в цели ее визита. Шутка господина Швабе становилась реальной проблемой, которую следовало так или иначе разрешить. Но отказ или согласие ни в коем случае не должны нарушить принципов, на которых зиждется жизнь и деятельность графа. А жизнь эта — в счастьи и благополучии Баварии, которую он впустил к себе в квартиру, всю, с орлами и сернами во главе.

— Я обращаюсь к вам, граф, как к адвокату, с предложением защищать моего сына на предстоящем процессе, — ровным, несрывающимся голосом говорила Розалья Влади-

мировна. — Гонорар я уплачу вам в том размере, какой вы укажете.

Графу понравились этот решительный голос, вся повадка этой женщины, траурный, очень подходящий к ее положению цвет ее платья. Он убрал руку, привычным жестом потянувшуюся к графину с водой после первых слов Розальи Владимировны. Успокаивать эту женщину не нужно, и зубы ее не будут стучать о края стакана. Бесспорно, визит обойдется без слез, и это внушило графу уважение к матери коммуниста.

Он ответил, помолчав:

— Я должен сначала поговорить с вашим сыном.

— Я хочу предупредить вас, — добавила Розалья Владимировна все тем же категорическим тоном, — что я не разделяю убеждений сына. Напротив, я ненавижу их (было понятно, кто это «они») за то, что из Евгения Левинэ, честного, бескорыстного юноши, они сделали врага собственной его семьи, врага матери и сестры. С его умом, с его талантами он мог создать себе блестящую карьеру и без них. Но они развратили его. Я вас прошу, граф, взять на себя защиту его жизни.

— Я вас вполне понимаю, — отвечал граф, наклоняя голову и нежно касаясь пальцами изобилия волос, падавших на грудь. Его удивляло, что этот Левинэ оказался, действительно, из культурной среды. — Но мне важно узнать сначала, по каким мотивам ваш сын действовал. Он действовал бескорыстно, по искреннему убеждению, нет?

Вопрос был неожидан. Застигнутая им врасплох, Розалья Владимировна утратила на миг обычную свою чопорность, и проглянула в ней нищая гродненская мещанка.

— А как же вы думаете? — отвечала она с некоторой даже наивностью, приятно омолодившей ее, и еврейский акцент, давно побежденный, послышался в ее голосе. Теперь явственно виделось, как обольстительна была она некогда, — все очарование молодости всколыхнулось в ней, смягчая черты ее резко и сурово очерченного лица.

— Я должен предварительно повидаться с вашим сыном, — очень ласково промолвил граф. — Завтра в этот же час я вам дам окончательный ответ.

Она ушла.

Граф нажал кнопку звонка.

— Справлялись? — осведомился он у секретарши.
— Они просили очень благодарить вас за помощь, — отвечала секретарша. — Пока больше ничего им не нужно.
— Прошу вас регулярно справляться об их нуждах.

Дело касалось убитых по ошибке католиков.

Среди них было несколько бедных подмастерьев, оставивших семьи в нищете. Граф помогал вдовам.

Это дело почему-то ассоциировалось с делом Левинэ в сознании графа. Вот к каким бессмысленным убийствам приводят нарушения закона!.. В законе — опора общества!

В этот же день Розалья Владимировна добилась свидания с сыном.

Она остановилась на пороге.

С отвращением глядя на цепи, сковавшие руки и ноги Левинэ, она воскликнула возмущенно:
— Я, кажется, попала в Россию?!

Давно отвергнутое прошлое встало в образе матери на пороге этой тюремной, для свиданий, комнаты. Эта женщина, изуродованная неожиданным богатством, любила сына изуродованной любовью. Вот вновь явилась она выручать его.
— Здравствуй, мама, — сказал Левинэ. — Давно не видались.

VII

Он, Левинэ, вел рабочих, формулируя их чувства и желания, далеко не у всех осознанные еще, сдерживаемые подчас навыками рабства, страхом, подачками хозяев. Он знает врага отлично — ведь происхождением и воспитанием своим он связан с вражеским станом и теперь уже может спокойно расценить детство и юность как глубокую разведку в тылу у противника.

Он сознательно, прекрасно понимая, что делает, отказался от всех привилегий рождения и отдал себя на борьбу против того круга, в котором вырос. Он порвал все кровные связи и стал во главе революционного отряда, используя все силы своего ума и сердца для победы. И вот он — побежден. Он — в плену. Он схвачен и закован в кандалы..

Это совершенно естественно для собственников — гнать в цепи, на каторгу, в смерть — всякого, кто разглашает

опасные тайны капитализма, открытые Марксом, всякого, кто на этих открытиях основывает, как Маркс, свои действия. Властители жизни боятся науки Маркса, как средневековье боялось науки Коперника и Галилея. Открытия Маркса опасны, как динамит, — они взрывают самые главные устои капиталистического общества. Недоступным для масс надо делать этот динамит, замалчивать, обезвреживать его. Он, Левинэ, использовал этот динамит для взрыва в Баварии.

Но его смерть, если суждено ему погибнуть за это, не остановит хода истории. Все равно печатью падения и гибели заклеймен весь старый порядок, как бы ни дрались за него безумеющие от ярости собственники. Это — приговор истории. История работает на пролетариат. Новое Возрождение предвещено, предсказано Марксом, и наука Маркса — в руках опытных мастеров: партия коммунистов перестроит жизнь. Основа поведения каждого коммуниста — только в законах этой партии.

Левинэ подумалось на миг, что мать может гордиться своим сыном, и эта гордость послужит ей утешением.

Он ответил на ее возмущение:

— Эти цепи — почетная награда мне за хорошую службу пролетариату.

Но мать никак не откликнулась на эти слова, как будто и сказаны они не были.

Помолчав, она сообщила:

— Я уговорилась с адвокатом, он зайдет к тебе. Он хочет сначала поговорить с тобой. Это — лучший адвокат Мюнхена.

— У меня к тебе только одна просьба, — отвечал Левинэ, — позаботиться о жене и сыне, твоем внуке, если им понадобится помощь. Они останутся без всяких средств к существованию.

Он все еще надеялся...

Но мать и на эти слова никак не отозвалась.

Бесспорно, она опять надеется спасти его и вырвать из революционной работы, из круга самых близких ему людей, из семьи, созданной им против ее воли, из всего, чем он жил, смыть с него все следы этой жизни и пересадить к себе, в гейдельбергский комфорт, в старый, умирающий порядок. Она никогда не поймет, что привело его в эту тюрьму.

Есть счастливцы, которым и родные по крови — опора! Но он лишен этого. Он — пришелец из буржуазной среды. И мать, сидевшая рядом с ним, — несравнимо дальше от него, чем любой из товарищей, от которых он оторван, отрезан сейчас до самой своей смерти. Она отвергала все, что он любил, все главное, чем жил он. Разве не знал он этого раньше? И ему стыдно стало, что он обратился к ней с просьбой о жене и сыне.

Но все-таки это — мать, и по-своему она любит его.

— Мы давно не видались с тобой, — повторил он и спросил спокойно, словно не в тюрьме они: — А Соня где — в Гейдельберге? Как она?

— Соня приехала со мной, — отвечала мать. — Я взяла ее с собой. Она очень нервничает.

Мать еще раз с отвращением поглядела на кандалы сына.

— Как ты тут спишь? — спросила она.

Все-таки приятно, что она держится спокойно, без сентиментов и слез. Никаких мелодрам. Сильная и упрямая женщина!

— Хорошо сплю, — отвечал он.

— А пища?

— Тюремная. Кроме того рабочие передают продукты.

— О пище я позабочусь. Как смели надеть на тебя цепи?

Свидание длилось недолго.

Они поцеловались на прощание.

Теперь еще надо выдержать визит адвоката, муку юридической канители.

Все, что ставят ему в вину нынешние победители, — все это его заслуги, его гордость, его честь и слава. Если динамит Маркса действовал хорошо в его руках, то он — счастлив. Родить в нем трепет может теперь только суд пролетариата, партии, суд над ним, вождем мюнхенских коммунистов, побежденных в борьбе. Если такой суд скажет: «Ты плохо работал, ты виновен в поражении», — то в этом будет самая жгучая боль.

— Я не гожусь вам как подзащитный, — предупредил он графа, когда был вызван на свидание с ним. — Должен сказать вам, что я не намерен защищать себя на суде и добиваться смягчения наказания. Суд я рассматриваю как представителей определенного класса, которые являются

моими политическими противниками. Ту борьбу, которую я вел, я буду продолжать и на процессе.

— Я очень рад этому, — отвечал граф, и это было так неожиданно, что Левинэ взглянул на него с любопытством. — Конечно, вы должны высказывать на суде свои убеждения с полной свободой.

— В таком случае, — и Левинэ пожал плечами, — о чем нам еще говорить? Я не знаю ваших политических убеждений, но думаю, что они — не мои. Вряд ли вы уверены в окончательной победе рабочего класса.

— А вы уверены в этой победе? — спросил граф.

— Конечно! На этом держится вся моя жизнь, вся моя работа. Меня не переубедит угроза смертной казни.

Граф помолчал. Медлительный, любящий паузы, необходимые для размышлений, в коричневой своей охотничьей куртке, весь он был какой-то очень домашний, неофициальный, и удивительное отсутствие напряжения чувствовалось в каждом тяжеловатом движении его низкорослого могучего тела, в каждом звуке его голоса.

— Вы не будете приговорены к смерти, — отозвался он, наконец. — Вы не должны быть приговорены к смерти, — поправился он.

Левинэ насмешливо пожал плечами в ответ.

Граф коротко погладил бороду и терпеливо, снисходительно принялся разъяснять:

— Вам будет предъявлено обвинение в государственной измене...

— В неудавшейся государственной измене, — перебил Левинэ, улыбнувшись иронически и злобно, так что складки пошли по его щекам и сверкнули зубы. — Удавшаяся государственная измена не есть уже измена, граф. Тех, кому удался переворот и захват власти, не судят, а признают правительством. Обвинение в государственной измене вытекает из политических, а не из юридических соображений.

— За государственную измену, по закону, приговорить к смерти нельзя, — продолжал граф спокойно. — Такого пункта в нашем законе нет. В нашем законе отсутствует также пункт, по которому деятельность коммуниста карается смертью. Принадлежность к партии коммунистов не карается, по нашему закону, смертью. Вы могли бы

быть приговорены к смерти только в том случае (он сделал паузу), если б было доказано, что вы действовали по бесчестным мотивам, а не по искреннему убеждению. Таков наш закон, нет?

— Я тоже юрист, — отвечал Левинэ. — Я изучал право в гейдельбергском университете и добросовестно изучал. Мать прочила мне адвокатскую карьеру. Я знаю пункты закона. Но я адвокат особого рода. Мой клиент — рабочий класс. Я взялся защищать его интересы, отстаивать их всей своей жизнью и деятельностью, — а эти интересы требуют борьбы за власть, свержения власти собственников, диктатуры пролетариата. Мои деяния направлены против существования тех, кто будет судить меня, и, что бы ни говорил ваш закон, закон борьбы классов приговорит меня к смерти, если только не испугаются судьи возмущения рабочих. Забудьте о законе и подумайте о политической борьбе.

— Вы очень убежденный человек, — сказал граф без улыбки. — Я вижу, что вам, действительно, очень жалко неимущих людей. Вы — очень добрый человек, нет?

Вся беседа была необычна для графа. Невероятно уже одно то, что так хладнокровно можно было рассуждать о смертной казни с тем, кому грозит она. Граф помолчал.

— Вам очень помогло бы, — вновь заговорил он, — если б вы подчеркнули на суде свою непричастность к убийству заложников. Добрые граждане очень взволнованы этим фактом.

— Я, граф, недобр к врагам, — отвечал Левинэ. — Добрые граждане взволнованы расстрелом десяти заговорщиков, активных заклятых наших врагов, расстрелом в критический момент разгрома, когда эти десять могли оказаться во главе убийц пролетариата, — а добрых граждан не волнуют сотни и тысячи рабочих, убитых и замученных белым террором! Вы предлагаете мне опорочить моего клиента — рабочий класс и этим попытаться спасти себя. Это даже нарушение адвокатской этики, граф. Но — без шуток! — никаких увертон в моих выступлениях не будет. На суде врагов пролетариата — ни одного слова против действий пролетариата, в том числе и тех, в которых лично я не принимал участия.

— Но ваша непричастность к этому факту известна! — воскликнул граф, впервые за все время разговора слегка возвышая голос. — Одно слово осуждения этому убийству — и вы спасены наверняка!

— Нет, — отвечал Левинэ и стал вразумительно разъяснять — не столько для графа, сколько для безгласных свидетелей беседы — солдат и тюремного сторожа: — Мы, коммунисты, против индивидуального террора, и вообще мы в принципе против смертной казни. Пролетарская революция для своих целей не нуждается в терроре, она ненавидит и презирает убийство. Она не нуждается в этих средствах борьбы, потому что она борется не с индивидуумами. Почему же мы все-таки прибегаем к борьбе? Это является следствием того исторического факта, что до сих пор каждый привилегированный класс вооруженной рукой защищал свои привилегии... И так как мы это знаем, так как мы не живем в заоблачном царстве и не могли рассчитывать, что в Баварии — другие взаимоотношения, чем везде, что здесь буржуазия и класс капиталистов позволяют экспроприировать себя без сопротивления, — поэтому мы и вооружили рабочих, чтобы защищаться от нападений этих экспроприированных капиталистов. Так было до сих пор везде; и так мы будем везде поступать, где нам удастся стать у власти. Нам чужда жажда кровопролития. Мы, наоборот, были бы очень рады, если бы владевший до сих пор всеми привилегиями класс отказался от безнадежной борьбы, потому что борьба должна стать для них в конце концов безнадежной. Но этого не бывает. Я хотел бы обратить ваше внимание, господин граф, на то, что победа пролетариата в ноябрьские дни тоже была бескровной, и что, например, в Берлине первые выстрелы раздались в шесть часов вечера из манежа, откуда офицеры, недовольные ходом событий, стреляли в безоружных прохожих. Вооружение пролетариата имело целью удержать буржуазию от вооруженных контрвыступлений. На террор мы отвечаем террором. Мы не можем отпустить на свободу даже десять человек в тот момент, когда они заведомо немедленно же организуют сотни и тысячи убийств. Пусть я непричастен к этому факту, но на этом суде — ни слова критики. На суде пролетариата — там дело другое.

Граф встал.

— Юридически, по закону, вы не подлежите смертной казни, — резюмировал он. — Вы — человек убежденный, вы действовали по внутреннему убеждению, ваши убеждения никак не сходятся с моими, но я вас буду защищать и надеюсь спасти вам жизнь.

Отводя Левинэ обратно в камеру, караульный солдат внезапно осведомился:

— За это вы и сидите тут?

Солдат — длинный, худощавый, неловкий в движениях, с коричневым, замкнутым, мужицким лицом.

Левинэ толково, стараясь выражаться еще проще, чем в беседе с графом, еще раз объяснил ему все причины.

Солдат молча запер его в камеру.

Со следующего утра одиночество кончилось. Тюремная камера приняла вид некоего странного и мучительного салона. Кучками и в одиночку начали являться неожиданные визитеры. Какие-то комиссии с одними и теми же вопросами, группы совершенно чуждых ему людей, с любопытством взиравших на него, надоедали и раздражали. Было ясно, что это — не деловые визиты, — на него просто ходят смотреть, как на редкого зверя, как на знаменитого разбойника. Эти посетители без всяких стеснений делились при нем же своими впечатлениями.

Некий полицейский чиновник, весьма изящно, не без фатовства одетый, подложил ему альбомчик с цветочками на бархатном переплете:

— Я был бы очень благодарен вам, если б вы оказали любезность подарить мне свой автограф.

Это был либеральный, немножко сентиментальный человек. Он очень высоко расценивал этот свой поступок, даже опасный, пожалуй, с точки зрения служебной. Но он гордился своим смелым свободомыслием и заранее восхищался как коллекционер: его собрание обогатится предсмертными жалобными строками интереснейшего преступника. Наверное это будет мольба о жизни, слова предсмертной тоски, что-нибудь лирическое, хватающее за душу... Он будет показывать эту драгоценную запись интимным друзьям, женщинам... И он нежно улыбался, пока Левинэ заполнял страничку.

— Благодарю вас, — промолвил он, принимая альбом.

Но с лица его тотчас же слетела улыбка. Эту запись никому нельзя будет показывать. Самое лучшее — вырвать, сжечь этот листок! Левинэ написал только одну фразу: «Я желаю вам заниматься более достойной профессией». Какая наглость!

Элегантный чиновник удалился в полном возмущении.

Очередное дежурство держал тот же худощавый солдат. Выпустив чиновника, он вдруг сказал:

— А мы про вас другое знали. Нам говорили — вы хотите всех нас убить.

Это был медленно думающий парень, из тех баварских крестьян, что способны часами сосать свои трубки, расставляя слова во времени, как верстовые столбы.

Прошли еще часы, прежде чем он, вновь появившись в следующее свое дежурство на пороге, сообщил:

— Я хозяину работал хорошо. А он у меня и корову взял, и лошадь взял, и землю. Вот тут теперь получаю плату.

Новая деятельность, новая работа нашлась для Левинэ и в тюрьме. Она побеждала боль поражений и разлук.

VIII

Беззвучно и пустынно раннее утро Мюнхена. Пелена ночной тени не снята еще издалека идущим солнцем. Только безмерные просторы Терезина луга, не захваченные камнем домов, открыты самым первым лучам, как недавно еще открыты были они толпам людей, полных надежд и песен. Но толпы сгинули, и редкая нога примнет теперь зелень трав Терезина луга.

Бормотание и лень владеют медленно просыпающимся городом, и чуть слышная жизнь дружит еще с плеском Изара и колыханием листвы. Жизнь приглушена и в низине Мариа-Хильф-Платца. Но сон прогнан отсюда давно. Воинская охрана оцепляет здание суда, и негромко звучат слова команды, сух стук прикладов о землю и настороженна перекличка солдат. Пулемет грозится у входа. Ручные гранаты готовы в помощь пуле — они грохотом разрушат безмолвие, в клочья разрывая всякого, кто ринется к зданию, и тогда просторная площадь ответит гулким эхом, и сверкнут отсветом темные пролеты церкви, спящей против здания суда.

Солнце прогоняет сумрак, как люди — тишину. Все явственней вырезываются в паутине сникающих теней фигуры испытанных воинов, которым назначено сегодня сторожить последние часы Евгения Левинэ. И лейтенант фон Лерхенфельд шагает вдоль тротуара, проверяя посты, поджидая гостей.

Гости являлись спозаранку. Их было немного — строгий отбор беспощадно отклонял просьбы и ходатайства. Маленькое зальце, в которое все равно не упихнуть всех желающих, еще более ограничивало круг зрителей.

Вынимались и показывались пропуска. Зал наполнялся шумом жизни. Здесь преобладали полицейские и военные мундиры. Господство гостей в мундирах подтягивало и штатских, заставляя их держаться прямее, жестче, мужественней. Немногочисленное общество рассаживалось по скамьям, тихо перекликаясь и переговариваясь.

Журналист, которого друзья называли обычно просто «товарищ Фриц», в напряжении хмурил брови, стараясь видом серьезным и деловым скрыть трепет, забирающий тело до озноба и дрожи. Корреспондентский билет проложил ему путь сюда, и теперь казалось ему: он попал в самую пасть зверя. Захлопнется пасть — и пропал товарищ Фриц! Для такого человека, как он, нужно мужество, чтобы явиться сюда, он был уверен в этом и гордился своим мужеством, осторожно оглядывая зал и всех сидящих в нем.

Эльза добилась через мужа и Лерхенфельда пропуска ради профессора Пфальца. Ее поразило сообщение, что профессор Пфальц помог Левинэ скрыться. Лично она не знала профессора, но ее мать до самой смерти вспоминала о нем, хотя они со студенческих лет не встречались больше, — они вместе обучались в университете. Мать Эльзы ревниво следила за карьерой бедного студента и, узнав однажды, что профессура вполне обеспечила его, вздохнула грустно:

— Ах, если б это случилось тогда!..

И вот этот самый Пфальц, в уважении к которому воспитывала мать, оказался спасителем убийцы. Как это могло произойти?

Господин Швабе объяснял Эльзе:

— Профессор Пфальц втянут обманом. Его уверили, что Левинэ не отвечает за бесчинства большевиков. Он знал этого негодяя студентом и не мог представить себе, на что способен этот культурный человек. Он очень удручен. Я уже справлялся о нем, говорил о нем, и я спокоен за его судьбу. Он виноват в излишнем мягкосердечии, а кто из нас не мягкосердечен и не может быть обманут каким-нибудь мошенником?

Господин Швабе уже не так размахивал руками, как в первые дни победы, не так громогласно радовался каждому знакомому лицу. Он возвращал себе былую солидность и значительность в поведении. Его вновь вздымало богатствами хмеля, акций, земель и вернувшейся уверенностью в сохранности этих богатств. В министерствах к его слову прислушивались. Он возвращал и свою власть над женой. Он уже резко обрывал ее попытки вмешиваться, как привыкла она за последнее время, в дела политические. Довольно! Политика — дело мужчин, а не женщин!

Капитан Мухтаров теперь и думать не смел посмеиваться над господином Швабе. Воскресла громадная дистанция в общественном положении обоих. Но капитан допускался все же на всякий случай в дом Швабе, тем более, что он стал интересен и как экзотика. Его очень удивило, что за пьяный визит его не только не выгнали из дому, но, напротив, принялись успокаивать, а Эльза даже незаметно для других пожала ему пальцы! Он даже отрезвел сразу тогда. Европа! К его выходке отнеслись наверное как к тайнам и надрывам славянской души. Он решил научиться теперь владеть этими надрывами как средством. Он не терял надежды так или иначе завоевать Европу. Почтительно, издали поклонившись господину Швабе и Эльзе, он, абсолютно сегодня трезвый, сел в отдалении от них. Он вырабатывал свою манеру поведения — сочетание европейской внешности со славянскими взрывами души. Это может иметь успех.

Закрытый автомобиль примчал Левинэ к зданию суда.

Шевеление и шорох всколыхнули зал, когда ввели подсудимых.

Цепи были уже сняты с истощенного тела Левинэ. Его осунувшееся лицо вновь обросло черной бородой.

— Суд идет!

Седобородый председатель в сопровождении двух заседателей и трех офицеров вошел шагом торжественным и важным. Черная мантия и круглая шапочка, открывавшая седину висков, отделяли его, как некоего жреца, от обычно одетых, с почтением взиравших на него зрителей.

Процесс начался так, как следует по закону — установлением личности подсудимых.

Прокурор был одет элегантно, даже нечто вызывающее было в его лимонной, с искрой, паре, как и во всей его повадке. Молодой, выбритый так, что, казалось, на щеках его никогда и не росли волосы, он сидел в позе свободной и в то же время четкой, как на параде. Движения его тела, когда он откидывался или чуть наклонялся к столу, делая пометки на листках, были красивы и точны, в них чувствовалась крепкая мускулатура здорового, любящего спорт мужчины. Он заменил прежде назначенного прокурора, показавшегося неэнергичным и даже слабонервным, и всем своим видом сразу же вызвал теперь доверие присутствующих. Прокурор держался так уверенно, словно нашел замечательный и убийственный ход в сложной комбинации и уже точно знал, что противник обречен на проигрыш.

Ход был, действительно, найден, и прокурор был уверен, что речь его, как пуля, в самое сердце поразит этого бледного, исхудалого человека с гневным сверканием в глазах.

Прокурор искренно ненавидел обвиняемого. И теперь с каждым словом Левинэ злоба нарастала в нем. Сейчас противник — храбр. Он подает свою жизнь как клад, как образец для других. Он делает ее еще революционнее, чем она была на самом деле. Он свою жизнь превращает в средство для агитации даже тут, один против всех собравшихся. Он — опытный и наглый агитатор. Но он не знает еще, как и чем он будет сражен, замучен, опозорен перед его же соратниками и убит. Пусть кое-кто из свидетелей (кстати, их надо взять на заметку) лепечет о доброте Левинэ, о том, что из жалости и доброты он стал революционером. В этих показаниях — еще инерция советской республики, да и правительство называет себя все-таки социалистическим. Если это не тайные преступники, то слюнтяи, как профессор Пфальц. На этом Пфальце

и художнике можно показать свою объективность, свою гуманность — чорт с ними! За них уже хлопочут уважаемые господа! Это — безвредные, на всю жизнь наученные люди, их можно счесть невиновными, это даже выгодно, чтобы всей силой ненависти ударить по Левинэ. Но к этому человеку, желающему опрокинуть все, на чем держится жизнь и счастье порядочных людей, в кругу которых работает и он, прокурор Ган, — к нему никакого милосердия!

Еще возбужденней и напряженней стало к вечернему заседанию. Спокойный и ясный голос Левинэ не встречал должного сопротивления. Свидетели путались, сбивались и говорили не то, что всеми вопросами требовали судьи.

Уже один из защитников — не граф, а другой, — осмелился внести предложение о вызове в качестве свидетеля военного министра Шнеппенгорста. Проскочил даже намек на то, что Шнеппенгорст, в сущности, тоже являлся организатором советской республики и, следовательно, государственным изменником.

Шнеппенгорст — государственный изменник? Но всем здесь присутствующим известна, понятна, ясна патриотическая роль Шнеппенгорста! Он хотел предотвратить несчастье. Есть заказ на советскую республику? Пожалуйста! Получайте! Но мы насильно спасем вас! Мы покажем, что за чепуха вся эта затея, и вернем из Бамберга законное правительство! Мы — социалисты, но прежде всего мы — баварцы, мы — немцы, чорт возьми! Заказ на спасение Баварии может быть выполнен только социал-демократией! В этом был умный, одобренный правительством план Шнеппенгорста, и, если б не путч коммунистов, этот план был бы выполнен без лишних задержек.

Какая наглая попытка оклеветать Шнеппенгорста!

Он нужен сейчас, как Гофман, как Носке, как Эберт и Шейдеман! А потом? Потом видно будет, кто нужен дальше.

Сверкающий огнями зал насыщался азартом боя, и все шевельнулись и тотчас же затихли, когда слово было предоставлено, наконец, прокурору.

Прокурор поднялся спокойным и сильным движением.

Он начал просто, без жестикуляции, голосом, идущим, казалось, из глубины души:

— Больше четырех лет длилась мировая война. Она была проиграна Германией.

Этой краткой и точной формулировкой главного несчастья он сразу же завоевал внимание всех.

— Неслыханные, почти невыносимые бедствия, — продолжал он, — принесло и приносит нам это поражение. Сверхчеловеческое напряжение нужно, чтобы вынести это бремя и сохранить мощь германского государства.

И прокурор, точно датируя каждое событие, ужаснул присутствующих напоминанием о советской республике. На истомленный, измученный баварский народ обвиняемый взвалил новое горе, новое несчастье! Он со своими соратниками разжег братоубийственную бойню!

— Это были чужеземцы! — восклицал прокурор, позволяя уже себе легкую жестикуляцию. — Это была клика чуждых элементов, не желавших мира нашей родине! Это они нарушили мир и выхлестнули страсти в никогда еще невиданном образе!

Слова и жесты прокурора воплощали всю силу чувств и мыслей аудитории. Каждый чувствовал в голосе прокурора свой голос, в интонациях и жестах его — движения своей души.

— Обвиняемый сам заявил, что он отвечает за все! — так резюмировал свой рассказ прокурор.

Вот здесь, на скамье подсудимых, сидит этот обросший неровной бородой человек, чтобы расплатиться за все беды и несчастья Баварии, за все страхи и мучения порядочных людей, и всем ясно, что он — государственный изменник. Но, чтобы совершилась месть, чтоб беспощадной карой разрешился гнев общества и сменился плодотворным миром, надо выбросить этого человека за все пределы человеческой морали, даже той, которой поклоняется он сам. Надо показать суду, что это — бесчестный человек, действовавший по бесчестным мотивам.

Прокурор приступил к главной части своей речи голосом резким и звонким, в котором дрожало еле сдерживаемое негодование.

— Он разжег гражданскую войну, — говорил он, — но где был этот человек, где был этот вождь, когда надо было телом своим и жизнью постоять за свою идею? Где был обвиняемый, — спрашивал прокурор, — в дни, когда массы, которых вел он, которым внушил безумные страсти, с оружием в руках сражались за его идеи?

И негодование прорвалось.

Прокурор загремел в полную силу своего здорового темперамента, с откровенной уже ненавистью глядя на Левинэ:

— Спрятался он! скрылся! бежал! Не вышел биться за свои идеи! Не воспрянул! Не выскочил, чтобы жизнью своей пожертвовать за идею! Не присоединился! Не встал во главе масс, соблазненных им, поднятых на братоубийственную бойню! И это доказывает, — тотчас же резюмировал он, — что Левинэ — бесчестный человек!

Напряжение в зале достигло уже той тишины, которая, казалось, может дать электрический разряд. И теперь зал ахнул в ответ прокурору. А прокурор обращался уже через головы присутствующих к стране, ко всему миру:

— Пусть, наконец, в безумие уведенные массы узнают, кто руководил ими, какому вождю доверились они, какого вождя выбрали, и тогда, я убежден, наступит день мира, которого жаждет каждый, кто любит свое отечество и свой народ!

Он все еще берег последнее позорящее слово. Он все еще чередовал параграфы и пункты закона с восклицаниями негодования и возмущения. Он убеждал:

— Когда я обозреваю то несчастье, которое без всякого чувства ответственности принес этот человек Баварии в хозяйственном, культурном, правовом, да и в чисто человеческом отношении, то я должен сказать — здесь не может быть никакого милосердия! Страшнее страшного то, что в течение долгого времени переживает наше отечество, и я представить себе не могу, что можно выдумать, изобрести, чтобы найти хоть атом смягчающих вину обстоятельств для обвиняемого! С беспощадной жестокостью преследовал он свои цели, но, когда пришел день сражаться за идеи, которые он выбрал своим идеалом, он удрал, предоставив другим проливать кровь за абсолютно безнадежное дело!

И слово, наконец, выговорилось, — слово, которого ждала аудитория:

— Трус!

— Нет оправдания этой трусости! — летел прокурор дальше и повернулся к судьям на полном ходу речи: — Вы сочтете его виновным в государственной измене без смяг-

чающих вину обстоятельств и приговорите его к смертной казни!

IX

Слово найдено.

Это слово — трус.

Это слово проводит Левинэ в его камеру, оно будет дразнить и мучить его в одиночестве и мраке, оно будет преследовать его до последнего дыхания и позорной плитой ляжет на его могилу.

Трус!

Распространить, распечатать по всем газетам!

Разгласить по рабочим районам!

Обесчестить, заклеймить самую память о Левинэ!

Позором доконать ненавистного главаря коммунистов!

Расстрелять его не как идейного врага, не как мужественного вождя восставших рабов, но как бесчестного труса, предавшего своих же товарищей в момент опасности и гибели!

Что может противопоставить Левинэ? Уже нет у него власти, нет трибуны, нет газет, и теперь не останется ни одного товарища, ни одного друга, который вспомнит о нем, пожалеет его. Он загнан в отчаяние и смерть. Он лишен даже славы мученика за идею и не будет ему никакого утешения в предсмертные секунды.

«Трус? — думал товарищ Фриц. — Неужели трус?»

И неоспоримость фактов отвечала:

— Да, трус.

Почему бежал он?

Товарищ Фриц страдал.

— Трус, — повторял он про себя. — Трус...

Он шел, как слепой, по улицам, ошеломленный, потрясенный так, словно это ему завтра грозит смертный приговор. Его крайняя впечатлительность уже давно предсказывала ему деятельность поэта.

Он придумывал сейчас оправдания для Левинэ и ничего, ничего не мог изобрести. Он весь полон был речью прокурора.

— Ну как?

Перед товарищем Фрицем стоял приземистый человек в засаленной куртке и слишком широкой солдатской фу-

ражке. Фуражка была сбита на темя, чтобы не падала на белесые брови.

Товарищ Фриц обрадовался этому человеку, как успокоению и логике.

— Бедный Левинэ! — отвечал он взволнованно и печально.

— Расстрел?

— Зайдем в пивную, товарищ Биллиг.

Такие люди, как Эрнст Биллиг, всегда успокоительно действовали на товарища Фрица, его всегда тянуло к таким крепким пролетариям, ему хотелось, чтобы они любили его, видели, какой он, в сущности, хороший человек.

В углу пивной, малыми глотками прихлебывая пиво, товарищ Фриц добивался успокоения и логики, которую ему подсказывало чувство.

— Это был ужасный момент, — повествовал он, — когда человек, которого при всех несогласиях с ним мы признавали все же идейным, преданным революции, мужественным, признавали фанатиком идеи, когда он вынужден был молча принять это позорное обвинение. Факты были против него — он, как вождь, не должен был бежать от масс, он должен был сражаться вместе с ними и умереть. Прокурор беспощадно, без всякой жалости ударил по этому самому слабому пункту в деятельности Левинэ. Несчастный Левинэ! Он наверное слишком поздно понял ошибочность своей тактики.

Эрнст Биллиг молчал, крепко зажимая ручку уже пустой кружки, и это поощряло товарища Фрица.

— Наверное, поняв всю ошибочность своей позиции, он потерял власть над собой, — продолжал товарищ Фриц. — Он третировал нас, независимых. Помнишь, что он говорил? Я наизусть помню: «Независимые будут сначала итти вместе, потом станут колебаться, вступать в соглашения и таким образом сделаются бессознательными предателями». Помнишь? Как меня это ударило тогда! Он оскорблял нас, — а кто в результате оказался бессознательным предателем? Кто?

Страдание выражалось в каждой черте лица товарища Фрица, и он казался еще моложе, еще беспомощней и нежней, чем был. Кружка с пивом была слишком тяжела и груба для его тонких пальцев.

— Ах, товарищ Биллиг! — продолжал он. — Надо было действовать в согласии. В Баварии все делается по-хорошему, а он не знал баварского народа. Мы говорили ему — все может быть сделано без той борьбы, которую он затеял. Мы — тоже социалисты. Не надо было обострять отношений. Ведь даже со Шнеппенгорстом была договоренность, он шел с нами! Но Левинэ оттолкнул и его! Он не хотел поверить Шнеппенгорсту. Он сузил себя сознательно. И вот теперь он пожинает плоды своей тактики. Те, с кем он имел возможность работать вместе, имеют право назвать его бесчестным трусом.

Биллиг все молчал, крепко сжимая ручку пивной кружки. Товарищ Фриц принимал это молчание за сочувствие. Он так полон был скорби и печали, что захотелось ему рассказать этому умному слесарю, этому хорошему человеку, все, все до конца.

— Вы знаете, товарищ Биллиг, — сказал он, и кроткая улыбка изогнула его нежный, почти девичий рот, — мы ведь приняли все меры, чтобы не было разгрома и кровопролития. Я близок к нашим руководителям и знаю, — он снизил голос до шопота, — что они даже отвели войска с позиций, чтобы держать охрану в Мюнхене. Да, да...

— Именем Эгльгофера? — отрывисто спросил Биллиг.

— Да, — доверчиво, тихим шопотом ответил товарищ Фриц и ближе пригнулся к собеседнику. — Нам одним, без Эгльгофера, могли бы не поверить. Все было договорено и со штабом противника. Но было уже поздно! Страсти слишком разгорелись!.. Было сделано все, чтобы предотвратить кровопролитие, чтобы все кончилось мирным соглашением, содружеством, да, да... Но было поздно, поздно! Массы уже не хотели подчиняться! Партизанские отряды, добровольцы Гофмана... Стихия вырвалась, безразумная стихия!

— Вы увели войска с позиций? — спросил Биллиг тоже шопотом. Лицо его медленно наливалось кровью. Вновь летела над его головой чья-то винтовка и с плеском падала в Изар, вновь крики «отрезали! окружили!» гнали ничего не понимающих красноармейцев в Мюнхен, и вновь погибал в пытках Рудольф Эгльгофер, так до последней секунды и не узнав, значит, что случилось в армии, как использовано было его имя. — Вы увели войска? — повторял Биллиг, и глаза его сделались круглыми и не мигали больше. — Вы?

Товарищ Фриц молчал в недоумении и тревоге. Он отклонялся от слесаря, и тело его бессознательно приподымалось со стула.

— Товарищ Биллиг, — проговорил он, наконец, — но пацифизм...

— Рвать с вами надо было до конца! — тихо рявкнул Биллиг. — Гнать вас отовсюду, где вы засели, — из армии, из Советов, рвать с вами до конца должен был Левинэ! Вот где слаба была партия! Гнать! Теперь я все понимаю! Трус? Не скрылся бы он — мы сами заставили бы его скрыться! У нас умных людей мало. Мы бросаться ими не позволим. А вас — слишком много. Гнать! Я много думал! Не для вас я теперь товарищ Биллиг! Гнать вас надо! Гнать!

Он сорвался со стула и со всей силы грохнул кружкой по столу. Фуражка слетела с его головы.

— Гнать! — рычал он, безумея от ярости и приступая к товарищу Фрицу. Он не выпускал из зажатых в кулак пальцев ручку от вдребезги разбившейся кружки. — Гнать к чорту! К чорту! К чорту предателей! изменников! негодяев!

Немногочисленные посетители оглядывались, вставали. Из-за стойки вышел кельнер и двинулся к драчунам.

Товарищ Фриц побледнел так, что даже губы его были белы.

— Гнать! — во весь голос, почти в беспамятстве выкрикнул Биллиг и бросился на Фрица, замахнувшись ручкой кружки.

И тут товарищ Фриц ринулся к двери.

Он пробежал почти два квартала и только тогда остановился, чтобы передохнуть.

Ему казалось, что сейчас немедленно надо что-то сделать, исправить, объяснить. Надо двигаться, бегать, кричать... Надо предпринять что-то! Что? Спасти Левинэ! Устроить побег! Убить прокурора! Выстрелить в прокурора во время процесса и погибнуть!

Ноги сами несли его в редакцию.

Он влетел горячий, как после боя, возбужденный и еще более красивый в своем возбуждении, чем обычно. Белокурые завитки волос были спутаны на его голове.

— Надо спасти Левинэ! — закричал он. — Левинэ — не

трус! Это — клевета! Мы все это знаем! Надо спасти Левинэ!

Он захлебывался, и слезы заливали ему глаза.

— Надо телеграмму Гофману, Шейдеману, Эберту! Они должны понять! Они — тоже социалисты! От имени партии! Его расстреляют! Завтра — приговор!

Он задохнулся. В горле его клокотало.

— Спасти Левинэ! — вновь закричал он. — Требовать! Левинэ расстреляют! Расстреляют! Я — не предатель! Я — не изменник! Пусть меня расстреляют вместе с ним!

Он упал на стул. Он был в истерике.

X

Свет и тепло летнего солнечного дня шли в наглухо запертые окна. Становилось душно от дыхания людей, стеснившихся под своды маленького зала суда. Запахи духов и одеколона побеждались человечьим потом, и белоснежными платками отирались шеи, щеки, лбы. Господин Швабе уже разрешил себе скинуть пиджак, и кое-кто последовал его примеру. Зал запестрел синими, сиреневыми, белыми сорочками. Меньше всех стеснялись журналисты — они расстегивали и снимали воротнички, засучивали рукава, отдергивали подмышками рубашки. Жарко. Но никто не уходил — предстояло последнее слово обвиняемого.

Председателю в черной его мантии приходилось хуже всех. Мучительно хотелось ему под душ. Душ взбодрит его старое тело. В чистом белье он усядется в глубокое свое кресло в столовой, и жена поставит перед ним большую кружку пива. Но для этого надо выполнить до конца свой сегодняшний долг. Исполнение обязанностей судьи доставляло председателю большое моральное удовлетворение, и сознание пользы, которую он приносил обществу, придавало особую приятность заслуженному отдыху в семейном кругу. Но время отдыха еще не пришло, и он с достоинством, приличествующим его сану, терпел жару и только изредка поправлял шапочку на седой своей голове.

Левинэ сидел в позе свободной и спокойной, прислушиваясь к тому, что говорил адвокат. Слишком долго извинялся тот и объяснял свою позицию. Он отгоражи-

вался от убеждений подзащитного, не хуже прокурора ужасался положению в стране — и все-таки защищал. Странный все же граф! Наверное многие уже не подают ему руки, отворачиваются от него. Он настаивает на законе — безнадежное дело! В одиночестве, размышляя о жизни и беззакониях, он наверное может даже заплакать. Сентиментален, кажется.

Граф, наконец, принялся доказывать всей жизнью подзащитного, всем поведением его на суде, что тот — не бесчестен, не трус. Его доказательства — безупречны, но он все равно ничего не добьется, этот фанатик законности!

Бесчестный трус! Не постыдится ли тебя сын, когда ему расскажут, что отец бежал, бросив товарищей? Где товарищи, приказавшие скрыться? Может быть, все погибли, не осталось и следов этого решения, и твоя честь, честь профессионального революционера, оказалась, может быть, в полной власти врагов? В плену большее, чем жизнь, — в плену — честь! Что, если клевета победит правду на вечные времена? Что, если случится самое страшное, что только может случиться, — осудят товарищи, осудит справедливость будущего?

Потребовалось еще больше мужества, чем предполагал Левинэ. Он молчал вчера. Он только в упор глядел на прокурора. Он спокойно выдержал клевету. Но он не ожидал ее.

Он мучился желанием разделить участь товарищей, но партия приказала ему скрыться, и он поборол себя. И вот, его победой над собой, над возвратом извилистых и неверных путей прошлого, его хотят теперь опозорить как труса и предателя. Какой вздор! Суд пролетариата отвергнет клевету и без его показаний. Партия сыщет правду и опрокинет ложь. Прокурор — просто глуп и жалок. Но надо быть готовым к тому, что и для какой-то части рабочих Мюнхена не сразу раскроется ложь утверждений прокурора. Надо предвидеть, что стачки не будет еще и потому, что рабочий класс разгромлен сейчас, — рабочие бессильны сейчас мощным протестом вырвать его из плена!

А граф заклинал:

— Во имя правосудия, во имя человечности, во имя нашего народа, который никогда не одобрит такого приговора, во

имя всего, что действительно свято, в особенности во имя долга вашего, вашей присяги, обязанности вашей судить справедливо и только по закону, я торжественно прошу вас: не приговаривайте этого человека к смерти, не делайте этого, он не должен быть казнен, он должен быть оставлен в живых, потому что если тело его будет умерщвлено, то идеи его посеют семена мести! Так всегда бывает, что насилие над идеей ведет к тому, чтобы укрепить идею!

Граф уже не казался загадочным, как сундук с двойным дном. Он был открыт сейчас весь — целиком и полностью. Он выкладывал затаенные мысли и надежды. Надо покончить с делением народа на партии! Надо предоставить каждому право защищать свои идеи, а не разбивать в ярости черепа друг другу! Объединение вокруг великой задачи спасения и умиротворения Баварии — неужели не осуществимо оно в добром баварском народе?

— Наш народ, — восклицал он, — никогда не выйдет из ужасного разорванного своего состояния, никогда не объединится, если мы не убедим оставить взаимную ненависть и с открытым сердцем сойтись вместе, если мы не перестанем думать, что каждый наш политический противник — подлец. Доктор Левинэ — не плохой человек, он не бесчестный человек, он предан своим политическим убеждениям и готов умереть за свои идеи. Но он не должен умереть!

Эта речь была самой лучшей, самой искренней речью графа за всю его практику. Ему казалось, что произносит он ее над пропастью, куда беззаконные страсти влекут баварский народ. Он постичь не мог, как не видят другие, что пора опомниться, прекратить взаимную резню. Спасение — в законе.

Граф опустился на свое место, взволнованный и разгоряченный как никогда.

Когда председатель предоставил слово Левинэ, каждый в зале шевельнулся, стараясь сесть удобнее, и многие нагнулись, выставляя вперед ухо, чтобы слышать лучше.

Левинэ пренебрежительно отмахнулся от защиты в самом начале речи.

— Я не жду от вас смягчения наказания, — заявил он. — Если бы я добивался этого, то я должен был бы, собственно, молчать, потому что мои защитники, которые политически

и просто как люди гораздо ближе вам, чем я, могли бы защитить меня гораздо лучше...

Жаркий зал, насыщенный любопытством и ненавистью, наполнялся звуками его голоса. Но напор его мыслей и чувств был чужд каждому из здесь сидящих.

Левинэ никогда не говорил высокопарно. Он и сейчас отвергал всякие завитушки и украшения стиля, стараясь выражаться как можно проще и понятнее, словно надеялся распропагандировать все-таки даже и эту аудиторию.

Председатель привык к последним словам подсудимых. Обычно это были попытки оправдаться или просто мольбы о пощаде. В этой речи и то, и другое отсутствовало. Это несколько удивляло старого председателя, и он старался уловить цель такого поведения. Предположить, что этот человек не боится смертного приговора, он никак не мог — каждому свойственно защищать все равно каким способом свою жизнь.

Получалось так, что подсудимый, которому грозит смертная казнь, не защищается, а защищает. Он защищает советскую республику, диктатуру пролетариата, мюнхенских рабочих, он цитирует пункты партийной и своей программы, он — один против всех — не обнаруживает ни растерянности, ни страха. Почему? Может быть, прокурор не прав, и подсудимый всерьез верит в справедливость и правильность этих безумных и губительных идей? Тогда он не подлежит смертной казни. Но возмущение общества требует его смерти. Общество хочет возмездия за неслыханные потрясения и недостаточность охраны своей жизни, и председатель был вполне солидарен с обществом в этих его справедливых чувствах. Неужели же подсудимый всерьез убежден, как он уверяет сейчас, в исторической неизбежности крушения того общества, которое надело на председателя эту торжественную и жаркую черную мантию? Он открыто и хладнокровно заявляет себя врагом этого общества! Он от этого не становится менее опасным, но получается так, что казнить его все-таки, по закону, нельзя. Неужели прокурор не прав?

И тут председатель обратил внимание на то, что подсудимый всячески обходит обвинение прокурора в трусости — главное обвинение, которое, в сущности, и влечет

за собой смертную казнь. Это — не спроста. Тут таится какая-то хитрость.

В мозгу председателя сверкнула и обрадовала внезапная догадка. А что, если все мужество поведения Левинэ — показное? Что, если оно только для того, чтобы продемонстрировать свою убежденность, свою честность и этой демонстрацией опровергнуть обвинение прокурора? Бесспорно, так! Как это ни странно, но при данной ситуации чем резче выражает он свою преданность идеям революции, тем ему сейчас выгоднее, тем вернее подпадает он под действие слишком мягкого закона. Вот в чем его хитрость! Таким путем он пытается доказать, что он — не бесчестен, и надеется спасти свою жизнь. Но опыт председателя спасет общество от этого обмана. Подсудимый будет разоблачен. Факт трусливого бегства все равно остается неопровергнутым.

Председатель уже с презрением слушал Левинэ, словно разгадал этого человека целиком и полностью. Этот человек не знает, что уже пойман в капкан. Он занят защитой своих идей и не понимает, что слово «трус», слово «предатель» ударит его вновь с еще большей и решающей силой. Он говорит все резче и острей, явно переигрывая, и, конечно, даст повод для того, чтобы прервать его и лишить слова. И тогда все будет быстро закончено.

— Прокурор переоценивает силу и способность вождей совершать те или иные деяния и так или иначе вмешиваться в ход событий, — говорил Левинэ. — Ему кажется, что игральные кости мировой истории падают различно, в зависимости от того, брошены ли они рукой честного или нечестного вождя...

Может быть, сейчас он ответит на обвинение в нечестности?

— Но вожди сами выходят из масс, если даже они и происходят из другой среды, — продолжал Левинэ.— Они становятся вождями не потому, что они возвысились над массой, а потому, что они выражают то, что массы сами инстинктивно чувствуют и понимают и чего они по недостатку формального образования не в состоянии формулировать... В рабочем собрании я бы вышел победителем, господин прокурор, не в силу моего личного превосходства,

а только потому, что я высказал бы то, что массы чувствуют и чего сами хотят.

Никаких возражений против обвинения в бесчестности, в трусости! Председатель уже искренно возмущался. Как низко пала Бавария, если такой человек мог оказаться в роли министра-президента! Какой стыд! Как тяжелы обязанности судьи! С каким отребьем приходится иметь дело! Даже не попытаться опровергнуть обвинение в трусости, в предательстве по отношению к своим же последователям! И председатель окончательно поверил в справедливость своих измышлений. Бесспорно, все это показное мужество — только хитрый ход бесчестного авантюриста.

А Левинэ уже обращался за стены суда:

— Трагедия мюнхенских рабочих в том, что у них был еще слишком маленький политический опыт. Они понимали, что весь пролетариат должен выступить, как целое, для того, чтобы победить, но им казалось, что это целое могло иметь несколько различных программ и что совершенно достаточно, если социалисты большинства, независимые и коммунисты заключат между собой внешнее соглашение. Фактически отчасти на этом и потерпела крушение мюнхенская советская республика. Пролетариат, единый в своей цели и в своей воле, — непобедим...

Точные формулировки приговора уже рождались в мозгу председателя. Совершенно ясно, что подсудимый сознательно избегает упоминаний о главном обвинении прокурора. Ему нечем оправдаться. Часам к пяти — приговор, — и под душем смыть с себя всякое воспоминание об этом бесчестном человеке!

— Господин прокурор говорит, — слушал председатель с механическим профессиональным вниманием, — как я мог решиться на десять дней отвлечь от работы людей теперь, когда работа так настоятельно необходима? Но германское правительство во время войны оторвало от работы миллионы пролетариев не на десять, но на сотни и сотни дней. Германскому правительству нужны были Багдад и Лонгви, нам нужен коммунизм!

Председатель морщился брезгливо — порожденный им образ этого человека извращал каждое слово его. Ведь чем он смелей говорит — тем ему лучше!

— Прокурор обвиняет меня в том, что я имел в виду применение также и смертной казни, — издевался Левинэ, — но ведь он говорит это в тот самый момент, когда сам требует смертной казни по отношению ко мне!

Ни одного слова в оправдание своей трусости!

— Прокурор говорил о внутреннем мире, который я нарушил, — продолжал Левинэ. — Я не нарушил его, потому что никакого внутреннего мира не существует. Оглянитесь вокруг себя. Здесь, в здании суда, вы увидите чиновников, которые получают сто пятьдесят — сто восемьдесят марок при теперешних условиях жизни.

И тут ветер прошел по собранию, и председатель почувствовал смутное беспокойство, словно в мыслях его обнаружилась некая неожиданная погрешность. Надо все-таки прервать этого мошенника.

— Загляните в квартиры в нынешних «гнездах спартаковцев», и вы поймете, что не мы нарушили внутренний мир, — мы только вскрыли, что никакого внутреннего мира не существует...

Было похоже, что сейчас Левинэ даст повод для того, чтобы лишить его, наконец, слова. Он сядет на свое место трусом и предателем — факт!

— В расстреле заложников, — обвинял Левинэ, — виновны те, которые в августе четырнадцатого года брали заложников, хотя тогда прокуратура не привлекала их за это к ответственности и не требовала применения к ним смертной казни. И если еще кто виноват в этом, то это те, которые забрались в Бамберг и оттуда прислали в Мюнхен обманутых пролетариев вместе с офицерами и неграми...

Наконец-то! Оскорбление правительства! И председатель поднялся, прерывая Левинэ.

Он ожидал сочувственного рокота аудитории, — все, как и он, должны быть возмущены наглостью этого человека. Но случилось неожиданное. Он ощутил внезапно оторванность свою от большинства здесь сидящих. Он не получал ожидаемого одобрения. Что это такое? Он как бы очнулся. Занятый своей игрой, своей тайной дуэлью с подсудимым, он не заметил, прозевал, прохлопал то впечатление, которое эта речь оказывала на аудиторию. Как могло случиться это с ним, опытным судьей? Но

разве возможен успех коммуниста в этой зале, полной полицейских? На миг озноб прохватил старое тело председателя, как предвестник смерти. Он решил немедленно же лишить слова подсудимого, но тут произошла новая неожиданность, — Левинэ поднял руку и воскликнул:

— Господин председатель! Я прекрасно знаю, что я навлекаю этим на себя!..

Одобрение этим словам и жесту явственно почуялось в зале. Журналисты восторженно заполняли блокноты. Председатель переставал быть хозяином суда. Ему пришлось опуститься в кресло. А Левинэ, словно поняв тайную игру его, продолжал, и голос его уже казался председателю слишком пронзительным, слишком звонким, хотя в действительности голос был глуховат и не очень громкий:

— Господин прокурор, чтобы мотивировать смертный приговор, сослался на мой якобы бесчестный образ мыслей и в доказательство привел мою якобы трусость... Но я в своих поступках сообразуюсь с теми понятиями чести, которые существуют в кругу моих друзей. Моя честь — не ваша честь! В последний вечер я заседал с моими друзьями, среди которых были рабочие, члены Красной армии и другие, и всеми присутствующими было единогласно постановлено: члены Красной армии возвращаются на свои посты, те же, кто был членами правительства, должны скрыться. И я скрылся. Я скрылся, я спрятался по соглашению с моими коммунистическими друзьями. Но не для того, чтобы спасти свою шкуру... Я не могу помешать господину прокурору делать такие упреки, но, — и Левинэ повернулся к прокурору с иронической галантностью, — быть может я могу попросить вас, требовавшего смертного приговора для меня, присутствовать при его исполнении! Я приглашаю вас, я приглашаю господина прокурора, и тогда он увидит, что не только тот рискует собой, кто дерется на фронте в рядах Красной армии!

Председатель глядел на Левинэ с ужасом и недоумением. Это — не игра. Это — до сумасшествия храбрый человек, и нельзя никого здесь убедить в противном. Председатель испытывал ощущения охотника, поставившего в привычном месте привычный капкан и внезапно оказавшегося лицом к лицу со зверем, выскочившим из неожиданных кустов. Он вдруг ощутил себя стариком,

уходящим в смерть. Ему трудно разобраться в этом безумии и хаосе. Пусть молодые борются — ему пора на покой. И он беспомощно оглянулся на соседей своих по судейскому столу. Но это только на миг слабость победила его. Нет! Если даже он не хозяин суда — то он хозяин приговора!

А голос Левинэ явно побеждал:

— Я кончаю. В течение шести месяцев я не имел возможности быть вместе со своей семьей. Жена моя не могла иногда даже зайти ко мне, и я не мог видеть своего трехлетнего мальчугана, потому что у моего дома стоял сыщик. Такова жизнь, которую я вел... Это никак не вяжется ни с властолюбием, ни с трусостью. Я говорил, когда меня убеждали на союз со Шнеппенгорстом: «Социалисты большинства начнут, а потом убегут и предадут нас, независимые попадутся на удочку и будут действовать вместе с ними, потом уйдут, а нас, коммунистов, поставят к стенке...»

Его голос господствовал в могильной тишине зала, словно он был тут единственный живой человек. Но нет еще воздуха в Европе для живого человека!

— Мы, коммунисты, всегда в отпуску у смерти, — сказал он. — Это я прекрасно сознаю. Я не знаю, продлите ли вы мне еще мой отпуск, или я должен переселиться к Карлу Либкнехту и Розе Люксембург, — во всяком случае, я смотрю навстречу вашему приговору с самообладанием и внутренней твердостью. Развития событий нельзя остановить. Исчезновение того или иного вождя ни в коем случае не может остановить поступательного движения вперед!

Он возвысил голос:

— И все же я знаю: рано или поздно в этом помещении будут заседать другие судьи, и тогда наказание по обвинению в государственной измене понесет тот, кто совершит преступление против диктатуры пролетариата! Выносите приговор, если вы считаете это правильным. Я защищался только против попытки облить грязью мою политическую репутацию, советскую республику, с которой чувствую себя тесно связанным, и доброе имя мюнхенских рабочих. Все они, и я вместе с ними, мы все старались, по совести и по мере своих знаний, исполнить наш долг перед международной коммунистической мировой революцией!

XI

Вчера, когда лейтенант фон Лерхенфельд после речи прокурора уводил Левинэ, чтобы отправить его обратно в тюрьму, Левинэ спросил его:

— Вы тоже верите, что я — бесчестный трус?

— Вы — не трус, — холодно отвечал тот, — но расстрелять вас необходимо.

Это был честный ответ убежденного в своей правоте врага. Людей будущего победители хотели бы поставить вне закона. Но не решаются, боятся еще. И тогда рождается неизбежная клевета. Для него, Левинэ, выбрана именно такая клевета, но в другое время, при другом положении, возможна любая другая — только бы действительна она была для смертного приговора.

Все же клевета прокурора подарила ночным кошмаром и разбудила раньше тюремного сторожа. Это случилось под утро. Голова катилась. Тело плыло слишком медленно, и в этом было невыносимое страдание. Хотелось крикнуть, застонать, но голос не слушался, как не слушалось тело. Спазмы хватали горло, хотелось облегченно заплакать, но слезы не шли, только хрип вырывался из непокорной груди. Сердце готово было разорваться от напряжения. Тело тосковало по жизни, руки ловили воздух...

Левинэ открыл глаза в мрак ночной камеры.

В камере — тише, могильнее, чем во сне. И нельзя убежать от мыслей. Невозможно остановить работу мозга.

Если закрыть глаза, то вновь под ресницами оживает мрак и путаются причудливые образы. И опять покатилась голова и поплыло вдаль тело. Но сердце напрягалось так, что не выдержать больше. И вновь Левинэ разбудил себя, очнулся, побеждая оцепенение.

Путь кончается. Никаких больше поворотов впереди. Два-три дня быстрого шага — и конец, последняя стена. Он, Левинэ, выпрямится у стены, и на возглас его в честь мировой революции ответит залп винтовок:

«Es geht am End. Es ist kein Zweifel...» [1]

Сын наверное уже во весь рост встанет в будущем, и добрым словом должен он помянуть отца, жизнью своей

---

[1] «Дело идет к концу. Никакого сомнения...»

заплатившего за это не ему предназначенное счастье. Оглядываясь назад, сын, может быть, найдет черты средневековья и в отце, он увидит, может быть, что и отец не высвободился целиком из этих дебрей, — но имя отца не должно быть позорным именем для сына.

Он сейчас ничего не понимает, этот мальчуган. Он, может быть, и не узнал бы отца при встрече. Вот уже несколько месяцев как они в разлуке. Увидев отца, сынишка посмотрел бы исподлобья и, подняв ручки, попросился бы к маме, как всегда при чужих. Может быть, заплакал бы, протестуя, если б отец захотел взять его на руки...

Под всеми этими ощущениями наплывала волна мыслей и чувств, знакомый напор, усиленный клеветой прокурора. Образ сына, образ будущего колыхался, туманился, мутился отравой клеветы. И тогда началась окончательная шлифовка последней речи.

Уже утро. Вся сила сопротивления и спокойной иронии возвращена. Прекрасно! В Полесьи он, Левинэ, сам себя излечил от болезни глаз, рожденной скитаниями в болотах. Он говорил себе тогда: «Эти листья — зеленые, а не синие, они — зеленые, что бы ни видели мои глаза...» И глаза увидели правду... Земля все-таки вертится, и вся власть средневековья не победила этого факта. А то, что его, Левинэ, волнует клевета прокурора, — вполне простительно, потому что он сейчас очень одинок, он изолирован, отрезан от друзей, он — в постоянном напряжении, он — в полной власти врагов, ненависть которых известна ему до дна, и еще потому, что никаких иллюзий, никаких утешений не рождает его слишком много понимающий и беспощадный мозг...

Эту беседу с самим собой прервал скрип отворяемой двери.

И вот уже последняя его речь — позади.

Он сказал свое последнее слово, победив даже иные ненавистью забронированные сердца. Он ощущал некоторую даже восторженность у кой-кого из здесь присутствующих. Он на миг подумал даже, что ему удалось бесповоротно скомпрометировать суд, что уже не осмелится суд приговорить его к смерти.

— Жизнь будет, бесспорно, сохранена вам, — сказал ему граф, когда суд удалился на совещание.

Граф сейчас был прямо влюблен в Левинэ,— этот человек, сам того не подозревая, своим поведением спасал закон! Его не расстреляют. Его сошлют, как полагается по закону, в каторжные работы. Ну, против каторжных работ ничего не возразишь. Таков закон, нет?

Отворялись окна и двери. Публика, оставляя на местах своих, чтобы не утерять их, блокноты и газеты, теснилась в коридор — курить, обсуждать, делиться впечатлениями. Некоторые останавливались вблизи Левинэ, поглядывая на него с интересом и сочувствием. Но Левинэ уже понимал, что ненависть, отвергнув клевету прокурора, возьмет свое, и восхищение сенсационным поведением подсудимого уступит прежнему выражению отчужденности. Но все-таки останется след и от этой речи. В ней не только опрокинута клевета прокурора, в ней показан образ советской республики.

Подошла мать. Она присутствовала на процессе оба дня. Она держалась, как всегда, чопорно и высокомерно, ничем не выдавая своих чувств.

— Ты очень устал,— сказала она,— тебе необходим отдых. Как ты исхудал!

В этих словах Левинэ услышал уверенность в том, что он останется жив. Бесспорно, она уже мечтает о том, как увезет его в свою гейдельбергскую виллу.

Товарищ Фриц одиноко бродил вдоль стены. Губы его двигались, шепча невнятно. Лицо его осунулось, и синие полосы легли под глазами. Памятная встреча с Биллигом жила в его сознании, и никак не удавалось забыть о ней. Но Биллиг убедится в своей неправоте. Левинэ будет спасен. На случай смертного приговора готовы к отправке телеграммы с ходатайством о помиловании — Гофману, Шейдеману, Эберту. Партия независимых, несмотря на все разногласия, весь свой авторитет отдает на дело спасения Левинэ. И Биллиг убедится в том, что такое социалистическое правительство Германии! Левинэ будет спасен теми, кого он опять оскорблял в своей речи!

— Прочь! Прочь!—приказывал лейтенант фон Лерхенфельд тем, кто пытался заговорить с подсудимым.

Только адвоката и Розалью Владимировну он допускал к Левинэ.

Слишком долго длилось совещание суда.

Публика возвращалась в зал, рассаживалась.

Господин Швабе успокаивал Эльзу:

— Профессор Пфальц будет оправдан. Сам прокурор отказался обвинять его.

Граф страдал за Левинэ — как долго, мучительно это ожидание приговора!

Левинэ сидел с газетой в руках. Но он не читал. Он думал. Почему тот караульный солдат, тот крестьянский парень, пришелец из нищеты полей и лесов, оказался тюремщиком, а не другом? Почему не удалось сделать таких вот парней живой опорой рабочему, революции? Почему живо в сознании недоверие к лачугам и хижинам крестьян? Здесь, может быть, таится нечто гораздо больней клеветы прокурора... Неужели поздно уже додумать эту боль до конца? «Мы, коммунисты, все — мертвецы в отпуску...» Эта фраза была вполне, может быть, уместна тут, на суде, но все же откуда прорывается подчас такая почти безнадежность, обреченность? Вот и жене он писал: «мы всегда знали, что этот ужас неизбежен...» Почему неизбежен? И почему — «всегда»? Это — неверно. Не это ведь руководило его жизнью, его поступками!.. Но где этот парень? Он уже почти распропагандирован. Утром он был тут, в охране. И Левинэ поднялся, шагнул к солдатам... Он был полон желания довершить начатое, найти и выправить ошибки...

Но тут тишина вошла в зал вместе с судьями. Медленно, во главе с седобородым председателем, вступали они в зал из совещательной комнаты.

Председатель начал читать приговор.

Товарищ Фриц ринулся к выходу — телеграммы! телеграммы! срочно! весьма срочно!

Вслед ему, подгоняя, ударил возглас Левинэ:

— Да здравствует мировая революция!

Товарищ Фриц мчался в редакцию.

Если б Гофман был в Мюнхене! Но как раз на дни суда глава правительства уехал на отдых в Швейцарию. Он устал, он имеет право на отдых, спору нет, — но какой ужас! Он, единственный во всей Баварии, может задержать, отменить приговор. Успеет ли он ответить?

— Это беззаконие, — шептал граф своему коллеге, сидевшему рядом, и разводил руками в смятении. — Это — огромное несчастье. Это — нарушение закона!

Приговор прочитан. Это значит — все валится в пропасть, все летит к чорту, жизнь людей предоставлена произволу! У графа кружилась голова. Он боялся взглянуть на Левинэ. Выходит так, что тот оказался прав в своих утверждениях. Он находил в себе такую нежность к Левинэ, какой не должен испытывать баварский адвокат.

— Это — противозаконно, — повторял он, спасаясь от этого опасного сочувствия.

Он был сейчас похож на жалкого, загнанного, растерянного медведя, одиноко стремящегося спасти свою шкуру. Но медведь осужден в Европе на вымирание, на истребление.

Эльза шла к профессору Пфальцу, освобожденному уже из-под стражи. Пфальц глядел на нее пустыми глазами. Цветистый луг! Любовь! Куда приткнуться жалости и милосердию в этом обезумевшем мире?..

Приговор был ясен:

«...Все мероприятия, предпринятые Евгением Левинэ, имели своей конечной целью преобразование всего правового и экономического строя и создание коммунистического государства. Левинэ сам категорически заявил, что берет на себя полную ответственность за все эти действия, которые представляют собой преступление, именуемое государственной изменой. Левинэ был чужеземцем, вторгшимся в Баварию, государственно-правовые отношения которой его ни в какой мере не касались. Он преследовал свои цели, совершенно не считаясь с благом населения в целом, хотя он знал, что стране настоятельно необходим внутренний мир. При своей высокой умственной одаренности он отлично сознавал все последствия своих действий. Когда человек так играет судьбой целого народа, то можно с уверенностью сказать, что его действия проистекают из бесчестного образа мыслей. На этом основании обвиняемому отказано в признании смягчающих вину обстоятельств. Суд, напротив того, считает строжайшее наказание необходимым актом правосудия. Принимая во внимание все вышеизложенное, согласно ст. 3 закона о военном положении, суд приговаривает обвиняемого к смерти».

Слово «трусость» не участвовало в приговоре. Судьи после речи Левинэ не решились на клевету.

Уже счастье рождается на земле. Еще недолго — и свет озарит все человечество. Но ему не дано дожить до этого. Жаль — приходится умирать на пороге. Но все же упасть удастся головой вперед, в будущее.

— Да здравствует мировая революция! — воскликнул Левинэ.

Розалья Владимировна, не шелохнувшись, выслушала приговор сыну. Выражение высокомерия и строгости не изменило ей. Молчаливая, суровая, села она с дочерью в коляску, которая ждала ее у здания суда. Держась все так же прямо и уверенно, она взошла по лестнице гостиницы, отворила ключом дверь — и тут, в номере, кончилась выдержка.

Розалья Владимировна упала в кресло, потом вскочила и, держа кулаки у висков, заголосила, как в далекой юности:

— Его убьют! Убьют! Соня, нашего Женю убьют! Я так и знала! Я нарочно тебя взяла, чтоб ты простилась... Почему ты не подошла к нему? Чего ты боишься? Он бы так не поступил! Он мстил за дедушку, за бабушку, за Минну, за Германа, за всю нашу нищую жизнь! И его убьют! Ты — бесчувственный человек! Как ты стала такой? Он бы иначе себя вел! Почему ты молчишь? Кричи! Плачь! Убивают нашего Женю!

Это было настолько неожиданно для всегда гордой и сдержанной матери, что Соня действительно заплакала.

— Его убьют! — выкрикивала мать. — Его нельзя спасти! Где его друзья? Почему они бросили его? Они не знают! Надо найти их! Надо, чтоб они восстали!..

Тут она оборвала себя. Отняла пальцы от висков, одернула платье.

— Я ничего этого не говорила, Соня, — промолвила она угрожающе. — Ты ничего не слышала.

— Я ничего не слышала, — покорно отвечала дочь, всхлипывая.

— Твой отец спас нас от нищеты, — сказала Розалья Владимировна. — Его память должна быть священна для нас.

Она опустилась в кресло. Некоторое время обе молчали.

— Мы похороним его на еврейском кладбище, — выговорила, наконец, мать. — Нам обязаны отдать его тело.

Кто спасет Левинэ?

Девятнадцатый год в России вшами, голодом, сыпняком, белыми армиями, интервенцией осаждал революцию. Девятнадцатый год в Германии взмокал кровью рабочих. Девятнадцатый год Версальским миром делал добычу победителей в незабываемой войне.

— Рабочие Мюнхена разгромлены и дезорганизованы, — говорил Эрнст Биллиг собравшимся у него товарищам. — Задача — как организовать стачку в защиту товарища Левинэ? — Он поднял кулаки над головой и, разжав пальцы, опустил руки, словно выронил что-то. — Но мы знаем теперь, какая партия подлинно наша, и мы должны сделать все возможное...

Громкий стук в дверь прервал его.

Этот стук и грохот тяжелых сапог раздавались сегодня во многих рабочих жилищах.

Через десять минут Эрнст Биллиг и его друзья шли по улицам Мюнхена, подняв руки к помятым кепкам. Солдаты правительства Гофмана вели их, держа винтовки наперевес.

Товарищ Фриц нетерпеливо ждал помилования Левинэ.

Уже утро разбудило Мюнхен. Уже шумом жизни наполнялись улицы и площади. Уже вечер озарил огнями город и затем уступил ночи свой свет. Родилось новое утро.

Но ответа от министров не было.

— Это — ужасно! — неистовствовал товарищ Фриц в кругу редакционных друзей. — Мы против всякого кровопролития! Да, я — за соглашение с социал-демократами, я — за всякое мирное соглашение! Да, Левинэ нас оскорблял — но мы должны быть выше этого! Мы — пацифисты! Мы — против убийств!

— Бедный товарищ Фриц! Он опять страдает! — промолвил один из самых видных работников. — Но расстрел Левинэ — неизбежен. Мы, конечно, выскажем свое принципиальное отношение к этому факту, но тактика требует сейчас прежде всего умиротворения умов. Но свой протест мы заявим правительству. Мы обсудим.

— Протест! — воскликнул товарищ Фриц. — Протестовать! Я напишу протест!

— Напишите, горячая вы голова, мы проредактируем его и подадим Гофману, как только он вернется.

Капитан Мухтаров стоял у здания полицейпрезидиума. Его внимание привлекло старое, с оборванными краями, объявление Комитета действия социал-демократической партии в Мюнхене, наклеенное на стену.

Он читал:

«...Правительство Гофмана не борется с идеей Советов, наоборот, оно самым решительным образом выступало за ее осуществление, упрочение и укрепление... Товарищ Гофман — не реакционер и не контрреволюционер, он — радикальный передовой борец социалистического движения...»

— «Товарищ Гофман»!—восхищался капитан Мухтаров (он только что узнал, что расстрел Левинэ состоится сегодня в два часа дня). — Хорошо работают! Европа!

Он уже искренно уважал Европу и верил в нее.

XII

В час дня Левинэ был вызван на свидание с женой. Он пошел радостно и взволнованно, словно некое счастье сулила ему эта встерча. Но, когда он увидел жену, горе ударило его с такой неожиданной и невыразимой силой, что он остановился на пороге, и ему показалось, что он зашатался, хотя на самом деле привычная выдержка не изменила ему. Он сам почувствовал, как побелело его лицо. Он глядел на жену, словно не узнавая ее, и слова отказывались повиноваться ему.

— Когда? — незнакомым, не своим голосом спросила жена.

— Нет, нет,—бессмысленно и на этот раз по-русски отвечал он, подходя к ней. — Это не трудно, это не страшно, это скоро пройдет, тебе хуже, — конечно, хуже...

Он взял ее руки и вздрогнул от этого прикосновения.

— Когда? — повторила она.

Арестованная, она посажена в эту же тюрьму, в одну тюрьму с ним, и, значит, услышит выстрелы...

— Выходи замуж! — заговорил он торопливо. Он боялся, что не успеет высказать все, что нужно. Ведь это последняя встреча! — Выходи замуж! Живи как можно счастливей! Не стесняй себя! Живи!

Она выронила платок.

Он, нагнувшись, поднял платок и зажал в руке, не возвращая.

— Я не мог достать цветы, — сказал он. — Я никогда не умел...

Голос его оборвался. Все в нем дрожало, и он должен был отвернуться, чтобы скрыть слезы. Потом он вновь взял ее руки и заставил себя улыбнуться. Теперь уже все было можно — отгородиться от безгласных свидетелей русским языком, называть жену интимными именами, гладить ее руки, ронять и вновь подымать ее платок, глядеть на нее глаза в глаза, забыв решительно обо всем, кроме вот этого существа, которое останется жить без него. Если б побыть наедине друг с другом! Хоть пять минут. Хоть минуту...

Он плохо понимал, что говорит, плохо слышал, что она отвечает ему. Они жили сейчас в интимном, только им двоим известном мире ощущений и слов. И казалось ему: не то он провожает ее, не то она — его, и провожает навсегда, чтобы больше никогда не увидеться...

Скрип двери вторгся в этот мир.

Оба они обернулись настороженно — неужели пора?

Тот самый элегантный чиновник с бархатным альбомчиком в руке, приятно улыбаясь, вошел в комнату. Он решил проявить высшую добродетель — простить преступнику оскорбление и своим вниманием к нему утешить в предсмертные минуты, дать возможность преступнику излить свою душу на страницах альбома.

— Вы по служебной надобности? — быстро спросил Левинэ.

Ведь это крали у него драгоценнейшие секунды жизни!

— Нет, — отвечал чиновник вежливо и снисходительно, — не беспокойтесь, я зашел к вам, чтобы...

— Тогда уходите. Уходите!!

Это было сказано так, что чиновник попятился и скрылся за дверью.

Но все-таки он украл драгоценнейшие секунды!

Уже тюремный сторож сказал:

— Пора.

И это было третьим звонком.

— Адвокат передаст тебе письма, — торопился Левинэ. — Лично я не имею права... ты знаешь... Поцелуй Паскунишку... заботься о нем...

— Пора, — прервал, входя, лейтенант фон Лерхенфельд.

Теперь надо поцеловаться и вскочить на подножку вагона. Или это он остается на платформе, а она уезжает?

Жена плакала молча — она, кажется, сама не замечала, что слезы текут по ее щекам.

Он поцеловал ее и решительно повернулся к лейтенанту.

— Я готов.

Теперь ничто больше не должно ослабить его. Воинская охрана, окружив, повела его по коридору.

Он шел, не сутулясь, высоко держа голову, зажав в руке платок жены.

Вновь его заперли в камеру.

Он присел к столу.

Следовало торопиться.

Вот письмо к матери, вот — к сестре, этот пакет — жене, партийную программу — сыну...

В эти мгновения одиночества последнее свидание с женой вновь наполнило его.

Он торопливо писал, из левой руки не выпуская платок:

«Родная, дорогая, любимая, ненаглядная...»

Еще только несколько строк.

Он сложил письмо, сунул в пакет с прежним письмом и дневником.

Es geht am End...
Es geht zu Ende...[1]

путались в его уме строки Гейне.

Теперь последнее письмо:

Господин граф!

Дело идет к концу. Через десять минут придут за мной. Я буду очень благодарен, если вы передадите эти письма...

Я жму вашу руку и заранее благодарю.

Евгений Левинэ.

Теперь кончено все, все. Остается только в последний раз проверить свое мужество.

Товарищ Левинэ! Вы спокойны? Прекрасно! Вот слышны уже шаги за дверью. Сейчас вас выведут во двор и поставят к стенке. Того крестьянского парня, который так

---

[1]«Дело идет к концу...»

взволновал вас, не будет среди убийц — вам известно, что он дезертировал. Вся прежняя охрана считается распропагандированной вами и сменена по настоянию лейтенанта фон Лерхенфельда. Вас убьют ненавистью забронированные добровольцы Гофмана. Их много, желающих убить вас!..

Вот они вошли в камеру...

Опередив залп винтовок, ударил в стены тюрьмы его возглас:

— Да здравствует мировая революция!

Тринадцать лет спустя, в один из июньских дней 1932 года, Мюнхен наполнился фашистскими штурмовиками, приехавшими с разных концов Баварии на избирательный митинг. Сам Адольф Гитлер должен был выступить на этом многотысячном собрании. Адольф Гитлер шел к власти. Близился последний акт господства звереющих собственников.

В этот день я с мюнхенским другом своим шел к расположенному за городом еврейскому кладбищу. Мы молчали. Тишина владела полем, по которому тринадцать лет тому назад несли тело Евгения Левинэ. Мать, не победившая сына в жизни, отвоевала его мертвое тело и место ему на кладбище.

За оградой — все та же тишина. Ни одного человека.

Мы издали заметили обелиск. Приблизившись, прочли:

Eugen Leviné. 5 Juni 1919.[1]

И все.

Вечнозеленые деревца обнимали обелиск. Свежие, сегодняшние цветы лежали на зеленой могиле.

На первую годовщину смерти Левинэ явились из Гейдельберга его мать и сестра. На траурном собрании мать, не отпуская от себя дочки, держалась в стороне, отдельно от всех. Она никому тут не подала руки, кроме Клары Цеткин, седины которой уважила.

На вторую годовщину мать не приехала — она умерла.

1934

---

[1] Евгений Левинэ, 5 июня 1919.

СОДЕРЖАНИЕ



Ответственный редактор Я. Горев. Технический редактор А. Кирнарская. Корректор Р. Бекетова. Переплет и титул художника М. Кирнарского. Ленгорлит № 2266. СП.-63| л. Сдано в набор 19/II 1937. Подписано к печати 27/V 1937. Тираж 10200. Уч. авт. л. 15,5. Бум. л. 4¼ Тип. зн. в. 1 б. л. 130000. Формат бумаги 82 × 110/32. Отпечатано в 21-й типографии ОГИЗа треста «Полиграфкнига» им. Ивана Федорова, Ленинград, Звенигородская, 11. Заказ № 29

1937

Цена 4 р. 50 к. Переплет 1 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСИТ ЧИТАТЕЛЕЙ И БИБЛИОТЕКИ ОТЗЫВЫ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАД, ВНУТРИ ГОСТИНОГО ДВОРА, ПОМЕЩЕНИЕ № 122, ОТДЕЛЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
93	15 сверху	— янь	нянь
93	16 »	ернулась	вернулась
115	8 снизу	в Северной	к Северной
158	18 »	Екатерининской	Екатерининский
182	13 сверху	настроживщись	насторожившись

Слонимский — Повести и рассказы

